Геннадий Бочаров

ЧТО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ

Юрий Грибов

ЯРКИЙ ОГОНЕК В ОКНЕ

Геннадий Бочаров

ЧТО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ

Юрий Грибов

ЯРКИЙ ОГОНЕК В ОКНЕ

Москва
Издательство „Правда"
1984

45.2.I
Б 72

Б 72 **Бочаров Г. Н., Грибов Ю. Т.**

Что человек может, Яркий огонек в окне. — М.; Пра́вда, 1984. — 384 с.

В книгу вошли очерки журналиста Геннадия Бочарова и писателя Юрия Грибова. Авторы рассказывают о подвиге советского человека в мирное время, о стойкости, мужестве, благородстве тружеников города и села.

Б $\frac{4502010000-837}{080(02)-83}$ 837—84 45.2.I

Геннадий Бочаров

ЧТО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ

Тринадцать историй о мужестве

НЕПОБЕЖДЕННЫЙ

«Вот теперь, — подумал он, — сделать действительно ничего нельзя. Теперь остается одно: катапультироваться».

Он прнслушался к голосу в иаушниках: второй раз звучал приказ покииуть гибнущий самолет. Он приготовил фонарь кабнны, уперся в подножки педалей и, сгруппнровавшнсь, нажал скобу катапульты. Через секунду они полетелн в разные стороны: в одну — самолет, в другую — летчнк.

Летчик упал на редкую тайгу н острые камни. Была чистая морозная ночь.

«Ннчего себе, возвращенне, — подумал он, приходя в себя. — Ннкогда не знаешь, как сложнтся».

Он отстегнул аварийный парашют, снял ранец. Закружилась голова, снльно заболелн ногн. Летчнк потрогал комбинезон. Он был в крови. Ноги переломаны. Переломы былн открытымн.

— Так, — сказал он сухимн холодными губамн. — Остались, значит, руки. Они-то, надеюсь, целы, — и поднял руки над головой. — Целы.

Тайга темнела со всех сторон, а небо было светлым. Ледяным. Высоко над головой прошли навигационные огни Ил-18. И почти сразу — второго. В Красноярск? Читу? Улан-Удэ?

Летчнк прннялся за дело: достал аптечку, жгуты. Перетянул ноги. Сначала одну, затем другую. Кровотечение удалось остановить. «Навериое, меня сильно ушибло, — подумал он, — если я не услышал боли сразу. И потерял столько крови».

Он смонтнровал рацню: батарейку, кабель, станцию. «Они ждут моего снгнала, — подумал летчнк. — Навер-

няка слушают эфнр. И вертолеты со спасателями, конечио, наготове».

Летчик иажал киопку передачн. Ни звука. Включнл радномаяк, поставнл на фнксатор. Нн звука. Потрогал все киопки по очереди. Попробовал даже прнем — станция была мертва. Разбнта. Зиачит, не повезло н с этим. «Можешь зашвыриуть ее подальше, а можешь оставить н здесь. Вместо обелнска», — с горечью подумал летчик.

Он потяиул жгуты на ногах, осмотрелся вокруг.

— Вот мое положеиие, — сказал ои себе. — Я не зиаю, как мие обиаружить себя. А мон друзья ие знают, где я. Забайкалье большое. Никто не полетит ночью на поиск, еслн нензвестио место падення самолета. Надо держаться до утра.

Ои достал сигиальный патрон. «Пусть будет наготове, — решнл ои. — Мало ли что». Патрон был со световым и дымовым сигналами. Для дня н для ночи. «Войны иет тридцать лет, — думал летчик, перекладывая патрои в карман курткн. — А я как на войие. Но иа то я и военный летчнк. Радуйся, что вокруг только свои».

Он стянул с головы шлемофон — стояла тишина. Обостреный слух уловил далекий гул. Так моглн гудеть машниы. Но н кровь в внсках. Хотя нет — гудели машниы. Высоко над тайгой снова прошел пассажнрскнй самолет. Он ушел, а гул остался. «Зиачнт, рядом дорога, — решил летчик. — И к ней иадо ползтн».

Движення вызвалн боль н головокруженне. Боль стала невыносимой: от нее разрывалось сердце и темиело в глазах. Летчик понял, что боль — его основиой враг, боль, из-за которой он мог потерять созианне. «А если я потеряю созиание, — сказал ои себе, — мне ие дотяиуть до утра. Мороз меня прикоичит. Надо ползтн».

Вскоре холод сковал переломанные ноги. Мороз глушил боль. Он пополз быстрее. Так продолжалось до рассвета.

Первое, что он увндел утром, — вертолет. Вертолет шел прямо на иего. «Удача на моей стороне», — поздравнл себя летчик. Поздравил, как выяснилось, раньше временн. Порыв ветра смял ораижевый дым сигнального патрона. Дым ие поднялся вверх. Шум внитов угас.

— Куда же ты полетел? — беззвучно закричал летчик, упнраясь рукамн в мерзлую землю. — Куда ты?

На чистом фоие иеба появились два иовых вертолета. Оии шли параллельио, иизко и бесшумио.

— Вы меия ие там ищете, ребята,— хотел сказать летчик.— Я здесь и еле тяиу. Рулите сюда.

Но вертолеты скрылись за сопками.

Ои пополз сиова. Вдруг рядом с иим застучал двигатель машииы. Летчик посмотрел иалево и увидел за стволами грузовую машиiу. Оиа была в пятидесяти метрах от иего. Двое мужчии возились у капота. Было видио, что только запустили мотор. «Вот оии, мои спасители»,— подумал летчик и достал пистолет. Он подиял дуло и дважды строеииыми выстрелами разрядил обойму.

У машииы выстрелов ие услышали. Машииа развериулась и скрылась за деревьями.

Летчик положил голову иа стертые рукава куртки и выругался.

Ои спрятал пистолет, пополз дальше. Над головой опять показался самолет. Белый крестик пассажирского лайиера шел иа запад.

— А вот и мои,— отметил про себя летчик и посмотрел вслед далекому вертолету.— Утюжат все Забайкалье, а шаисов иайти меия мало. Я невидим.

Оии стараются, подумал ои.

Вскоре тридцатилетиий капитаи ВВС поиял: ползти дальше ие может. Ои связал обе иоги вместе, стяиул их потуже, как бревиа плота, и решил двигаться иовым методом — перекатываясь с боку на бок. «Так будет легче,— обиадежил себя летчик.— Надо беречь силы. И думать иадо ие о близком спасеиии, а о долгой и тяжелой борьбе. И может, даже о смерти. Тогда все, что происходит в даииый момеит,— продолжал размышлять летчик,— покажется пустяком». Золотое правило иа такие случаи жизии: будь постояиио готов к худшему, а борись без передышки за лучшее.

Дорога ие показывалась. Ои ие зиал, что двигается вдоль шоссе. Термометры в городах Забайкалья показывали в те дии 25—27 градусов мороза. Мороз размывал звук, меиял его иаправлеиие. Силы летчика стал подрывать иовый враг, беспощадиый, как боль: жажда. Земля была голой, без сиежиики. Морозиая пыль забивала рот и иос. Ои попытался съесть плитку мерзлого шоколада из НЗ. Шоколад слипся с пылью и затрудиял дыхаиие.

Под вечер при звуке вертолетов он перестал поднимать голову — экономил силы. Кровь стала сочиться из открытых ран снова — на ботинках нарастал красный лед.

Он перекатывался. За этим занятием его застала вторая ночь. Он перекатывался с боку на бок всю ночь — одиннадцать черных часов подряд.

Так продолжалось и днем. Только теперь — с перерывами. Вот он двигается, а вот замирает. «Мне досталось скверное поле боя, — размышлял он. — Но ничего нельзя изменить. Я должен вести бой. Враги нелепые: мороз, и переломы, и боль. Но черт с ним, с морозом. И черт с нею, с болью. Мне нужно добраться до людей, и, когда я доберусь, я смогу рассказать, что случилось с самолетом. Мне нужно увидеть хотя бы одного человека».

В просвете между редкими стволами показалась телега. Вернее, сначала он услышал сухой грохот колес. Телегу тянула белая лошадь. В телеге сидел мужчина — вполоборота к летчику. Лошадь свернула, и летчик увидел спину мужчины. Летчик сбросил остатки стертых перчаток, достал пистолет и одеревеневшим пальцем нажал курок. Последняя пуля ушла в небо, звук выстрела угас, а телега еще гремела по мерзлой земле, пока не скрылась из виду.

К вечеру летчик увидел вертолет слева, над сопками. Вертолет завис над какой-то точкой, покружил и пошел дальше.

«Видел что-то похожее на меня, — попытался подумать летчик. — Наверное, бревно».

У него было в запасе специальное металлическое зеркальце — пускать солнечный зайчик в кабины пролетающих над головой вертолетов — тоже сигнал. Но в небе не было солнца.

У него были в запасе спички. Но вокруг была сухая лиственница. И дул низкий, неровный ветер. Костер мог поджечь тайгу.

У него был в запасе еще час светлого времени. «И у моих спасателей еще есть время», — думал он. Думал, хотя наверняка знал: из всех человеческих запасов запас времени самый ненадежный.

Ночь наступила незаметно, так как он продолжал работать. Он перекатывался. Эта третья ночь была по-

настоящему мучительной. Начались провалы в сознании. Иногда его окружали дорогие, милые ему люди. Это были те, кого он любил в своей прошлой жизни, те, кем он дорожил и кому был всегда рад. Смерть приводила к нему каждого, с кем следовало попрощаться. Но, когда он приходил в себя, он заставлял себя быть мужчиной, быть солдатом. Он требовал от себя выполнения простого и необходимого дела — перекатываться. Двигаться вперед. В этом были спасение и надежда. Хотя правда о его положении была лишена даже слабых надежд.

Летчиком двигало не просто заложенное во всем живом желание жить. Все живое: и человек, и сыч, и теленок, и попугай — любит жизнь. Что удивительного! Но понятная, в сущности, каждому цель — выжить не всесильна. Больше того, она слаба: ее резервы легко исчерпаемы. Помочь в положении, в котором оказался летчик и может, увы, оказаться и моряк, и геолог, и врач — человек любой профессии, — простое жизнелюбие не способно. Выживает — или не выживает, но после невероятной борьбы со смертью — тот, кто не просто любит жизнь и ее цветы. Выживает тот, кто сознает перед ней свой долг. Истинное жизнелюбие сильно тем, что укрепляет в человеке перед его возможной гибелью чистую, главную и последнюю цель: выжить, чтобы выполнить долг.

Летчик должен был выжить, чтобы выполнить свой долг — рассказать о самолете. И спасти тех, кто должен лететь завтра.

Летчик перекатывался. Он перекатывался, обескровленный и обмороженный. Он повторял про себя: «Мне остается одно — перекатываться...»

Спасательный круг в любом ЧП — чувство долга. И хотя некоторые считают, что можно и без круга — живем, не тонем, это до первого испытания. Наверняка. Летчик, как и любой думающий человек, знал: жить без цели, без осознания своего долга перед людьми трудно, но можно. А выжить, пожалуй, нельзя.

Он перекатывался. И показалось шоссе. На третье утро он выбрался к шоссе. Двигаться быстро могли только глаза. Они и побежали вдоль шоссе — по высоким, плотным снегозащитным щитам. Щиты были без начала и без конца. И не было просвета. Нашелся один, но уз-

кий. Но выбирать не приходилось. Щит отделял летчика от жизни. Только щит. За щитом было спасение. А с этой стороны была гибель. Он принял единственно верное решение: раздеваться. Снять остатки истертой о мерзлую землю одежды — но все же одежды! — и попробовать протиснуться в щель раздетым. Он стал раздеваться. Руки не гнулись. Он раздевался. Разделся. Перетянул одежду на ту сторону — через щель. Стал сам протискиваться в просвет. Подтянул связанные, окровавленные ноги. Пролез. Начал одеваться. Потерял сознание. Пришел в себя. Оделся. Осмотрелся. Впереди была насыпь из смерзшейся щебенки. И никаких признаков жизни. И никаких надежд на спасение.

«Ну что ж, — подумал он в оцепенении. — Я должен выбраться на насыпь. Дальше — наверняка объезд. И по нему идут машины».

Он погрузил лезвие летного ножа в мерзлую щебенку. Взялся обеими руками за рукоятку. Подтянулся. Потом вытащил нож, передохнул и снова вдавил его в щебенку. И подтянулся снова. Потом он застолбил нож попрочнее и повыше и снова подтянулся — на этот раз особенно удачно: на десять — пятнадцать сантиметров. Ободренный успехом, он снова переставил нож и подтянулся еще выше. Тут он упал лицом на щебень, на острые камешки. Он поднял исцарапанное лицо, снова переставил нож и опять подтянулся. А когда он подтянулся еще десять раз подряд, он увидел все ту же щебенку, но уже верхнюю ее линию, линию своих Гималаев, самый высокий рубеж своей угасающей жизни и самый близкий свой каменный горизонт. Тогда он рванулся на последнюю вершину из последних сил, выполз. Но силам его пришел конец — жизнь незаметно ушла из сознания.

* * *

Самолеты и вертолеты части, в которой служил летчик, ходили над огромными пространствами таежного Забайкалья третьи сутки. Они возвращались ни с чем. Пустые. Командование требовало точных отчетов: где пролетали, что осмотрели, что заметили.

Ничего.

Они увидели его в полдень, на светлой насыпи из

щебеики, в точке его последией победы. Вертолет опустился иа участок дороги, где затевался ремоит. Рядом с летчиком. Ои лежал в изодраииой одежде, спокойиый и тихий, с открытыми глазами.

Оии виесли его в вертолет. Положили иа темио-зелеиые чехлы. Подиялись в иебо. Передали по радио: «Нашли. Без движеиия».

И вдруг через иесколько мииут ои стал двигаться. Оии увидели — ои движется. В вертолете было тепло — ои стал шевелиться. Похоже, что ои решил перекатываться.

— Ои жив, — передал комаидир в эфир.

— Ждите распоряжеиий, — ответила земля.

— Направляйтесь в Читу, — последовал приказ. — Садитесь иа поле Цеитральиого стадиоиа, возле госпиталя. «Скорая» подойдет к вертолету.

— Приготовиться к приему, — распорядился иачальиик отдела реаиимации окружиого воеииого госпиталя Лосев. — Больиой поступит через иесколько миiут. — В штаб он передал: «Свяжитесь с бортом вертолета, пусть иемедлеиио выключат все обогревательиые приборы. До одиого».

В реаиимации собрались лучшие врачи. Все было иаготове. На футбольиое поле приземлился вертолет. «Скорая» въехала иа поле с включеииой сиреиой. Потрясеииый увидеииым, стадиоиный вахтер бежал к месту вторжеиия. Одиако ввязаться в служебиый бой ие успел: вертолет с ревом ушел в иебо, а «скорая» проиеслась к воротам. Начал работать четкий мехаиизм воеииой медицины.

* * *

В подмосковиом городке Красиозаводске мать летчика получила телеграмму: «Срочио вылетайте Читу ваш сыи крайие тяжелом состояиии».

Загорский воеикомат и диспетчеры по траизиту аэропорта Домодедово ие потеряли ии миiуты: вскоре мать летчика и его сестра уже летели в Читу.

Седая жеищииа впервые подиималась иад землей. Простая русская мать смотрела в темиоту иочи. Самолет сжигал тысячи километров расстояиия, разделяющего умирающего сыиа и ее, мать. Она ничего не видела.

Она думала о сыне. «Дай мне его застать жнвым, — молнла она судьбу. — Дайте мне увндеть его жнвым, н пржаться к нему жнвому, н поцеловать его жнвым. — Помогн мне самой быть жнвой н дожнть до момента, когда я увнжу его жнвым...» Так она пролетела полстраны с заклннаннямн. С мольбой. Ннчего не ощутнла — нн временн, нн полета.

На аэродроме в Чнте ждала машнна. Их встретнл офицер.

— Жнв? — спроснла она у офнцера. — Жнв мой сын?

Командованне Военно-Воздушнымн Снламн страны отдало распоряженне: любые силы и средства направнть чнтннскнм врачам, начавшнм борьбу за жнзнь молодого летчнка. Командующнй войскамн округа Герой Советского Союза генерал Белнк через каждый час справлялся о состояннн летчнка. По прнказу Центрального военно-меднцннского управлення Мнннстерства обороны СССР в Чнту был команднрован бывшнй тогда начальннком кафедры термнческнх пораженнй Военно-меднцннской академнн нменн С. М. Кнрова профессор Орлов. Генерал-майор меднцннской службы Мнхайлов, бывшнй в то время начальннком меднцннской службы округа, взял прямое шефство над летчнком...

Ннкто нз ведущнх спецналнстов не покндал реаннмацнонной двое суток.

Состоянне в момент доставкн в госпиталь: температура внутреннних органов 33,2 градуса. Артернального давлення не было. Потеря кровн около 2,5 лнтра. Открытые переломы ног. Обмороженне.

* * *

Летчнк открыл глаза. Он увндел людей. Онн стояли вокруг его кроватн. Стоялн военные врачн Лосев, Галкнн, Гончар, Баранкнн.

У него спроснлн:

— Кто вы?

— Я — военный летчнк, — проговорил он. — Юрнй Козловский. 1943 года рождення.

— Где вы находнтесь?

— Где нахожусь — не знаю.

— Что с вамн пронзошло?

— Я катапультировался. С переломанными ногами полз к дороге.

— Какое сегодня число?

— Наверное, 29-е.

— Сегодня 31-е, Юра, — сказал один из врачей.

* * *

— Юра, дела плохи. Хуже некуда.

— Понятно.

— Испробовано все, — сказал хирург.

Летчик промолчал.

— Необходима ампутация обеих ног, — проговорил хирург. — Развивается влажная гангрена.

— Жаль, — сказал летчик. — Жаль.

— Сюда летит профессор Орлов. Может, нам удастся его дождаться. Он летит к тебе. Самолет через два часа.

* * *

— Аэропорт закрылся. Ждать больше нельзя, — сказал хирург. — Погода против тебя.

— А что за меня? — спросил летчик.

Хирург не ответил.

— Распишись вот здесь, — сказал после паузы. — С ампутацией согласен.

Несгибающейся рукой летчик вывел каракули. Ну и роспись!

— Спасибо.

* * *

— Юра, я профессор Орлов.

— Вы застряли?

— Да, был туман. Но моя миссия заключалась бы в том же. Ампутация была неизбежна.

— Я знаю, — проговорил летчик потрескавшимися губами.

«Худшее, кажется, впереди», — подумал профессор, не раз видевший худшее. Летчику он сказал:

— Собирайте все свои силы. А мы соберем свои.

— Мои со мной, — тихо сказал летчик.

«Этот человек не будет от меня ничего скрывать,— подумал Козловский.— Значит, он рассчитывает на меня. И, значит, я еще крепок».

Реампутация проводилась через несколько дней (дальнейшее отсечение конечностей). Ткани «текли» — обморожение было очень сильным. После первых двух операций внезапно развилась прободная язва двенадцатиперстной кишки. Потребовалась желудочная операция.

Мать, сестра и друзья из части были постоянно рядом. Он постоянно терял сознание. Его преследовали галлюцинации. Когда он приходил в себя, никак не мог понять: почему на потолке, на темной линии, оставленной малярами, разыгрывались жестокие морские бои. Морские, а не воздушные. В овале от старой люстры нередко появлялись лица Маяковского и Горького.

Тридцать два дня в реанимации. «Удивительно,— говорил профессор Орлов,— даже одного из действовавших на него в тайге факторов: потери крови, болевого шока, замерзания — достаточно, чтобы человек не выжил. А он жив».

Он жил — так завершилась первая фаза спасения.

* * *

Весенним утром специальный самолет поднялся с читинского аэродрома и взял курс на Ленинград. На борту самолета были Юрий Козловский, его мать Анна Ивановна и сопровождающий врач. Летчика переправляли в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова.

Он лежал в фюзеляже на носилках и не видел землю. Но в иллюминаторы он видел небо. Ему казалось: по цвету неба он мог определить высоту полета. Полет действовал на него возбуждающе. Он ощущал острые сигналы отнятого ремесла.

Смерть отступила, но лишь на шаг. Упустив свое в тайге, она не свернула в сторону. Она без отклонений шла по следу.

* * *

«Мне нужно терпеть боль. Пора к ней привыкнуть,— твердил себе летчик.— В сущности, сегодня, сейчас боль — это моя жизнь. Я ее чувствую и, значит, живу». Привыкнуть к боли летчику, однако, не удавалось, как

не удавалось никому до него. Дела принимали скверный оборот — боль становилась непереносимой. Летчик снова часто терял сознание — перевязки было решено делать тоже под наркозом.

«Никто со мной ее не разделит, — думал он о боли. — Тут человек всегда один. Его боль принадлежит только ему».

— Боль каждого из нас разделит разве что поэт, — улыбался он соседям по палате. — А поэта среди нас, кажется, нет.

Наступила почечная недостаточность. Бездействовали руки.

Отличные военные врачи — Орлов, Михайлов и другие — не отходили от летчика. Они боролись.

«Вот кто по-настоящему хорошо делает свое дело, — думал летчик о врачах. — Вот кто старается изо всех сил. Им неважно, что надежд мало. Они стараются».

Тележка, коридор, наркоз — операция.

Иногда летчик думал: «Сказано точно: последнее, что человеку остается, — это он сам. Вот я в таком положении. Я лишен своего дела, которое я любил и которое люблю. Лишен авиации. И остался один».

Летчик прекрасно знал: разлучи увлеченного человека с его делом — и человек недолго протянет. А если это дело — его единственное дело, если оно — одно на всю жизнь, тогда пиши пропало.

Открылось кровотечение в желудке. Врачи не удивлялись осложнениям — организм прошел через редкие испытания. Врачей удивлял сам летчик. А он решил для себя важнейший вопрос. «Если я остался без своего дела, — размышлял он, — значит, я должен его найти в себе. Новое дело на этот период моей жизни я должен искать сам в себе. И я его уже, кажется, нашел. Выздоровление — вот мое дело. Помощь врачам — вот мое дело. Если я хорошо буду делать это свое дело, я непременно возвращусь к главному делу — к моей авиации».

За окном палаты стояло небо. Летчик рассматривал его утром, и вечером, и днем. Он определял направление ветра. Всматривался в цвет неба, провожая глазами неопасные скалы белых облаков. Однажды он был вознагражден: по диагонали, через все окно, он увидел полет военного самолета. Когда самолет ушел за квадрат окна, летчик долго видел еще его белый инверсионный

след. След был необыкновенно устойчив: смотри на меня, как будто говорил след летчику, смотри на меня, я держусь ради тебя.

Тележка, коридор, наркоз — операция.

Иногда летчик думал: «Я нахожусь на площадке, с которой очень хорошо видна вся моя жизнь. Моя жизнь была интересной и быстрой. Но в настоящий момент мне необходимо смотреть уже вперед. А я все в плену у прошлого».

Он знал, что у человека есть два вида воспоминаний. Одни воспоминания приятные, другие — скверные. Со скверными воспоминаниями все ясно: они способны отравлять спокойную и даже счастливую жизнь. Но терпеть их можно. А как быть с хорошими воспоминаниями? Или даже с отличными воспоминаниями? Как быть с воспоминаниями прекрасными, которые терзают тебя, как молодые, веселые звери, и не хотят тебя отпустить? А ты не можешь даже пошевелить рукой? А ног у тебя нет вообще и уже никогда не будет? Как тут быть? Остается терпеть, думал летчик. Или уворачиваться от воспоминаний, как от удара на ринге. Проиграешь, конечно, по очкам. Но зато избежишь нокаута. «А в нашем деле, — смеялся летчик вместе с теми, кто был с ним в одной палате, — это даже выигрыш».

Тележка, коридор, наркоз — операция. (Пятая в Ленинграде.)

Его жизнь действительно была интересной. Он летал и любил летать и был постоянно готов к полетам. Он был летчиком первого класса. Служил в Группе советских войск в Германии. И в Германии, и на Родине, когда его перевели в Забайкалье, у него были отличные друзья. «Мне всю жизнь, — размышлял он теперь, — везло на друзей. Меня всегда окружали спокойные, сильные люди. И все, что во мне есть сейчас, — это от них, людей, с которыми я летал».

Он был секретарем комитета комсомола эскадрильи. Потом — членом комитета комсомола полка. Был принят в партию. Был членом офицерского суда чести.

Теперь, когда он осматривал с больничной площадки свою жизнь, он видел: и друзья, и общественные обязанности, и книги, и музыка, и спорт — все группировалось, распределялось, существовало внутри главного дела — летного дела, службы в Военно-Воздушных Силах.

Служба вмещала в себя всю сущность жизни, все ее многообразие, всю ее ясность и сложность. Его жизнь — его служба, его военное ремесло, в основе которого лежала Готовность, не делилась на этапы и на периоды, на «до работы» и на «после работы». Не делилась, как не делится небо, и как не делится боль, и как не делится сердце. Он служил в ВВС. Но вернее сказать иначе — он служил Военно-Воздушным Силам. Им отдавал он всего себя без остатка, а взамен получал вдохновение, силу и чувство достоинства. Служба воспитала в нем потребность отлично делать свое дело. И не выть, когда попадаешь в капкан.

Тележка, коридор, наркоз — операция. (Шестая.) На обеих ногах одновременно. 300, 400, 500 дней на койке. Пятьсот дней позади — неизвестно, сколько впереди.

Над Ленинградом — белые ночи.

Стадия залечивания и вылечивания переходила в стадию выздоровления. Руки обрели подвижность. Почки действуют. Ткани обретают пластичность. Врачи осторожно и сдержанно ликовали. Он креп. «Я проверил себя на многое, — подводил он некоторые итоги в минуты подъема. — Проверка была по всем статьям. Похоже, мне кое-что удалось... Конечно, всегда найдется вздорный человек, который задаст вопрос: что, нужно обязательно лишиться ног и рук, чтобы себя проверить? А других способов нет? Есть, конечно. Но ведь испытания сами выбирают тебя... Я потерял ноги — и я должен бороться, чтобы вернуться в строй. Вот и проходишь проверку. Если я теперь выживаю — значит, я потерял только ноги. Всего лишь ноги».

* * *

«Скорая помощь» ехала по Ленинграду. Ехала не торопясь, без сирены. Юрия Козловского перевозили в Научно-исследовательский институт протезирования. Он лежал на носилках в кузове машины и радовался ощущениям движения — неровностям дороги, трамвайным рельсам, упругой тяге двигателя.

«Врачи дотянули меня до существования, — сказал он себе в тот день. — Моя задача — дотянуться до жизни».

Опытный специалист В. Кнопинский встретил летчика простыми и ясными словами:

— Будем ставить на ноги. Согласны? — и засмеялся.

Летчик рассмеялся тоже.

Первая «партизанская» попытка пройтись по коридору в пробных, примерочных слепках окончилась скверно: «туда» он дошел, а оттуда его привезли на тележке. Протезы были залиты кровью. Ноги совершенно не выдерживали прикосновения протезов.

Новая, более широкая тележка, новый коридор, привычный запах наркоза — операция. Первая в НИИ.

Тележка, коридор, запах наркоза — операция. Вторая в НИИ.

* * *

Известие: за мужество и стойкость, проявленные в исключительно трудных условиях, капитану ВВС Юрию Козловскому присвоено очередное воинское звание...

Час он лежал, отвернувшись к белой стене. Значит, все это время, повторял он, они считали меня в строю. Значит, все это время... Звание было присвоено перед его увольнением в отставку.

«Я летчик-инженер. Авиации я могу преданно служить и на земле. Авиация начинается на земле. На земле держится даже небо», — он возвращался к жизни стремительно и жадно.

Последняя операция — последняя тележка. Последний проезд по коридору. Последний наркоз.

700 дней назад, в Чите, перед отлетом в Ленинград он не смог вывести на листке бумаги благодарность врачам, спасшим его от смерти. Это сделала его мать. Теперь, в Ленинграде, он обменялся крепкими рукопожатиями со всеми, кто дрался за его жизнь. Через 700 дней Юрий Козловский и его мать покидали Ленинград. В чистом высоком небе неслись три сверкающих легких самолета.

Салют!

Год ушел на тренировки. Сейчас он отлично выглядит. Ходит, как прежде, — о протезах не догадаешься. Старается сохранить прежнюю походку.

Недавно был в своей части. Встреча была прекрасной. В день отъезда домой он стоял на аэродроме и наблюдал за полетами, за посадками и взлетами.

Этот самолет шел особенно чисто. Он сиял плоскостями, легко, ровно скользнул по широкому солнечному лучу, шел по крутой глиссаде, плотно прильнул к полосе — так мог летать лишь настоящий мастер.

Юрий смотрел и молчал. Услышал слова товарища:

— Когда начнешь летать?

Посмотрел в его глаза. Глаза были добрыми и искренними, как и вопрос. Но бывший летчик с неожиданным вызовом спросил:

— А я хорошо летал, когда служил? Или я летал так себе?

— Еще бы! — проговорил лейтенант, не ожидавший нападения. — Ты летал что надо! Каждый об этом знает!

— Ну тогда постарайся понять, — сказал Козловский. — Летать так, как я летал тогда, я теперь не смогу. А летать лучше не смогу тем более. Мы с тобой знаем современный самолет. А летать хуже я не желаю. Летать хуже нельзя!

Он отвернулся от лейтенанта, от сбрасывающего обороты самолета, от строя машин с зачехленными двигателями и от самолета, уходящего в новый полет. Он уходил с аэродрома.

Летчик прав. Худшее, что человек может себе позволить, — это снижение с той высоты, на которую он уже поднимался однажды в своем деле.

ЖИЗНЬ

Все привычно в ясную погоду, а когда наступают сумерки и падает снег, шпиль МГУ и башни исчезают во мгле и огни на циферблате высоких часов становятся неяркими и далекими. Здание теряет вертикальную законченность и обретает величие незавершенного шедевра.

* * *

Ректор МГУ академик Рем Хохлов незадолго до смерти, в трудной ситуации в горах, сказал своему другу в шутку: «Ничего, мы пожили немало».

Хохлову был пятьдесят один год.

Замечено, что люди, чья жизнь представляет наи-

большую ценность для других, меньше всего своей жизнью дорожат.

И, конечно, наоборот.

Писать о Хохлове трудно, потому что трудно преодолеть догму — «большое видится на расстоянии». Смерть и есть наибольшее расстояние, которое вообще возможно между людьми. Ход времени не меняет этого расстояния: оно одинаково беспредельно в миг смерти и спустя годы.

А мы привыкли ждать, пока пройдут годы.

Рем Викторович Хохлов, лауреат Ленинской премии, академик, ректор МГУ, был выдающимся советским физиком. Мировую известность ему принесли работы по генераторам когерентного оптического излучения и нелинейной оптике. Его внезапная кончина вызвала реакцию почти во всех научных центрах земли.

«Мировое научное сообщество, — писал профессор С. Л. Танг из университета Итаки, — потеряло действительно работоспособного и выдающегося человека».

«...Нам будет не хватать его, — заявил профессор Массачусетского технологического института Али Джован. — Его уважали и им восхищались все».

«С чувством глубокой скорби узнали мы о кончине выдающегося представителя советской науки», — телеграфировал президент АН ЧССР Колешни. Поток телеграмм не прекращался несколько дней.

Друг и коллега Хохлова лауреат Ленинской премии профессор С. Ахманов вылетел в США через неделю после его смерти для участия в международной научной конференции. Конференция проводилась в Плимуте. В Плимут Ахманов попал поздней ночью. Однако члены организационного комитета не спали: ученого из МГУ ждали, чтобы уточнить некоторые даты биографии Хохлова. Утром конференция открылась подробным рассказом о его жизни. Были показаны слайды, выступили все, кто знал Хохлова, кто с ним встречался.

Среди телеграмм из посольств Кубы, Португалии, Бангладеш, Венгрии, Югославии, Польши, Японии, Вьетнама, телеграмм из Токио, Софии, Праги, Нью-Йорка, Бостона, Берлина и других городов мира могла затеряться самая простая и короткая: «Его влияние надолго». Эти слова написаны горьковскими студентами. В словах студентов, по существу, заключено главное.

Влияние, оказанное Хохловым на развитие физики, высшей школы и просто на людей, которые его знали или знали о нем, огромно. Важно понять, в чем оно состояло, в чем заключалась незамкнутая и устойчивая сила Хохлова, как она им обреталась и как ее обрести другим.

Вопрос именно в этом.

Рем Хохлов окончил семь классов и начал работать автослесарем в самый трудный для страны год — 1941-й. Слесарем он был три года. Шла война, дети взрослели быстро, а взрослые старели на глазах.

Подросток боролся с усталостью. Он не забывал об учебе. В 1944 году принял решение: сдать экстерном экзамены за восьмой — десятый классы и поступить в институт. Экзамены сданы. Он студент Московского авиационного института.

Вкус личной победы в трудном деле был познан.

Студент Хохлов возвращается к своей первой профессии не раз — летом снова работает автослесарем.

В 1945 году Хохлов переходит из МАИ на физический факультет МГУ. Теперь его жизнь неразрывно связана с главным учебным заведением страны. А с момента смерти он останется в этих стенах навсегда. В делах и памяти. По решению ректората и парткома МГУ центральной физической аудитории университета присвоено имя академика Хохлова.

Но вернемся к годам юности. Годам безвестности. В молодые годы человек обретает — или не обретает — свои главные качества: волю, благородство, целеустремленность. В зрелые годы он эти качества развивает или не развивает, губит. В старости он на них опирается или страдает, не имея опоры. Вернемся в ранние годы.

Рем Хохлов учился в неповторимое для страны время. Студенческая среда состояла из вчерашних фронтовиков и вчерашних десятиклассников. Их было поровну. Они учились неистово, помогали друг другу искренне и готовились вместе помочь стране. Страна ждала их помощи — 1945 год!

Друг Рема Викторовича Хохлова доцент МГУ Эдуард Сергеевич Воронин говорил: «Мы жили пафосом победы, но остро чувствовали трудности, которые переживал народ. Мы стремились выучиться немедленно. Мы ложились спать не раньше трех часов утра. Уставали, но

я не помню Рема раздражительным или злым. Он был доброжелателен и чист. То было прекрасное время... Рем сохранил себя таким для всей жизни».

Доцент Геннадий Яковлевич Мякишев говорит о случае тех лет. На факультете они увидели объявление: продаются учебники. Книги продавал их старший коллега, физик, ставший писателем. Мякишев и Хохлов поехали по указанному адресу. Книги купили, расплатились. Через некоторое время до Хохлова дошли разговоры: физик-писатель недоволен, говорит, обманули, воспользовались его материальными затруднениями. Чушь, но Хохлов тут же поехал к продавцу снова. «Сколько я вам должен?» — спросил он. Выяснилось, что нисколько. Некоторым людям жизненно необходимо представлять других в скверном свете. Хохлову было важно выяснить истину.

Ни в студенческие годы, ни после никто, никогда и нигде не слышал от Хохлова резкого отзыва о ком бы то ни было. Бывает ведь приятно и просто позлословить! Хохлов ничего приятного в этом не находил. Он находил это недостойным.

Студент Хохлов и его друзья испытали в послевоенные годы жгучее чувство творчества. Это чувство осталось с ними на всю жизнь — многие из них стали известными учеными страны. В то трудное время они не просто поглощали знания. Они стремились сказать свое слово в науке в процессе учебы. Хороший студент и сегодня стремится к этому. Желание творить присуще многим. Но у поколения Хохлова это желание имело другую концентрацию — оно было потребностью.

Закономерно, что свою первую научную работу Рем Хохлов опубликовал в 1948 году, когда был студентом.

Профессор Владимир Иванович Григорьев вспоминает: «Мы много сил и времени отдавали всевозможным теориям. Что отличало Рема от нас, его друзей? У него не было наполеоновских замашек. И потому, наверное, задачи, которые он формулировал в физике, казались нам частными. А он, видимо, уже тогда понимал, что физика не учитывает некоторых величин. Хохлов всегда шел от вполне частных задач к общим. В будущем он поражал хорошим непостоянством интересов, щедростью идей и разнообразием научных открытий. Но вершил он

свое дело без шума, достойно и искренне, стремясь лишь к познанию, результату и пользе».

Многоступенчатый горизонт науки раскрыли перед Хохловым годы учебы в МГУ. Эти же годы сформировали Хохлова как человека. Человек, каким его знали всю последующую жизнь. Доброжелательность и искренность Хохлова, о которой говорят сегодня все, произрастали именно в те годы. Рем Хохлов взрослел в окружении юных коммунистов, уцелевших в кровавых сражениях только что отгремевшей войны, и комсомольцев, пришедших в вуз из голодных и холодных школ.

Можно ли не говорить об этих годах? Что еще в человеческой жизни может быть так же важно, как школа молодости, ее уроки и ее нравственные открытия? По степени влияния — ничего.

Хохлов никогда не менял своих нравственных убеждений. В юности он их обрел, в молодости ими руководствовался. В зрелости он не отступил от них ни на шаг. Его облик неделим, он един. Хохлов — студент МГУ и Хохлов — ректор МГУ одинаковы в главном. Доброжелательность и порядочность — сущность Хохлова.

Доброжелательность — понятие не возрастное. И не отдельное, автономное нравственное качество. Оно не может существовать в человеческой натуре рядом с жестокостью или подозрительностью. Нельзя искренне желать кому-то добра и одновременно сознательно отравлять человеку жизнь. Доброжелательность у человека или есть, или ее нет. Если она есть, она занимает весь объем человеческого сердца и не оставляет места для зла. Желать другому человеку добра — значит принимать его таким, как он есть, и стремиться помочь ему в чем-то стать лучше. Об этом качестве все чаще говорится и пишется как о драгоценности, исчезающей из жизни многих.

Хохлов прекрасно и стремительно начал жизненный путь. Как подвести черту под его молодостью? Никак не подведешь. Он был молодым и умер молодым.

* * *

Они поднялись в тот год почти к самой вершине горной гряды, и чистый снег ослепил их своим белым сиянием, овеял сухим холодом, и они поняли, что работа им

предстоит нелегкая, так как склон был крутой, а снег глубокий и плотный. До наступления темноты они устраивали лагерь. Рем Хохлов работал без пауз, и было похоже, что он никогда не расставался с примусом и стальными кошками, с пуховыми мешками и куртками и что обшитые изнутри войлоком огромные ботинки были самой привычной для него обувью. Алюминиевые стойки они закрепляли растяжками, а растяжки крепили к ледорубам, камней не было, все было под снегом. Ночевали на отметке «6900», вершина была рядом, утром они должны были ее взять, но ночью начался буран, и видимость пропала. Непогода стояла несколько дней. В тот раз они так и не достигли вершины и начали спуск вниз, на плато. Во время спуска Хохлов сорвался в трещину и, пролетев метров десять, упал в глубокий снег. Спасатели сработали оперативно, и все обошлось хорошо, но повторять попытку восхождения не стали.

К тому времени опыт альпиниста у Хохлова был уже большой: четыре восхождения на семитысячники (дважды на пик Ленина) и медаль на чемпионате страны по альпинизму за подъем на пик Военных Топографов. Успехи в альпинизме были у Хохлова стремительными и многих озадачивали. Среди людей, прекрасно к нему относившихся, начались волнения: некоторые воспринимали его увлечение горами чуть ли не как измену науке. А он уже понимал, что будет всегда любить горы. Кажется, он понял это или ощутил в свою первую грозовую ночь на Кавказе, когда при свете молний увидел острые камни ущелий и зеленый цвет снега. Они тогда попались крепко, гроза была оглушительная, и они спорили, как безопасней держаться за веревку — на большом расстоянии друг от друга или на малом, быть рядом. На большом расстоянии, утверждали одни, большая разность потенциалов, а на маленьком — меньшая, но, с другой стороны, утверждали противники, мокрая нейлоновая веревка — идеальный проводник для разрядов, и, таким образом, потенциал должен быть одинаков во всех точках! Физики спорили до окончания грозы, а потом наступила звездная, чистая, незабываемая ночь, которую горы вслед за испытанием дарят всем, кто их любит. Там, на Кавказе, Рем Хохлов «заболел» горами. Но в последнее время он все чаще отправлялся в отпуск на Памир.

Памнрская вершииа в райоие ледника Фортамбек оставалась желаииой и маиящей, и, когда оин уезжали в тот год от ее подножия, Хохлов не один раз оглянулся на ее холодиый одииокий угольинк, сверкающнй в шнроких лучах желтого солнца.

* * *

Первая в СССР лаборатория нелинейной оптики была создаиа Хохловым иа физнческом факультете МГУ. Вскоре на ее базе оргаинзовалась кафедра волиовых процессов — Хохлов стал заведующим кафедрой. Крупнейшие советские ученые утверждают: работа лабораторнн и кафедры оказала решающее влияиие иа развитие нелииейной оптики в иашей страие и за рубежом. Именио за исследование нелниейиых когереитных взаимодействнй в оптике Р. В. Хохлову и С. А. Ахманову была присуждеиа Леиинская премня.

А уже через два года Хохлов иачниает работы по гаммалазерам. Работы сразу же стнмулируют подобиые исследоваиия в СССР и в ведущих иаучных цеитрах США.

К кафедре Хохлова с первых ее диеи потянулись студеиты, молодые учеиые. К иему потянулись неленнвые молодые люди, способиые выдержать темпы открытий!

Профессор Владимир Борисович Брагиискнй, у которого Хохлов был в свое время научиым руководителем, сказал о иаставинке так: «У Хохлова было резерфордовское отношеине к ученикам: ищи — вдруг найдешь!»

В. И. Грнгорьев выразился ииаче: «Он умел очеиь быстро довести человека до самостоятельиости в науке».

Однажды прн переходе улицы кто-то из друзей Хохлова, бывший с иим рядом, сказал: «Рем, ты бы взял младшего сыиа за руку». «Зачем? — улыбиулся Хохлов. — Ои виднт, как поступаю я и люди вокруг. Зачем человеку навязывать помощь, когда оиа ему не нужиа?» Все тогда рассмеялись, и сын тоже — с веселой благодарностью.

Педагог Хохлов так и счнтал: помогать иужно только тогда, когда действительно нужио. Неиужиая помощь лишь ослабляет человека. В любом деле.

Качество и количество научных идей Хохлова не ошеломляло его учеников — вдохновляло. Он поразительно легко ладил с людьми. Выяснение взаимоотношений, обморочно-тягучие и неумные разбирательства сплетен, престижные споры считал вздором. Чванство вызывало в нем отвращение.

«Он, не задумываясь, прощал человеку личный выпад в свой адрес, — говорила жена Хохлова Елена Михайловна, — ибо ценил в человеке не отношение к себе, а ту пользу, которую человек приносил или мог принести делу».

Важнейшей чертой Хохлова-руководителя, Хохлова-ученого была вот эта: он не боялся талантливого фона. Если бы эта черта была общей для всех, вряд ли о ней столько бы говорили лишь в связи с Хохловым.

Более всего важно: Хохлов никогда ие декларировал лучшие человеческие качества, а обладал ими. Разница! И он активно их проявлял — и в науке, и во взаимоотношеииях с людьми, и вообще в жизни.

У одного из его бывших учеников, формально давно не имеющего к нему и к кафедре иикакого отиошения, случилась беда. Пареиь совершил проступок, уголовно наказуемый. Хохлов, уже видный ученый, лауреат самых высоких премий, узнав об этом, едет иа заседание суда, искренне и взволнованно выступает в защиту виновного! Почему? Потому что увереи: парень виновен, но поступок им совершен без злого умысла, по недомыслию. Хохлов верил в честные заблуждения. Может быть, таких примеров вокруг нас и много, ио автору, к сожалению, известен только один — этот.

Как рассказать о доброжелательности и принципиальности одновременно?

Размышляя вслух о Хохлове, Брагинский сказал: «Аномалия доброжелательности». Позже сказал: «Считается, что принципиальный человек должеи иметь сторонников и врагов. Вся жизненная практика Хохлова опровергает этот тезис».

Товарищ, с которым когда-то вместе учились, полюбил девушку. Пришло время — родился сын. А от отцовства товарищ отказался — решил быть свободиым. Время — только науке. Хохлову изложили ситуацию, попросили повлиять, оказать давление. Авторитет Хохлова велик, но давить он не умеет. Решает по-своему.

Собираются в ресторан, включая «товарища», по формальному, кем-то придуманному поводу. Первое слово — Хохлову. Хохлов молчит, а затем произносит тост за здоровье, допустим, Виктора Сергеевича. Виктор — имя мальчика, Сергей — имя его отца, «товарища», сидящего за столом. Все. Больше к этому вопросу никогда не возвращались: «товарищ» признал сына, семью и на все нашел время.

Хохлова окружало много людей. К нему тянулись многие. Возникает вопрос: что, все, кто к нему тянулся, были людьми достойными? И среди тех, кто считался его учеником, или тех, кто старался быть с ним рядом, не было людей случайных на кафедре? В университете? В науке?

Конечно, были.

И что Хохлов? Хохлов оставался Хохловым. Не все разделяли его практику, и не все принимали ее без споров. В чем ее особенность?

С. А. Ахманов отвечает на этот вопрос так.

Рем Викторович считал, что лучшим администратором является время. Он считал, что люди сомнительных достоинств, прибитые к настоящему делу некой приливной волной, той же волной будут унесены назад, когда наступит отлив.

«Я не разделял такого подхода к данной проблеме», — сказал Ахманов.

Определял Ахманов и другое: «Хохлов не проводил селекцию людей. Каждый к нему мог прийти. Он, как ученый и руководитель кафедры, не ставил условий: чтобы попасть в мою группу, человек должен иметь такие-то и такие-то исходные данные».

А отношение Хохлова к нарушению научной этики — игнорированию первоисточников, присвоению чужих идей и т. д.? Елена Михайловна говорит об этом ясно: «В подобных вопросах он был крайне терпим, — но если речь шла о его работах, если пострадавшим лицом был он. Возможно, что в какой-то форме он это и переживал, но активно подавлял в себе любое проявление недовольства. Зато во всех иных случаях терпимость уступала место иным чувствам».

«Он был сторонником нравственно сбалансированных отношений между учителем и учеником, — говорит жена. — Он не любил, когда одна из сторон завышала

свою роль. Если это происходило в публичном месте, он старался корректно и незаметно поправить этот перекос...»

Короткая справка: Хохлов подготовил более 50 докторов и кандидатов наук, многие из которых уже стали известными учеными...

И короткое отступление. Известны династии хлеборобов Оренбурга, металлургов Магнитогорска, шахтеров Донбасса. Вот и династия физиков: мать Рема Викторовича — физик, он — физик, его жена — физик, оба его сына — физики.

По решению ректората и парткома МГУ первая премия, которую ежегодно вручают победителю конкурса молодых ученых МГУ, будет теперь называться премией имени Хохлова...

* * *

На этот раз они поднялись к памирской вершине почти вплотную, и погода стояла безветренная и ясная, но бросок на вершину опять не удался, так как навстречу им спускали обмороженного австрийского альпиниста, схватившего холодную ночевку перед последним этапом, и Хохлов вместе со своими товарищами стал помогать транспортировать пострадавшего вниз, до самого плато, и на это ушло все их время и все их силы.

...Из-за плохой погоды они сидели у подножия Памира несколько часов подряд, и пилот маленького спортивного самолета жаловался на свою судьбу и говорил, что его незаслуженно списали из военной авиации и летать на этой ненормальной «пчелке» у него уже больше нет никаких сил. Это все равно, говорил он, что хорошего бегуна, привыкшего бегать по гаревым дорожкам, заставили бы плестись через торфяные болота. «Я кончу тем, — говорил пилот, — что попробую сделать на этом монстре мертвую петлю. Я сделаю это сейчас», — разжигал он себя.

Все его отговаривали, а Хохлов молчал и улыбался.

Потом пилот умолк и психовал молча, а когда ему надоело молчание, он стал выяснять у них, зачем они приезжают сюда каждое лето и хотят подняться на самую высокую вершину гряды. Люди сидели у шасси его самолета и улыбались, а Хохлов спросил у парня,

зачем ему нужна настоящая авиация и фигуры высшего пилотажа, если он и на этом самолете может уютно летать и даже перевозить людей.

Когда распогодилось, они поднялись и полетели навстречу привычным трудам и заботам, а памирская вершина засверкала по-прежнему недоступно и гордо. Хохлов видел ее размеры и ее чистые, как небо, льды, непостижимо белые снега и коричневую прочность скального камня. Вершина была огромна и с расстоянием не уменьшалась, а только отдалялась.

* * *

Ректор МГУ Хохлов представлял себе все многообразие студенческой жизни университета, деятельность его многочисленных учебных и научных подразделений в достаточной мере. В сущности, вся его жизнь ведь прошла в МГУ. Студент, заведующий лабораторией, заведующий кафедрой. Школа комитета комсомола, парткома, наконец, опыт работы заместителем секретаря парткома университета. (В те годы Рем Хохлов после поздних заседаний парткома непременно развозил по ночной Москве на своей старой «Волге» участников заседания, и каждый из них до сих пор вспоминает разговоры, которые велись в машине: о Москве, об МГУ, о физике.)

Знал Хохлов многое, но не все. Знал не все, что положено знать ректору самого крупного в государстве учебного заведения. Знал не все, так как высшая школа, университетская наука, педагогическая методика, взаимодействие кафедр и факультетов, комплексный подход к проблемам образования — все это менялось вместе с жизнью и требовало постоянного внимания и изучения.

И Хохлов стал учиться. Он стал учиться всему этому и многому другому. Философия, лингвистика, биология — даже это теперь следовало досконально знать. Старые друзья, войдя в ректорский кабинет Хохлова и увидев горы совершенно необычной для физика литературы, позволяли себе шутку: «Рем, неужели ты это понимаешь?»

Он старался много узнать и понять, ибо принцип его был высок. Он говорил: «Руководитель должен быть компетентен во всем, что касается его коллектива. Ина-

че в развитии коллектива он неизбежно станет тормозом».

Да он и просто любил учиться — это была его потребность. Он был убежден, он говорил: «Высшая радость человека происходит от познания и свершения нового». Новое он искал в людях и книгах, к любимому возвращался в живописи и музыке, открытия совершал в науке...

Его служебные обязанности усложнялись, требовали огромной внутренней собранности: ректор, вице-президент Международной ассоциации университетов, член президиума АН, исполняющий обязанности вице-президента Академии наук СССР, член Ревизионной комиссии ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР. Собственная научная работа велась теперь только в субботу и воскресенье. Но зато на кафедре волновых процессов в эти дни был пир науки — сюда являлись все, кто наукой жил.

И каждый видел: Хохлов не меняется, он прежний — доброжелательный, ясный, свободный в общении. Доброжелательность — главный источник его энергии.

На двери кабинета заведующего кафедрой Хохлова не было таблички: «Прием с... до...». Ее Хохлов снял без колебаний, как только стал заведующим. В кабинете на огромной грифельной доске рождались формулы, они сияли, поражали и тут же, стертые, гибли, но оставались в памяти тех, кто находился в воскресные дни рядом с Хохловым. Озадаченные неожиданным высказыванием Хохлова, ученики нередко опускались в глубокие тяжелые кресла, а он оставался у доски, ждал развития идеи...

Он менялся и рос как личность, как руководитель, но он не менялся как человек. Его демократизм, скромность были свойством его характера, личности. (Однажды в Токио на торжественном приеме, устроенном японскими учеными в честь ректора МГУ академика Р. В. Хохлова, он услышал в свой адрес такие слова: «...мы предлагаем этот тост за выдающегося, великого русского ученого...» Мгновенно поняв, чье имя будет названо после этих слов, Хохлов, воспользовавшись паузой для перевода, четко и весело произнес: «Михаила Васильевича Ломоносова!» Банкетный зал взорвался аплодисментами.)

Его скромность действительно была удивительна. Когда, например, его бывшие ученики В. Канер и О. Руденко принесли ему на подпись оттиск научной статьи, написанной с Хохловым совместно, он, прочитав гранки, поправил два-три абзаца, а затем поменял местами фамилии — свою фамилию он поставил последней...

И даже в этом он оставался до конца прежним: каждое утро его видели на склонах Ленинских гор, где он занимался спортом. Программа, которую он задавал себе, была беспощадна — он ее выполнял. Без передышек. Он свято верил: утренний спорт помогает вынести любые перегрузки дня...

По решению ректората и парткома приз памяти Хохлова будет ежегодно вручаться лучшему спортсмену МГУ...

Ему посчастливилось узнать, понять и почувствовать обаяние, силу и величие личности своего предшественника, ректора МГУ академика Ивана Георгиевича Петровского, ему суждено было встретиться и подружиться со многими крупнейшими советскими и зарубежными учеными и общественными деятелями. Он постоянно находился в общении со студентами из самых разных уголков нашей страны и самых разных стран мира. Ему доводилось слышать грохот американских городов и тишину Венеции, он видел зеленый океанский прибой у канадских берегов и дышал солнечным ветром Оклнавы. Он познавал невообразимое многообразие мира, но в центре мира видел человека. И оставался человеком сам.

— Рем Викторович! — сказал, придя к нему в кабинет бывший секретарь комитета комсомола МГУ, а теперь заместитель заведующего кафедрой радиохимии В. Федосеев. — Рем Викторович! К ректору университета у меня много вопросов. Но я пришел лишь с одним... — И Федосеев рассказал: много лет подряд вахтер их кафедры, участник Великой Отечественной войны, человек одинокий и немолодой, человек честный и добрый, мучается без квартиры и живет в невозможных условиях...

Руководитель мог поступить по-разному — приходится признать.

Хохлов поступил естественно и просто, как и положено поступать в простых и ясных ситуациях, которые, однако, в жизни превращаются усилиями некоторых в

сложные. Вскоре райисполком выделил вахтеру квартиру наравне с учеными, потребность в которых у МГУ немалая...

Хохлов был современным ученым. Его образ никак не вязался с бытующим еще представлением о крупных ученых, как о затворниках, оригиналах, людях, совершенно игнорирующих окружающую их жизнь, подчиняющих все своей чистой, стерильной, загадочной науке. Нет! Хохлов был современным ученым, современным человеком в истинном и подлинно точном значении этого слова.

Хохлов, как ректор, как деятель, на которого президиум АН СССР возложил обязанности осуществления связей академии с высшими учебными заведениями страны, только начинал — им были сделаны лишь первые шаги. Но планы его были захватывающими. Намечая пути развития высшей школы к началу XXI века, он писал: «Вузы будут охватывать своей деятельностью не только молодежь, они превратятся в центры культуры и образования всего народа...»

* * *

...Наконец они снова вернулись к той сверкающей памирской вершине, надеясь на успех, как и в первый и во второй раз, и успех сопутствовал им, но, как и прежде, лишь до определенной границы, не дальше, а дальше началась драма, каких немало бывает в горах. Два друга Хохлова тяжело заболели. Начался трудный путь вниз, а потом путь стал скорбным, и Хохлов почувствовал сильное недомогание, хотя держался, как мог, и старался даже во многом помогать другим. Потом была трудная ночь. По радио им передали инструкции вертолетчиков, и они всю ночь трамбовали глубокий снег на площадке диаметром 30 метров и протаптывали тропы по 1000 метров длиной для ориентировки пилота, и в этих работах Хохлов старался принять участие, тоже помогая спасателям. Утром вертолет Ми-4, за штурвалом которого был Игорь Иванов, в одно касание приземлился на приготовленную в горах площадку, впервые на такой высоте, а Ми-8 проконтролировал операцию с воздуха, и в короткое время с эвакуацией было покончено.

Все оказалось напрасным.

В Москве он проговорил только одну фразу, смысл которой остался известен лишь ему одному. Он сказал: «Все это не так элементарно».

* * *

Если чем-то утешаться, так это тем, что сделано Хохловым очень много. Студенты правы: его влияние надолго.

...Он получал почести и блага, а его сердце оставалось таким, каким было всегда,— добрым и светлым. Лишись он почестей и благ — оно бы снова осталось неизменным. В этом прекрасном и честном постоянстве — очарование и воля, сила и обаяние и незащищенность Рема, Рема Викторовича, Рема Викторовича Хохлова.

* * *

...И если многих из нас переполняют сегодня великие силы неясных устремлений и мы вслед за кем-то стараемся подняться на самые высокие горные вершины земли, пусть в нас остаются силы и на то, чтобы подняться на высоту отдельных людей, которых порождает наше время.

ТЫ НЕ УМРЕШЬ

Они шли по узкой, освещенной солнцем тропе, вдоль реки Каратал, три мальчика и один старик. Старик шел позади. Ему было хорошо видно мальчиков, и он был за них спокоен. Он чувствовал, что они последнее, что связывает его с жизнью и тянет еще к реке.

Они прошли мимо сухого оврага и свернули с тропы.

Было утро.

Они выбрали подходящее место, будь оно проклято.

Старик прижал стебли сухой травы к земле и положил на них рюкзак. Мальчики сложили удочки и направились к берегу.

Старик ловил рыбу в Каратале давно. Он знал все особенности этих мест и этой речки, текущей по широ-

кой долине у отрогов Джунгарского Алатау. Он и о жизни знал немало. Но он не мог знать того, что произойдет здесь через два часа: перед случайностью опыт ничто.

Он и не знал.

Мальчики нашли трещины, закрепили в них удочки, стали пробовать прочность невысокого обрыва: если земля обваливалась и крошилась под ударами ног, они смеялись и шли дальше. Старик посматривал на их занятие и тихо, незло говорил:

— Не делайте этого. Вы распугаете рыбу.

Комья сухой глины и ракушечника продолжали срываться вниз и с шумом падали в речку. «Мальчики так и послушали», — с удовольствием думал старик.

День пошел по заведенному порядку. Ребята прекрасно знали, чем будут заниматься они и что будет делать старик.

Последнее время он часто бродил по долине и смотрел на близкие горы и холмы. Время от времени он возвращался к берегу, и тогда они вместе проверяли удочки.

Мальчики не очень-то скучали, пока старик всматривался в серую непреодолимость гор и синеву холмов, пока он кружил по долине. Возраст нетерпения: семь, десять и четырнадцать лет, соприкасаясь, порождал высочайшие энергии. Они мотались друг за другом, как волчата, и каждый раз норовили пробежать по самой кромке обрыва. Орали веселые птицы, кружились вдали холмы, плавные, как бока сладкой груши, и сверкала река.

Шло утро — утро в начале жизни.

Внезапно старший из мальчиков, Витя, увидел: в земле появилась трещина, она увеличивалась, и участок берега, где стоял Олег, ожил. Витя легко рванулся к Олегу, оттолкнул его назад и по инерции оказался на том же участке, с которого столкнул десятилетнего Олега.

Все произошло неожиданно. Он ощутил: вместе с землей скользит вниз. Он заметил, как исчезли трава долины и сухой карагач, а потом Олег и Вадим, а затем и горы. Скольжение было быстрым, почти мгновенным, как будто происходил обвал.

Обвал и произошел.

Мальчик упал вниз, на плоский, сухой, подмытый водой берег. Вода была близко, но он ее не испугался. Река текла спокойно и не могла захлестнуть его.

Он ощутил сильную боль в боку и хруст песка на зубах. В воздухе еще висела пыль. Стонать он не стал — не в постели же он был, где всегда все больнее! Он попытался подняться на ноги. Поднявшись, он прижался грудью и животом к глине обрыва и передохнул.

Обрыв был невысокий. Мальчик поднял руки, и пальцы коснулись сыпучего края. Боль обожгла его снова, но он ее снова стерпел и прокричал наверх:

— Помогите мне вылезти отсюда!

Олег и Вадим подобрались к обрыву.

— Ближе не подходите, — предупредил Витя, — земля может обвалиться опять.

— А мы не дотянемся отсюда, — сказал Олег.

— Ложись на живот, — проговорил Витя, — давай мне свои руки.

Олег лег на пыльную теплую землю и протянул к Вите обе руки. Вадим тоже лег рядом и тоже вытянул руки.

Витя уперся ногами в глиняный вал, но глина рассыпалась, и он лишился опоры. Мальчик навалился на земляную стену и ощутил острую боль в боку.

— Ты подпрыгни, — посоветовал Олег, — а мы ухватим твои руки.

— Еще чего, — проговорил Вадим, — как он подпрыгнет?

— Я буду снова упираться ногами в глину, — сказал Витя, — а вы тяните меня за руки.

Река текла спокойно и бесшумно, нигде не было ни души.

Мальчик нашел небольшой выступ и попробовал его на прочность — как будто крепкий. Он подозвал ребят к себе, сказал: «Может, вылезу в этом месте» — и снова поднял вверх руки. Олег и Вадим ухватились за его пальцы, кисти рук захватить не успели. Витя снова соскользнул вниз.

Он застонал и ощутил головокружение.

— Я бегу за дедушкой, — сказал Вадим.

— Не надо, — возразил Олег. — Что мы, сами не справимся?

— Не беги, — поддержал Витя, — не надо.

Отыскав новую опору, мальчик скомандовал:

— Давайте сюда! Здесь вылезем!

Помощь Олега была позаметней — все же десять лет, а Вадима поменьше — только семь лет, но дело двигалось. Боль при движениях ослабляла мальчика. Помощники старались, как могли, и наконец мальчику удалось выбраться наверх. Втроем они уселись на земле и стали отдыхать от усилий. Возбуждение приходило к ним постепенно, когда все уже казалось позади, как и у взрослых, у тех из них, кто способен на поступок, а не только на одно возбуждение.

Витя сказал:

— Мне плохо.

Они тут же помогли ему добраться до того места, где лежал рюкзак и стоял котелок со скромным уловом. Витя растянулся на земле, а голову положил на рюкзак. Они уселись рядом, решительные и настороженные, готовые во всем ему помочь. Но Витя ни о чем их не просил. Он лежал молча, и смотрел в небо, и терпел нарастающую боль.

По пустой долине кружил старик. Он завершал очередной круг. Увидев, что мальчики собрались вместе у рюкзака, он решил сократить путь к конечной точке круга, в котором, по существу, каждая точка давно была конечной, а направился к берегу.

— Что здесь случилось? — спросил он, наклоняясь над Витей.

— Упал, — проговорил мальчик.

— Что ж, — сказал старик. — Плохо. Но упал так упал.

«Крестьянские дети и не так падают, — подумал он про себя, — например, в свое время я. И ничего».

Но что-то насторожило старика в лице мальчика. Лицо было бескровным, а губы совсем белые.

Старик понял: Вите плохо. Старик знал: ни один из его мальчиков не стал бы притворяться или рассчитывать на чью-то помощь, если есть еще собственные силы. Никто не стал бы пребывать и в полной растерянности, что ничуть не лучше притворства, разве что честней. Нет, они были другими — и проще и практичнее. «Со старшим действительно что-то случилось», — заключил старик.

В это время Витя открыл глаза. Ребята наклонились к нему. Они поняли: ему хотелось пить.

Вите показалось, что его слова услышал Олег. Олег как будто побежал к холодному ключу, но почти сразу же оказался рядом — уже с водой. Так Витя понял, что он теряет сознание.

— Я не смогу идти к автобусу, — обратился Витя к старику. — Я не поднимусь.

Старик посмотрел в его серые глаза и увидел в них страдание. Он ощутил вдруг забытую молодую боль сердца и задохнулся от неожиданности. Его перевернувшееся сердце помогло ему, видимо, сделать открытие: время уходит!

Он даже не знал, как был прав.

— Оставайтесь здесь, — сказал он Олегу и Вадиму, и никуда от него не уходите. Я иду на дорогу ловить машину.

К Вите он обратился отдельно. Он сказал вечные, как боль, слова: «Терпи, надо терпеть». И пошел по траве и кочкам, через долину, к шоссе, где гремели машины.

Остановить машину ему с ходу не удалось. Он стал нервничать. Ощутив однажды тревогу, старик уже не мог от нее избавиться. Он вертел головой и постоянно поглядывал в сторону долины, где на вялой траве лежал Витя.

Он возбужденно размахивал руками, но машины проносились мимо. Грузовиков почти не было: было воскресенье. А легковые не останавливались. Старика поразило совершенно конкретное обстоятельство: уже в трех «Жигулях» сидело по одному человеку, но машины не останавливались.

— Я бы дал пять рублей! — закричал он однажды что было силы. — Почему не останавливаетесь?!

Старик отжил свое до наступления нынешнего уровня благосостояния отдельных людей. Он не понимал этих людей. А они, выходит, не понимали его.

Расчет у старика был в общем-то на автобус. Поэтому, когда на дороге появился наконец автобус, старик решил, что дело в шляпе. Автобус действительно остановился, но водитель, выслушав старика, сказал:

— Я не смогу туда проехать.

— А мы принесем мальчика сюда, — нашелся ста-

рик.— Мы принесем его к автобусу. Там еще два моих внука.

— Останови что-нибудь поменьше,— посоветовали два пассажира,— автобус идет по графику.

Водитель сказал, что пассажиры, конечно, правы. Люди опаздывают, а людей надо уважать.

— А мои внуки и я не люди?— заупрямился старик.—Может, не люди?

— Люди, конечно,— ответил водитель.— Но пойми меня правильно: у меня пассажиры. Каждый торопится по делам, служба есть служба.

— Сегодня воскресенье,— не сдавался старик.—Какая служба?

— Давай-ка закрывай дверь,— сказали те двое.— Хватит разговоров!

Водитель с облегчением посмотрел на старика: пассажиры есть пассажиры — и с силой закрыл дверцу. Разговор, с точки зрения старика возможный только во сне, оборвался. Автобус рванул с места и вскоре скрылся из виду. «И этот человек,— подумал старик о водителе,— сказал мне ясно: людей надо уважать!»

Мало хорошего, если хорошими словами заменят хорошие поступки и останутся в мире только хорошие слова. Но старик тут же забыл обо всех словах — он помнил о мальчике. Он вдруг понял, что долг, который он должен был выполнить перед ним, он не выполнит. Вот он поднимает руку, голосует, а сделать ничего не может. Вывезти мальчика из долины он не может. Дело это ему не под силу. А какие у него еще дела остались в жизни? Никаких. Ему стало трудно дышать. Он почувствовал, что теряет силы. «Как же так?— цеплялся он за ускользающие мысли. В чем тут дело? Каких людей мне надо уважать? Тех, что едут мимо меня на машинах? Или тех, что уехали в автобусе? Может, я уже выжил из ума и чего-то не понимаю главного? Всю жизнь я работал,— с горечью подумал старик,—и считал, что это для меня главное дело, моя колхозная работа, потому что работал я ради других, ради всех, а теперь никто не хочет остановиться ради меня одного, никто не хочет помочь, хотя в этом нет ничего трудного. Мне говорили, что я хорошо выполнял свой долг, так и сказали, когда провожали на пенсию,— подумал старик.— Конечно! Я никогда не раз-

гибал своей спины. Но что мне делать с последним долгом? Как мне помочь ребенку? Тут спина не поможет — хоть согни ее в три погибели».

Горы, долина, река и он, старик, оказались вдруг по одну сторону жизни, а реактивные самолеты над головой и несущиеся по широкой асфальтовой дороге разноцветные автомашины — по другую. Два разных мира даже не соприкасались друг с другом. Они не нуждались друг в друге, а между ними, на узкой полосе под высоким небом, находился мальчик, принадлежащий и одному и другому миру одновременно!

Собрав силы, старик все же переборол слабость. Он снова шагнул на дорогу и вознес над головой тяжелую, неуклюжую руку, пытаясь, несмотря ни на что, установить контакт между миром своей старости, долины, реки и гор и миром скоростным конца XX века.

В долине тем временем родилась дублирующая программа действий. Мальчики поняли: ждать опасно. Витя страдал от боли. Ему становилось хуже. Чего ждать? Мальчики знали: в таких случаях надо действовать. Это знают, конечно, все. Но действует, как правило, лишь малый процент от ста процентов знающих. Мальчики входили в малый, решающий процент. Они вступали в жизнь деятельными людьми. Тот же старик — их дед Евстафий Терентьевич Чайкин — незаметно приучал их к поступкам и действиям и начинал с самого малого: умения поддержать костер, перетерпеть жажду, помочь тому, у кого ноша тяжелее твоей, поровну распределить на всех еду в дороге. Братья (Витя и Вадим Добреля — родные, Олег Шуриков — двоюродный) и дома проходили школу ответственности. Пока простейшую — за свою комнату, за порядок во всем доме и даже дворе. Но теперь им предстояло познать другую ответственность: за человека.

Они решили как мужчины: идти на дорогу. Немедленно. Старик сказал, что идти нельзя. Что ж, наверное, он прав. Но они решили идти.

— Я знаю, как остановить машину,— сказал Олег.— Мы пошли. Мы ляжем на дорогу.

— Идите,— проговорил Витя,— я буду ждать.

Цена простого решения была в этот момент невелика, а через час она уже равнялась цене человеческой жизни. До асфальта они добрались быстро. Они выш-

ли на дорогу на 200 метров левее того места, где голосовал старик. Они не успели освоиться с дорогой: рядом с ними затормозила огромная гремящая «Колхида». Из высокой кабины высунулся шумный, как и его машина, водитель:

— Надо ехать?

Ребята заговорили, перебивая друг друга.

— Говорите кто-нибудь один, — сказал водитель. — Говори ты, — кивнул он Олегу.

— Вите плохо, — сказал Олег. — Он упал с обрыва.

— Кто такой Витя? Где он? — спросил водитель.

— Он лежит в долине, здесь недалеко, — проговорил Олег.

— Его нужно нести?

— Нет, — сказал Вадим.

— Да, — сказал Олег, — он идти не может.

— Вы здесь одни? — спросил водитель, открывая высокую тяжелую дверцу.

— На дороге дедушка, — сказал Олег. — Он тоже останавливает машину. Вон он, впереди.

— Пошли, — сказал водитель и спрыгнул с подножки на землю.

Через несколько минут Витя был уже на его руках. Руки были мощными, как рычаги. Витя почувствовал эти рычаги. Водитель устроил мальчика поудобней, завел машину, а Олегу и Вадиму сказал, что взять с собой их не сможет. Витя ведь мог в кабине только лежать. Они и не надеялись, сказали они. «Мы уедем с дедушкой, — сказали они, — нам не срочно». Вите водитель сказал привычное: «Терпи», — а рядом со стариком он притормозил и прокричал: «Я его отвезу в больницу!»

— Отвези, — проговорил охрипшим голосом старик, наблюдавший из своего мира за действиями водителя, — отвези, сынок.

«Колхида» направилась в Талды-Курган, а старик пошел по обочине дороги навстречу мальчикам, которые шли навстречу ему.

Подлинное значение имеют в общем-то не те десять машин, что проезжают мимо, а та одна, что останавливается всегда...

* * *

Здесь автор прерывает свой рассказ и предлагает вниманию читателей первое небольшое отступление. Отступление о милосердии.

Хорошо понимая, что слово это сегодня полузабыто, я буду говорить о самом понятии милосердия, как его себе представляю.

Мне нередко приходилось писать о событиях драматических, сложных, в которых люди проявляли себя поразному, каждый в меру своей человеческой сущности. Размышляя об отзывчивости людей, готовности помочь и о природе милосердия, я неизбежно приходил к выводу: милосердие в его глубинном значении не может быть исключительной, единственной чертой человека. Не может! Милосердие «выплавляется» из других человеческих свойств, оно не существует само по себе. Милосердие — это сумма качеств, таких, как доброта, благородство, решимость, наконец, воля. Да, воля! Без этих составляющих нет и не может быть подлинного милосердия. Есть только сострадание — размытое и красивое, грустное и беспомощное. Размышления привели меня к убеждению: в наш энергичный век милосердие — это прежде всего действие. Действие, направленное на спасение того, кто попал в беду. Вот почему я говорю о милосердии как об олицетворении лучшего, что есть в человеке и должно быть всегда.

Пусть милосердие поселится в сердце каждого. Беда за долгую жизнь человека выпадает хотя бы один раз, но тоже каждому.

* * *

Он вел «Колхиду» на большой скорости и, вероятно, редко отвлекался от дороги. С мальчиком он говорил о самом необходимом. «Можешь терпеть боль при такой тряске?» — спрашивал Он. Мальчик кусал белые губы и говорил: «Могу», — и даже на мостах машина не сбавляла скорости. (Местоимение «Он» пишется здесь с большой буквы, так как имя водителя, участвовавшего в этой истории, выяснить не удалось.)

Витя терпел боль и чувствовал надежность этого человека. Он был рад, что они вместе.

«Колхида» шла, как танк. Неровности дороги уже почти не ощущались.

Может быть, Он был отцом большой семьи и у него были дети. Может быть, кто-то ждал его в Панфилове, а Он в это время гнал машину в Талды-Курган. А может быть, Он был одиноким человеком, и никто и нигде его не ждал.

Иногда мальчик не выдерживал: «Скоро?» И Он отвечал ему честно: «Не очень. Но я стараюсь». И после каждого вопроса Он увеличивал скорость.

Мимо них проносились высокие стены тополей, возведенные талдыкурганцами по всему краю, а за тополями кружились черные поля, и предгорья, и холмы, и опять стены тополей, и холмы — земля старика и его детства, детства его братьев, и, может быть, и его, водителя, детства. Даже не может быть, а наверняка, ибо у всех одни и те же холмы детства, и одна и та же река, и поля, и одно беспредельное небо дня и ночи. Только кажется, что все это лежит в разных местах земли, а на самом деле нет. И никому не дано забыть этих холмов, плавных, как бока сладкой груши, и речку, и поля, и совершенно особую жизнь, когда и само время было еще молодо и не текло, как теперь, в одну сторону, а только подрагивало на месте незаметно, как солнечный зайчик.

— Скоро? — спросил мальчик однажды тревожно и громко, пережив острую память удара о глиняные ребра обмелевшей реки.

Но было по-прежнему не очень скоро.

Наверняка водитель переживал его боль, как свою. И наверняка Он боялся опоздать. Но они оба терпели и боролись: мальчик — со своей болью, Он — с его болью и сильной тревогой. Никто не знал, что происходило в гремящей по воскресному шоссе машине. Никто не знает о тысяче подобных историй. Лишь немногие борются, страдают или гибнут у всех на виду. Большинство людей преодолевают боль и испытания незаметно, один на один, в тайге, в пустыне, в больничной палате, в кабине автомашины, в тесноте подводной лодки, в горящем самолете над океаном. Но эта невидимая миру борьба, это великое, непрерывное, миллионократное преодоление боли и преград есть суть того, что от века в век укрепляет весь человеческий род.

Он перевел гремящую «скорую помощь» к двойной осевой линии и влетел на улицы города.

— Держись, я тебя прошу,— сказал Он мальчику почти победно.

И мальчик ответил:

— Ох, держусь.

Водитель оказался не местным. Больницу им показали люди. Пропыленная, загнанная «Колхида» взревела в последний раз и замерла, качнувшись, у больничного корпуса. Он быстро распахнул дверцу кабины, взял мальчика на руки-рычаги, еще более отяжелевшие от гонки, и пошел к входу. Водитель шел по земле и, наверное, думал только об одном: чтобы теперь мальчика коснулись уже другие руки, руки врача, а его руки сделали свое дело и большего сделать не могли, но было важно, чтобы сделанное ими не оборвалось и не кончилось, а было подхвачено и продолжено, чтобы другие руки удержали горячую тонкую нить жизни.

И Он увидел, как перед ним и мальчиком открываются двери...

* * *

Автор вновь прерывает рассказ и предлагает читателю второе отступление. Отступление о готовности.

Когда человек читает о чрезвычайных происшествиях подряд, допустим, в книге, где события следуют одно за другим и плотно сжаты, может возникнуть ощущение, что драмы в человеческой жизни фатально неизбежны. Это, конечно, не так. Однако неправомерность подобного ощущения не должна порождать иную крайность: сонную, благодушную леность, когда кажется, что в мире ничего не происходит, а человек живет под прочной, теплой, сверкающей на солнце оранжерейной крышей.

Обе крайности вредны. Мир сложен и труден и полон драматических столкновений. И если сегодня за твоим окном красивый спокойный парк, а в кармане билеты в цирк, а завтра увлекательная работа, а вечером футбол, а потом именины друга, а затем беззаботные суббота и воскресенье, если ты сыт, и ухожен и счастлив, нельзя начисто забывать, что все это может быть сметено в один миг, а тебе нечего будет противопоставить событию, потому что ты не готов к испытанию, ты не готов

отстоять и защитить не только того, кому это особенно необходимо, но и себя. Ты можешь бросить на произвол судьбы вспыхнувший от случайной искры хлеб, ты можешь в полной растерянности наблюдать за тонущим и не прийти ему на помощь. Я не знаю также, сможет ли такой человек дать без колебания кровь другому, погибающему от ран. Не знаю. И дело здесь, подчеркиваю, не в том, что человек этот плох, труслив или жесток. Нет, человек просто не готов к действиям, в нем нет чувства готовности, оно атрофировано или не воспитано.

Мы живем мирной, нормальной жизнью. Но, приобретая и вырабатывая те или иные нравственные качества, присущие мирной жизни, мы не должны терять чувства готовности к испытаниям. Готовности прийти на помощь кому бы то ни было. Готовности помочь человеку, людям и, наконец, Отчизне. Готовности, в основе которой лежат сила, благородство, патриотизм и смелость. И чувства долга.

Искать объяснение этому высокому качеству души следует, видимо, в каждодневных проявлениях характера, в незаметных на первый взгляд поступках, в неброских ситуациях. Поведение людей в событиях моделируется рядовым течением жизни. Жизнь предопределяет готовность человека к действию в случае большого ЧП или ЧП малого. (Нравственные критерии Готовности так высоки и едины, что не зависят от масштабов происшествия.) Но жизнь — это мы, люди. И истинная готовность должна воспитываться нами, людьми. В совершенном, законченном виде она к человеку не приходит, как бы он ни пожелал этого в трудный миг...

Пусть готовность не покидает человека никогда! Пусть она не понадобится ему самому, но кому-то другому она понадобится однажды наверняка.

* * *

Оперировал Ерсаин Садыков. Недавно молодой хирург вообще ничего не знал о Вите, этом хрупком мальчике, ученике школы имени Чокана Валиханова. Теперь он знал о нем уже слишком много. Он знал: мальчик серьезно пострадал при падении. Он знал: у мальчика обильное внутреннее кровотечение. Он вско-

ре знал: предстоит сложная операция. А главное решение хирургу предстояло принять в ходе самой операции. Никто не мог его принять, а он мог и даже был обязан. Он знал: след его решения проляжет через всю будущую жизнь мальчика. Но сейчас под угрозой было и само это будущее.

Садыков находился в больнице в качестве ответственного хирурга впервые. Но не поэтому он обратился за помощью и советом к самому опытному, самому признанному доктору — Софье Абдрахмановне Абубакировой. Он обратился к ней ради мальчика: он должен был трижды убедиться в своей трудной правоте.

Абубакирова сразу же приехала в больницу. Познакомившись с результатами обследований, она сказала: «Прав».

В одной из комнат больницы сидели мать мальчика Нина Евстафьевна (дочь старика) и отчим мальчика, вернее, отец — Геннадий Дмитриевич. Их разыскали срочно. Мать сидела онемев. Она, мать, подписала страшную бумагу: на операцию сына согласна. Что она могла еще сделать? Не соглашаться, может быть, все обойдется? Нет. Перед ней стоял хирург, а он уже наверняка знал, что произошло с ее сыном при падении. Он объяснил ей это тактично и внешне спокойно, и она хоть и не сразу, но поняла, что объяснения хирурга относятся к ней, что речь идет о ее сыне, ее ребенке, Вите. Она превозмогла ненормальность реальности и, выйдя из оцепенения, сказала: «Конечно, давайте подпишу».

Теперь она сидела словно неживая. Комната была безликой, как и все комнаты рядом с операционными, куда человек попадает в горькой поспешности несчастья, и смотрела на серый линолеум пола, недавно протертый, влажный.

Перед операцией она обратилась к молодому хирургу с единственной просьбой: дать ей самой разложить на столе простыню для сына. И Садыков разрешил. Она разгладила белое полотно на узком твердом столе и обняла Витю, неспособная оторваться, и Садыков сказал себе трудные слова: «Я поступил жестоко».

Она ждала конца операции.

Один хирург в таких случаях всегда оперирует двоих: самого ребенка и его мать.

Отец передвигал на коленях налитые кисти рук. Он не знал, что с ними сделать: руки привыкли к огромной баранке полярных вездеходов, на которых он еще совсем недавно ездил в Мирном, получая за свою трудную работу не только хорошие деньги, но почетные знаки на грудь.

То, что он делал в Мирном, нравилось не только ему, но и Вите. Полярный вездеход вообще не может не нравиться мальчишкам, не раз думал он. Вездеход будто создан для мальчишек. Он будоражит их души и тянет к жизни взрослых. Да на вездеход и взрослый иногда посмотрит, думал он, и ощутит в себе новые силы, особенно когда увидит, как вездеход идет через буран, с зелеными и красными огнями, белым светом больших фар, с таким ревом, будто реактивный самолет разгоняется перед взлетом. Эх, вездеход...

«Как же тебя это угораздило? — вздыхал Геннадий Дмитриевич.— Как ты сорвался?» Он вспомнил, что сказал им Олег, прибежав с речки: «Витя меня оттолкнул, а сам полетел вниз».

«Если он спас Олега, — размышлял отец, — значит, виновато не просто баловство. Об этом нельзя даже вскользь говорить. Выделять нужно главное: поступок Вити, его порыв. Я буду только об этом ему говорить и ни о чем другом».

Быстрей бы закончилось это ожидание!

За окном шумели облетающие тополя.

Они сидели молча.

Мальчику провели внутривенную урографию, и трудное решение было принято. Ход операции подтверждал: это единственный выход.

Мальчик не знал, что происходило вокруг него в реальном мире, в мире взрослых. Он находился под наркозом, в глубоком забытье. Мальчику не было известно, с чем он вернется в мир и каким будет мир и он сам в этом мире. Ему не было также известно, чем он будет обязан Садыкову. Каким вниманием и заботой окружат его здесь, в больнице, в долгие трудные семьдесят дней и ночей. Не было известно многое. До полного выздоровления мальчика Садыков, нянечки и родители, например, оберегали его от правды о характере операции. Но однажды в палату войдет строгая женщина-врач и, знакомя светило из другого города с

больными детьми, произнесет у кровати мальчика техническим голосом:

— Этому мальчику мы отняли почку — была повреждена необратимо.

— Что же вы мне говорили про аппендицит? — спросит потрясенный мальчик Садыкова. И Садыков будет долго и убедительно отвечать.

Садыков ведь знал: для человека по своим последствиям потеря веры равна потере крови. Но он знал: его пациент, как и другие «летчики» и «хоккеисты» с переломами, среди которых еще не было подписчиков и бдительных читателей журнала «Здоровье», верил в немедленное выздоровление. Они нечасто заглядывали в далекое будущее. В силу настроения и веры ребенок, как правило, поправлялся после операции намного быстрее взрослого. Хирург, конечно, знал и объяснение: опыт жизни еще не покушался на веру ребенка в безусловное счастье человеческого существования. И Садыков будет опускаться на краешек кровати мальчика и будет, как и мать, повторять: «Ты будешь жить, как и все. Только тебе придется поберечься. Природа дублирует в человеке почти все — только сердце одно. А сердце у тебя хорошее и доброе. Это — главное».

Хирург будет присутствовать при многих последующих перевязках и будет ему говорить: «Ты должен вырасти здоровым парнем, хорошим человеком. Ясно? Так и будет. Я знаю это точно». Важно, не торопясь, подчеркивал Садыков, чтобы и ты поверил в это. Ты хорошо начал жизнь, проявил себя достойно. Боль ты терпеть тоже научился — не каждый так может, — видишь, в палате ты уже для многих пример... Но главное, что приходится постигать и чего никогда нельзя забывать, — это то, что ты на земле не один. Ты зависишь от людей, а они зависят от тебя. Знать это, конечно, знают все, а понимают, что из этого следует, не все. Такие, брат, дела. Ясно? «Ясно, — будет отвечать Витя. — Ясно». На дороге в тот день было таких полно и в автобусе и в «Жигулях». Да, с огорчением будет соглашаться Садыков. Пример правильный. «Но попробуй такого затронь, призови к совести, — про себя будет думать Садыков, — все законы вспомнит, до хрипоты будет убеждать, что никому ничего не должен и тормозить перед каждым не должен. Не должен — и

будет в общем-то прав. А остальные ему должны — и машиной обеспечить, и квартирой, и лечением, и всеми услугами. А он не должен!»

Мальчик верил всему, что говорил Садыков.

Он верил и ждал Ерсаина всегда, и хирург приходил: надежный, собранный и молодой, шел к Вите, приходил ко всем своим шумным и славным ребятам, которых надо было вытягивать из беды.

Однажды Садыков остановится у окна и, глядя на тополя, прочитает стихи:

Земля — это круг,
перечеркнутый тонким крестом
(ты — самое спелое яблоко
под зеленым листом).
Четыре дуги
в центр глядят с четырех сторон.
Тебя сносит к центру,
И ты прерываешь сон...

— Хороший стих, — проговорит Витя. — Непонятный.

Садыков рассмеется.

«Космонавты» с загипсованными руками и ногами засмеются тоже.

— Еще! — скажет Витя.

Садыков опустит руку в карман белоснежного халата и, склонив голову к правому плечу, прочитает:

Я тысячи копий с седла метнул,
Я тысячи стрел в тела окунул,
Одну, визжащую, как ответ
Стрелу мою
С силой в меня вернул
Нежданный ветер.

Садыков в позе чтеца был очень похож на поэта. Ребята это чувствовали, и, хотя, например, Витя ни разу не видел живого поэта рядом, он скажет Садыкову, что тот похож на поэта.

Хирург всегда читал стихи своего друга поэта Олжаса Сулейменова и был действительно похож на поэта — и не только в эти минуты.

— Это написано Сулейменовым, — скажет он ребятам. — В его честь я назвал своего сына Олжасом.

— Тебе нравится моя профессия? — спросит Садыков у Вити в другой раз. — Или есть лучше?

Витя ответит не сразу, а подумав, ответит:

— Конечно, хорошо делать людям хорошо.

Так они и установят контакт. И не будет ни одного обхода или просто дня, чтобы Садыков не заговорил с мальчиком о делах и стихах, о профессии и здоровье, о силе и крепости. И когда однажды Садыков не придет целых два дня, Витя просто не будет знать, куда девать себя. Вернувшегося после двух дней хирурга мальчик спросит с обидой:

— Где вы были, в отпуске?

— Нет, — ответит хирург. — Я улетал в Панфилов, на вызов к больному. Когда собирались лететь назад, испортилась погода. Мы и застряли. А ты держишься молодцом. Давай-ка посмотрим...

...Когда он придет в себя и уйдет уже из больницы, к нему придут и другие испытания, непохожие на физическую боль. Он впервые испытает на себе фатальную безответственность человека. Однажды корреспондент телеграфного агентства, не выходя из квартиры, сочинит информацию о Вите, и ее опубликуют даже московские газеты. В этой информации все будет неправдой, только фамилии Вити и Олега удержатся в своем виде. Витя не сможет соперничать с печатным словом, он не сможет каждому школьнику города сообщить принципиальное и самое важное обстоятельство: не виделся он с автором, не говорил ему ни одного слова, не приписывал себе несовершенных подвигов в ледяной реке с острыми камнями! Но и это испытание, как и мучительное испытание многочисленными последующими перевязками (ребенку вреден частый наркоз), будут уже потом, после глубокого забытья на операционном столе. Они придут к нему, как болезненный, но неизбежный опыт худшего в жизни.

А пока был операционный стол.

* * *

Садыков заканчивал работу. Услышал слова:

— Давление падает.

Через минуту ассистент подтвердила:

— Давление критическое.

Постоянное переливание консервированной крови, которое велось на протяжении всей операции, переста-

ло быть эффективным. Это сразу же поставило под угрозу жизнь мальчика. В такие минуты жизнь и смерть всегда подходят вплотную к операционному столу — ждут. Врачи ждать не могут. В распоряжении молодого хирурга не оставалось времени.

— Подтвердите давление,— сказал он ассистенту.

Угроза росла. Он врач, он знал: течение крови и времени нерасторжимо.

— Группа?— спросил он у Галины Хан.

— Первая.

Он врач, он знал: только свежая кровь — прямое переливание от донора мальчику — могла сейчас помочь спасти ребенка.

В операционной ни у кого первой группы крови не оказалось. Судьбе было угодно, чтобы она оказалась у него, у хирурга. Он врач, он знал, что делать. Он взглянул на мальчика, непрожитая жизнь которого еще не теряла надежды, и посмотрел на Абубакирову. Она сказала спокойно:

— Я закончу.

Он снял перчатки, марлю — «размылся», лег на параллельный стол и положил руку на подставку. В руках сестры мелькнула темная манжетка. Абубакирова взяла привычные инструменты и склонилась над мальчиком. Садыков еще раз подумал, как верно он поступил, обратившись за помощью к Софье Абдрахмановне. «Что бы сейчас было?— подумал он.— Кто бы сейчас меня подменил? Ведь воскресенье же!»

Через минуту началось прямое переливание крови — от хирурга к мальчику...

* * *

Автор предлагает читателю последнее отступление. Отступление о долге.

Однажды зимой с телевизионных экранов Омска прозвучало обращение врачей к зрителям: пострадавшему человеку срочно требовалась донорская кровь.

Люди сидели в теплых уютных квартирах, никто не знал о делах друг друга, никто не собирался, да и не мог контролировать человеческие поступки. Любой человек мог потом сказать: я не смотрел телевизор, я обращения не слышал. Но контролер все же у большин-

ства был. Высший нравственный контролер — собственная совесть. Но ведь и только! Да, и только. Но вот это «только», эта единственная избирательность и оказывалась главной в последующие минуты, когда человек начинал действовать. На трамваях, на автобусах, на такси (!) люди добирались до больницы. Дежурные медсестры выходили их встречать. За 30 минут в больницу приехало 320 человек. Пострадавший был спасен.

Я захотел встретиться хотя бы с некоторыми из этих людей. Я заходил в их дома, разговаривал, выясняя мотивы поступка, мучительно подыскивал слова и ощущал, как не хватает этих слов не только мне, но и самим донорам... Я до сих пор чувствую неловкость тех бесед, тех выяснений. Главное ведь было в ином. Главное заключалось и заключается в том, что люди эти действовали, исходя из своих привычных представлений о нравственном долге. У них не было других мотивов. Долг — их главный, их основной мотив. Поступок этих людей не яркая вспышка, а норма поведения, и выпытывать мотив действия, направленного на помощь человеку, попавшему в беду, было воистину нелепо.

Исследовать нужно в первую очередь нравственную атмосферу, обстановку, позволяющую воспитывать в людях подобное понимание чувства долга, подобную отзывчивость. Это действительно необходимо, ибо важно, чтобы проявление гуманных свойств человеческой души стало для каждого естественной потребностью. Для каждого!

С особой ясностью я помню лица моих давних собеседников в моменты, когда их поступок характеризовался как подвиг. Нет, эти люди хорошо знали, что подвиг — это одно, а выполнение нравственного долга — это другое. Журналисту это следовало знать тоже. Как и то, что каждый из этих людей, вообще каждый человек, способный преступить личное благополучие ради помощи другому человеку, способен и на гораздо большее. Именно такой человек не допустит столкновения, конфликта между личным интересом и интересом общественным.

Одно всегда берет начало в другом. Большое — в малом, великое — в большом.

А врач? Врач в этом смысле счастливое исключение: его нравственный долг многократно усилен долгом профессиональным...

* * *

Кровь шла хорошо и упруго. «Давление растет», — услышал Садыков голос сестры. «Хорошо, — подумал он, — так и должно быть». Он чувствовал, как сегодня устал, особенно за последние два часа операции, — начался даже шум в ушах. Словно издалека он услышал слова: «Стабилизируется». Потом услышал стук своего сердца, потом снова слова: «Нормальное». Потом: «Шов заканчиваем». Он проговорил спокойно и просто:

— Не прекращайте, пусть будет гарантия.

«Как будто проваливаюсь», — попытался он определить свое внезапное состояние, свою слабость. Открыл глаза и посмотрел на мальчика, к которому текла его кровь и который становился теперь и им самим, и пожелал ему вынести из этой простой и обычной драмы все самое лучшее, а самое трудное, он был уверен, Витя вынесет.

Потом потолок операционной вдруг стал легким и проплыл над ним, как белый лист бумаги, а за листом потолка потянулись листы стен, словно их вытягивал мягкий июньский ветер, и Ерсаин остался теперь один, в широкой безлюдной долине, под высоким и легким небом дня и ночи одновременно, где прямо перед собой увидел те чудесные холмы, плавные, как бока сладкой груши, и речку, и траву, которые так любил и чтил в свои собственные четырнадцать лет.

И он соскользнул в пустоту истощения.

Но дело было уже сделано.

РЕШЕНИЕ

Он проснулся за несколько секунд до телефонного звонка, который надолго изменил его жизнь. В комнате было темно и тихо. Услышав звонок, он включил свет, снял трубку и механически взглянул на часы — было четыре утра.

— Я, — ответил он.

— Авария иа 177-м,— доложил диспетчер.— Сильиый обвал.

— Люди? — спросил ои.

— Двое отрезаиы от штрека.

— Где машииа?

— Вышла,— сказал диспетчер,— скоро будет у вас.

Он ие стал уточнять обстоятельств аварии, положил трубку и быстро оделся. На улице стоял собачий холод. Когда их машииа выехала за город, тумаи с полей укрыл дорогу, и скорость пришлось сбавить. Он понимал досаду водителя, а водитель понимал нетерпеиие директора.

Оба молчали.

В свой кабииет Белоус вошел вовремя: горноспасатели уже были в шахте и передавали информацию о событиях — 70 метров кровли обрушеио, живы забойщики или иет, пока сказать иевозможио.

— Где оии работали? — спросил Белоус,— в каких уступах?

— В 12-м и 13-м.

Он выругался: самые верхние уступы.

— Кто из забойщиков?

— Шмаков и Марченко.

— Шмакова зиаю,— сказал ои,— Марченко — иет.

— Это иовичок,— сказал главный инженер, вызваиный иа шахту одиовремеиио с директором,— учеиик Шмакова.

Диспетчер передал: в момент обвала иа штреке был мастер участка Островский.

— Свяжите меия с Островским,— сказал директор.

— Он в вашей приемиой.

— Зовите мастера сюда,— кивиул Белоус главиому инжеиеру.

— Вы пытались обиаружить пострадавших? — спросил ои у вошедшего Островского.

— Да,— ответил тот.— Пытался. Вместе с забойщиками из нижних уступов мы подавали звуковые сигналы. На сигналы иикто ие ответил.

— Поиятио,— сказал Белоус и положил руки на аппараты связи.

В этот момеит зазвоиил телефон:

— Я все зиаю,— прогремела трубка,— жди, выезжаю.

— Едет «генерал», — сказал Белоус.

Почти одновременно диспетчер передал новое уточнение — длина обвала свыше ста метров, а спасатели сообщили: начинаем крепить в местах давления.

— Хорошо, — ответил Белоус. — Мы будем думать, как быть дальше. Штаб примет решение.

* * *

Генеральный директор объединения «Орджоникидзеуголь» Семченко — «генерал», ходил вдоль стены, как вдоль обвала и выслушивал предложения каждого. Белоус молчал. Заведомо неприемлемые варианты «генерал» отклонял с ходу — он вертел головой и говорил: «Дальше».

Однако два предложения были приняты единогласно. Первое: приступить к буро-взрывным работам. Второе: начать скоростное бурение с поверхности. Оба варианта были технически безупречны.

— Утверждаем? — спросил кто-то.

— Нет, — сказал «генерал». — Твое решение, Игорь, ты директор.

Белоус понимал, здесь, в его кабинете, собрались сейчас люди, отлично знающие горное дело. У многих за плечами были долгие годы шахтерской практики. Но специфику шахты «Полтавская», где прошел все ступени — мастер, начальник участка, главный инженер, наконец, ее директор, — по-настоящему знал только он один. «Они могут ошибаться, — подумал он, — а я — нет. Если я соглашусь с их вариантами и все кончится неудачно, это будет не их ошибка, а моя».

Даже теперь, в идеальном, казалось бы, случае, когда вокруг было столько руководителей самого разного ранга, причем с собственными, приемлемыми предложениями, он не собирался изменять своему принципу. Он был уверен: стремление человека избегать личной ответственности, сваливать ее с себя на другого — такой же порок, как лживость или воровство. Молодой директор посмотрел на «генерала» и сказал:

— Я категорически против взрывных работ. А бурение — лишь вариант для страховки.

— Объясни.

Белоус объясннл.

— Ваше предложеине! — сказал «генерал», переходя на вы.

— Скоростиая проходка узкого гезенка,— твердо ответнл Белоус.

— Сколько иа это нужно временн? — спроснл «геиерал».

— При обычиой проходке — двадцать однн суткн,— ответил днректор,— но...

— Сколько времени может продержаться под землей человек? — перебнл «генерал»,— без воды, без свежего воздуха н без пнщн — ведь обвал был в конце смены, у них не осталось еды.

— Это зависнт от разиых факторов,—ответнли врачн, к которым был обращен вопрос. — Но, вндимо, не больше 8 суток. Не больше. И то при условин влагн...

Зазвенела тншниа.

— Из чего же вы исходнте? — спроснл «генерал».

— Из того, что людн жнвы,— с нелепым вызовом ответнл Белоус.

— И мы исходнм из того же,— прогремел «генерал». — Не из чего другого!

— Скорость проходкн,— сказал Белоус,— следует пересмотреть.

— Что ж,— неожиданио спокойио проговорил «генерал»,— возможно, вы н правы. После осмотра завала — сюда. Ждем с окончательиым решением. А буренне,— распоряднлся он,— начннаем. Вызывайте нз Донецка людей, техннку.

* * *

Белоус, иаправляясь к клети, тоже отдал распоряженне: «Вызовите иа шахту самых лучших забойщиков,— сказал он. — Восемнадцать человек. Пусть соберутся в «иарядной» и ждут меия».

* * *

Картина, которую он увидел под землей, была иевероятной—это была подлнниая горная катастрофа. Шахта располагалась на южном крыле Центральиого геоло-

го-промышлеииого райоиа Донбасса, и способ управления горным давлением был здесь традициоииым — удержание иа «кострах». Участок № 177, иа котором произошло обрушеиие кровли, отрабатывал восточиое крыло пласта «Ремовский». И Белоус и любой другой специалист хорошо знали: пласт разрабатывается впервые, геологоразведочных данных о нем иедостаточно, предусмотреть некоторые геологические иарушения иевозможно. Тем более то, которое произошло: даже лучшая крепь, выполиенная без едииого отклонеиия от требований, ие смогла устоять — была смята. Эксперты определят это впоследствии так: «непрогнозируемое увеличение мощности пород непосредствеиной кровли...» — непрогнозируемое.

Белоус, главный инженер Русанцев и начальник участка Гарбуз стояли перед тысячетонным камеиным хаосом и вели инженерные расчеты. В угольном мраке, тяжелом и неприступном, стучали два человеческих сердца — люди ждали избавления и надеялись иа спасение.

Здесь Белоус и прииял окоичательное решеиие: предприиять прохождение узкого гезенка — 0,6 метра. Что обещала идея? Мииимальиое прохождение за смену — 2 метра. В сутки — 16 метров! 16 — вместо самого высокого результата — 6-ти. 16 метров — это те 8 суток, которые врачи отпустили Белоусу, а природа — человеку.

* * *

Шмаков запомиил момент раскола кровли, треск деревянных стоек и свой крик: «Володя, в нишу!» — но собствеиный прыжок в спасательное пространство ниши он ие помиил. Грохот обвала опрокинул его сознаиие, и способиость ощущать себя живым вернулась к иему лишь спустя несколько миниут, а может, и часов. Придя в себя, он стал выяснять судьбу Марчеико. Тот ответил. Убедились — живы.

— Экоиомь свет, — передал Шмаков ученику. — Ищи, где сочится вода.

Ему, Шмакову, было трудней, чем Марченко. Передать учеиику больше того, что ои передал, он ие мог. Опыт горияка, приобретенный им в шахте за время работы, оборачивался против него самым трагическим об-

разом. Опыт открывал мучнтельную картину нх гибели, обнажал положеиие, в котором оии оказалнсь. Шмаков хорошо зиал: чтобы к иим пробнлись люди, необходнмо, как мииимум 20 суток. А кто выдержит 20 суток в холодном камеиином кувшнне — без крошки еды, без воды? Кто? Это была та правда об нх положенни, которую он не мог передать ученику. Она результат опыта, сполна прниадлежащего лншь учнтелю.

Он повернулся лицом к холодной серой стеие. Затем осветнл всю «печь»: север, восток, юг и запад. Направлеиня былн одниаковы: севериый тупнк, восточный тупик, южиый тупик н западиый тупнк.

Четыре тупика света.

* * *

Марченко не сразу услышал снгналы своего учнтеля. Вначале это былн далекие глухие звукн, напоминающие стон ветра или падеине воды, н он даже не прислушнвался к ннм. Он был уверен, что это звуки землн, а ие сигналы человека. Тем более, ие голос.

Так же, как и к Шмакову, способность слышать вериулась к нему ие сразу. Он навериява тоже терял сознаиие. Теперь ои подвигал руками и ногамн, сделал иесколько более шнроких движеиий, иасколько это позволяла узкая, темиая спасительиая нниша, в которую он все же успел вскочить, и убедился — кости его целы, спииа тоже.

Придя в себя, он подумал: Шмаков должен был быть рядом — в соседней нише. Но «рядом» — это когда ты на поверхиостн. А здесь, под землей, это ие рядом. Тем более, когда все перевалеио породой. Он осмотрел вход в свою ннишу: вход был замуроваи. В тусклой сукровице света ои увидел, как на поверхиостн породы сверкают нскры слюды. Тут он н услышал далекне, как будто бы иеживые, ненужные звуки. Но прошло еще немало времеии, прежде чем он понял, что слышит снгиалы, обращеииые к нему. Геинадий Ивановнч Шмаков! Володя закричал, ио его голос остался в нише — так ему показалось. Он стал размереино стучать по породе: сильный удар — пауза, трн слабых удара — снльиый. В ответ он услышал глухой голос. Шмаков отвечал — его

слова были почти понятны. Он спрашивал, не покалечен ли Володя, советовал искать воду, поменьше двигаться.

— Наши голоса нам только кажутся слабыми, — подумал Володя, — нет акустики! Но друг друга-то мы хорошо слышим, радовался он. Я живой, прокричал он еще раз. Не покалечен!

Что их ждет — он не представлял. Высшим счастьем для него пока было только это: их двое. Они живы!

* * *

— Я бы мог вам сказать многое, — обратился Белоус к 18 горнякам, вызванным на шахту. — Но времени на митинг нет. Скажу только одно: вы лучшие забойщики «Полтавской». От ваших усилий зависит спасение Геннадия Шмакова и Володи Марченко. Они нас ждут. Они живы и нас ждут, — повторил он.

— Как будем работать? — спросил кто-то.

— По новому методу, — сказал Белоус. — И по новому графику. Восемь смен: по три часа каждая. Кто готов в первую?

Восемнадцать человек сказали: «Я».

— Нужны двое, — сказал директор.

* * *

«Генерал» не вмешивался в разговор. Однако перед окончательным утверждением решения спросил:

— Ты твердо уверен в том, что предлагаешь?

— Да, — ответил Белоус. — Уверен. Я уверен в нашем расчете и в наших людях.

— Приступай, — сказал Семченко.

За долгие годы «генерал» насмотрелся на многих руководителей: смелых и нерешительных, ускользающих и упорных, самоотверженных и трусливых, талантливых и бездарных, согласовывающих с высшим начальством все, вплоть до времени восхода и захода солнца. Насмотрелся! Но ценил теперь только это: внутреннюю решимость и несокрушимую уверенность руководителя в себе. «Это то, — говорил он, — без чего невозможно продвигаться вперед в любом деле. Все остальное без этого — благие намерения».

* * *

Работы начались без задержки. Темп был взят высочайший. Горячий отбойный молоток меняли на остывший и на это не уходило даже минуты, а лишь 10—15 секунд, грохот стоял пулеметный, словно на узком учебном полигоне в горной долине шли учения, и пыль кружилась в белом свете ламп, не оседая и не исчезая, как поднятая ветром сажа, осколки угля, время от времени пронизывали пыль болидами, и шланг, извиваясь между людьми, подавал свежий воздух, и негде было повернуться, пот разъедал и заливал глаза, но руки были заняты, кулаком не протрешь, а те капли, что скатывались к губам, тоже нельзя было вытереть и даже сдуть, потому что, смешанные с пылью, они образовывали грязную толстую кору и лицо превращалось в глиняную тяжелую маску, а на зубах уголь хрустел, как стекло, и к этому надо было привыкать и терпеть, мышцы рук и спины наливались чугунной тяжестью, и эта тяжесть, соединяясь с металлом отбойного механизма, переходила в него, давила на него и не давала передышки, как будто молоток был так же вынослив, как и человек, и так же упорен и устремлен, как человек, и когда молоток подводил и задыхался в беспрерывном сражении с твердью, его заменяли, но сами люди поступали иначе, они меняли друг друга лишь в точно установленное время — Вахненко сменял Ткачева, Губницкий — Орехова, Стрельник — Панарина, Жучков — Кошеля, Артеменко — Дробовича, и работа продолжалась из минуты в минуту, из часа в час, и часы все удлинялись, как вечерние тени, и становились неделимыми, измеряемые уже не минутами и секундами, а только усилиями. Начались драматические подземные гонки с каменными препятствиями.

* * *

Ситуацию взяли под постоянный контроль Енакиево, Донецк, Киев и Москва. Борьба за жизнь горняков контролировалась высокими партийными и государственными инстанциями. Но самым эмоциональным контролем был, как и следовало ожидать, контроль, установленный родственниками тех, кого спасали.

Белоус к этому был готов.

— Я знаю, — повторял он, обращаясь к плачущим женщинам, — Геннадий и Володя живы. Они живы, мы их спасем!

— Когда?!

— Когда, — я не знаю, — отвечал он. — Может быть сегодня. А может быть, через несколько дней. Но мы их спасем.

В кабинете стоял плач. Слезы женщин, которым не могут помочь мужчины, угнетали директора, но его слова и то, как он себя вел, были образцом уверенности. Внезапную поддержку он получил со стороны отца Володи Марченко — Михаила Акимовича Марченко. Бывший горный мастер, разумеется, хорошо представлял, какие трудности предстоит преодолеть, прежде чем удастся пробиться к его сыну и к Шмакову. Но и он принял тон и уверенность Белоуса. Он взял на себя роль главы двух семей сразу — и своей и Шмаковых. «Мы теперь вместе, — сказал он Антонине Николаевне и испуганным детям — Саше и Тане. — Они там вместе, а мы здесь».

Белоус распорядился прикрепить к их семьям людей, которые бы постоянно информировали о делах, помогали и поддерживали в это трудное время.

Секретарю комитета комсомола шахты Любе Стефановой директор сказал: «Люба, Володя Марченко комсомолец. Постарайтесь сделать так, чтобы его молодая жена и его родные почувствовали, какие у него друзья по организации».

— Все, что буду знать я, — заявил он родным Шмакова и Марченко, — будете знать и вы. Только не старайтесь знать больше меня. Не слушайте тех, кто паникует. Будьте со мной.

В разговорах с людьми Белоус не позволял себе игры. Однажды он работал в подчинении у человека, который славился умением ладить со всеми, для всех быть хорошим. Некрасивой женщине, пришедшей к нему по делу, он говорил: «Какая ты красивая», и на этом считал свои обязанности руководителя выполненными — о деле он уже не слушал. Человеку, который приходил к нему за шифером, он говорил: «Дорогой мой, шифер будет, ну, на днях. Как дела дома? Закуришь?» И тут же забывал о шифере и о самом человеке. Он даже не

интересовался — был ли шнфер или его ие было уже 10 лет. Это было неважно. Важно со всеми ладить, считал он, и в этом ему помогал его стнль.

Белоус ладнл нначе. Некраснвой он ннкогда ие говорил, что она красивая. Если не было шифера — ои ие юлил, а говорил, что шнфера нет. Если он ие мог помочь, он говорил: в этом я не могу помочь. А в этом — могу. И помогал — тут же. И людн ценнлн такой стнль, а не другой. Еслн он отвечал теперь за спасенне горняков, то отвечал сполна — открыто, уверенио и однозначно. И желал прн этом только одного, чтобы ему вернли, как он вернл в успех. Не больше, но и не меньше. Стнль «генерала»?

Как директор шахты, Белоус не нес должностной ответственностн за непрогнозируемые геологнческне сотрясення земли — от ннх пока инкто не застрахован. Но как человек, он не мог не пойти на помощь тем, кто нз-за этих сотрясенний оказался в беде. Протнв бездействия восстала бы прежде всего его человеческая сущность — человеческая, а не днректорская. Но он был еще и днректором. И как днректор, он ин в грош ие ставнл ответственность наполовнну, частичную ответственность руководителя — за эту часть я отвечаю, а за эту нет. Он счнтал своим долгом отвечать за все — сколько бы сил иа это ни потребовалось. Тем более в такой ситуацнн!

В их действнях опорой служнла решнмость, не угнетенная сомненнями.

Была н другая сторона дела: если бы отчаянная борьба, самые упорные старания не прнвели бы ии к чему и если бы, несмотря на все усилня, человек не успел бы кого-то выручнть — даже и в этом случае ои остался бы человеком, ему не в чем было себя упрекнуть, ибо он сделал все — в этом и состоит его высшая моральная ценность. Азбука? Но в век всеобщей грамотиостн азбуку забывают чаще всего.

* * *

В первые 24 часа было пройдено не 16, а 20 метров. 20! При той конечной цели, к которой они стремнлнсь, нн одно промежуточное достнженне не могло быть рекордом. Но это все же был выдающийся рекорд.

И Белоус, и Русанцев, и, конечно, «генерал» хорошо понимали: эти 20 метров — раз уж такой результат стал возможным — открывали новую перспективу.

В течение суток Белоус так и не сомкнул глаз. Теперь, поднявшись в свою директорскую, крохотную душевую, он стянул с себя спецовку, смыл черную сажу угля и сел на узкий, жесткий топчан.

— Так, — сказал он себе. — В первом уступе пусто. Но и надежда была невелика. А вот второй кое-что обещает. Ведь если обвал не был мгновенным, то Шмаков, как опытный шахтер, наверняка должен был успеть спуститься вместе с Марченко пониже — к нижним уступам. Может быть, так и было, — подумал Белоус, открывая третью за сутки пачку сигарет. Я ведь больше всего на это и надеюсь, признался он себе. Пока же необходимо лишь одно — изо всех сил пробиваться вперед.

Связавшись с «генералом», он сообщил: «Второй прошли, пусто. Воды нет».

— И наверху никаких новостей, — сказал «генерал». — Но бурят вовсю. Так что вперед!

Вот оно, это его «вперед», подумал Белоус. Даже не заметил, как и перенял. И положил трубку.

* * *

Горячий отбойный молоток меняли на остывший, и на это не уходило даже минуты, а лишь 10—15 секунд, грохот стоял пулеметный, словно на узком учебном полигоне в горной долине шли учения, и пыль кружилась в белом свете ламп, не оседая и не исчезая, как поднятая ветром сажа, и осколки угля, время от времени пронизывали пыль болидами, и шланг, извиваясь между людьми, подавал свежий воздух, и негде было повернуться, пот разъедал и заливал глаза, но руки были заняты, кулаком не протрешь, а те капли, что скатывались к губам, тоже нельзя было вытереть и даже сдуть, потому что, смешанные с пылью, они образовывали грязную толстую кору и лицо превращалось в глиняную маску, а на зубах уголь хрустел, как стекло, и к этому надо было привыкать и терпеть, мышцы рук и спины наливались чугунной тяжестью, и эта тяжесть, соединяясь с металлом отбойного механизма, переходила

в него, давила на него и не давала передышки, как будто молоток был так же вынослив, как и человек, и так же упорен и устремлен, как человек, и когда молоток подводил и задыхался в беспрерывном сражении с твердью, его заменяли, но сами люди поступали иначе, они меняли друг друга лишь в точно установленное время — Бертулиса сменял Ефременко, Хилюка — Голышев, Цымбалайтиса — Туз, Боровых — Зазулинский, и работа продолжалась из минуты в минуту, из часа в час, и часы все удлинялись, как вечерние тени, и становились неделимыми, измеряемые уже не минутами и секундами, а только усилиями.

* * *

Вторые сутки: 20 метров. За двое суток 40 метров. Воды не было. А ниши оказывались пустыми.

Однажды, смененный Русанцевым, Белоус словно бы провалился в глубокий, внезапный сон. Спал он не больше 10 минут. Но сон был прерван болезненным невыносимым ощущением: он страдал страданиями тех, кто находился под землей, в каменных норах.

Белоус открыл глаза — за окном горели огни шахты «Юнком», шумел ветер. Он поднялся с твердого топчана, закурил. Виденье не исчезало: обессилевшие, отчаявшиеся люди бились в темноте о безответный камень, молили о помощи и, теряя последние силы, угасали в судорогах.

— Прошли печь, — доложил мастер, — пусто.

Звонок снял наважденье, но болезненное ощущение осталось. Белоус прислушался к ветру. «Так человек и оказывается рядом с теми, кто страдает, — подумал он. — Я здесь и одновременно там. И так, видимо, каждый».

Он подошел к окну. «Никто не знает, на чем держится наша вера, — подумал он. — И мы этого сами не знаем. Но ведь мы верим — они живы. И спасения они ждут от нас — ни от кого другого. Эта вера, наверное, и не дает отчаянию разорвать человеческое сердце. Только вера — другой опоры у них нет». «А если бы ослабла наша вера? — подумал он. — Что бы тогда произошло? Кончились бы самые сильные силы. Люди остановились бы. К мертвым такой ценой не пробиваются. К ним добираются».

«На этом бы мы н закончилнсь, как люди, — заключил он. — Остались бы только иаши фамилии».

Натягнвая спецовку, ои вспомннл фнлософскую грубость «генерала»... «Мертвому все равно, — говорнл тот по какому-то поводу, — ему все равно, кто идет за его гробом, сколько людей о нем плачут н что там над его могнлой говорят — безразлично. Но ведь все мы идем за мертвым — все! И все говорим над его гробом только хорошее. Почему? Да потому что хотим, чтобы н нас хороннли по-человеческн, чтобы и о иас говорнли только хорошее и вспомннали только лучшее. Все дело в нас, в живых. Ясно? Вот и придумали обряд для самнх себя — для живых. И я в этом ннчего плохого не вижу, а внжу только хорошее. Пока я живу, я хочу быть уверен: со мной попрощаются так же. А мертвому рнтуал, как прнпарка».

Может быть, объясняя сущиость похороиного ритуала, «генерал» объяснял н другое? Может быть, все, что мы сейчас делаем для спасення забойщнков, — размышлял Белоус, — мы делаем н для себя? Спасая Шмакова и Марченко, мы спасаем и себя? Спасая каждого, мы спасем себя?

Да, человек должен твердо зиать: что бы с ним ни случилось — его спасут, ои должен твердо верить — к нему придут, его вытянут нз любого смертельного капкаиа. Но это ие иждивеические ожидания, ибо ои, человек, поступил бы точио так же, еслн бы не повезло другому. Возможно, в этой логике — высшая гарантня круговой порукн спасения? Две встречные, соединяющиеся силы — вера тех, кто идет иа выручку, и тех, кто ждет спасения, — есть осиовиая снла этой поруки?

* * *

Третьи суткн — новые 20 метров! Ниши пусты.

Сбоечные печи, которые были пробиты на 1-м, 2-м и 3-м уступах, показали: все завалеио большими глыбами породы. Однако спасательные ниши устояли всюду — это было самым обнадеживающим обстоятельством. Кроме того, в коице третьих суток забойщнки обнаружилн воду. Трещину дала осиовиая кровля и водоупорный горизонт был прорван. Два этих фактора — крепость спа-

сательных ниш и наличие воды — позволили Белоусу и Русаицеву сделать заявление:

— Наша уверенность в успехе перешла в самоуверениость.

«Генерал», надо полагать, принял необычную формулу с удовольствием, так как почувствовал в ней энергию, а не что иное.

* * *

Шмаков знал: каждое движение приближало его к смерти. Зная это, он передал Марченко: не делай никаких усилий, не двигайся, экономь силы. К иам идут...

Его мучила жажда: желудок, казалось, был набит колючими стружками. Но вот появилась вода — влага струилась по углю и по породе, скатывалась каплями, была ледяиой и безвкусной. Ои слизывал ее, потом стал напитывать ею тряпку — кусок рукава — потом выжимал ее в каску и вновь собирал капли.

Он пробовал жевать кору крепежной стойки. Кора была горчично-горькой, горечь вызывала в горле спазмы, его рвало. Ои снова отрывал кору и старался разжевать ее так, чтобы можно было глотнуть и подкрепиться. Кармаиы шахтерок были обысканы, но хлеба не было ни крошки. Шмаков стоически терпел холод и голод. Терпеть становилось все труднее, но он терпел. А вот правду о своем положении, которую ои зиал, он терпеть уже почти не мог. Было легче, когда сознание затягивалось отвратительным мокротным туманом. Тогда все исчезало: и стойки, и капли, и угольное сверкание, и сама жизнь во всех ее ускользающих смыслах. Когда он приходил в себя, он старался подать сигнал Володе. Тот все слабее и слабее отвечал.

Его сердце стало давать перебои. Когда ему казалось, что оно вот-вот остановится, он старался укрыться в беспамятстве. Это не всегда удавалось: его дети — Таня и Саша, появлялись перед ним, словно наяву, и он должен был отвечать на их слова. Слова ничего не значили, не запоминались. Он мучился и искал выход и находил его в надежде на то, что к ним идут. И уже как будто ничего не значило, что не успеют, главное — идут. Ои «запускал» свое сердце одной и той же

мыслью: если бы я был на воле, а не в ловушке, я бы разбился, но прорвался к тому, кто оказался бы в таком положении, как я и Марченко. Так и они — все наши друзья — наверняка они прорываются к нам! Я не могу себе представить, чтобы к нам не прорывался Губицкий или Орехов, или чтобы не прорывался Ефременко или Туз, Дробович или Ткачев. А другие? И каждый другой — они прорываются. Они не успеют, но они прорываются. И если не успеют ко мне — может, успеют к Володе — он молодой, покрепче.

Забытье становилось его обычным состоянием. Счет времени был окончательно потерян. Холод и сырость добрались до костей, воздух казался уксусом, а чувство голода ушло с последними силами, оставив бездонную пустоту.

— К нам идут, — передал он Володе последний сигнал, подумав о том, что стук отбойных молотков и рокот бурения — последняя галлюцинация его жизни.

* * *

Аккумулятор Марченко сел. Время остановилось: в темноте время не знало, куда идти. Марченко тоже пробовал есть сосновую кору стоек, но сколько бы он ни пытался проглотить — ничего не получалось.

Он старался бодриться. Он верил: раз Шмаков сообщает, что к ним идут, значит, к ним идут. Рано или поздно нас достанут из наших ниш, думал он, надо только дождаться этого часа.

Шмакова больше всего обессиливала мысль о реальных сроках проходки. Марченко же страдал от собственного бессилия. Для спасения ничего нельзя было предпринять — ровным счетом ничего. Они замурованы! Правда, сознание все же нашло выход: сделать можно многое — не допускать паники — первое, противостоять отчаянию — второе. Бороться без движений и физических усилий — вот в чем выход! Это, конечно, намного труднее, чем действовать, но выбирать не приходилось.

Он без конца повторял: главное, что мы живы. Все остальное — не главное. «Десантник, — обращался он к себе, вспоминая недавнюю армейскую службу, — десантник, крепись, это — учение».

Вскоре у него начались головные боли, желудочные судороги. Он стал все чаще терять сознание, проваливаться в пустую рвотную мглу. Но когда приходило прояснение, он старался заняться делом: он заготавливал кору, рвал ее на мелкие кусочки, смачивал собранной водой.

Однажды его осенило: на мне есть ремень! Он снял ремень, поделил его на несколько равных частей и первую стал жевать тут же. «Вот и подмога, — подумал он, — вот и выход...»

* * *

Четвертые сутки проходка рекордная, ниши пусты.

— Пусто, — повторял Белоус, — но, возможно, нас ждут уже в следующей нише.

Они неоднократно проверяли свои новые расчеты. Расчеты опирались на реальную проходку. Гезенк проходился с абсолютной точностью. Но инженерное тщеславие Белоуса, проскальзывающее иногда даже в его словах — люди решают многое, а расчет — все, было наказано самым жестоким образом.

В конце пятых суток выяснилось: цикл проходческих и крепежных работ резко нарушен — где-то допущена грубейшая ошибка. Возникла опасность нового завала, но теперь по всей длине их собственной проходки — усилия и надежды летели в пропасть!

Белоус и Русанцев бросились в шахту. Они не могли ошибиться — но ошибка была! Выяснилось: действительно была, но в другом. Белоусу пришлось навсегда усвоить: расчеты решают многое, а люди — все.

Предыдущая смена, в которой были Ракуцкий и Занченко, началась, как выяснилось, не с работы. Она началась с заявления Ракуцкого: «То, что мы делаем, — глупо. Мы пробиваемся к ним на тот свет». Занченко сопротивлялся недолго.

За всю смену они не ударили палец о палец. Но их ноги были заняты: слегка упираясь в рукоятку отбойного молотка — чтобы молоток гремел — они имитировали самоотверженную работу.

Невероятными усилиями цикл проходки был восстановлен. Обвала удалось избежать.

Белоус поднялся на-гора разъяренным. Ни одна нагрузка, никакое усилие не смогли бы его так надорвать, как подорвало предательство. Он был вне себя. Он связался по телефону с шахткомом и оглушительно закричал свое — кто? кто?! Кто!!! «Что же я так ору, — попытался он урезонить себя в следующее мгновение, — люди-то при чем?» — И потише объяснил: так, так и так. Прошу срочно собрать рабочее собрание. Да, независимо от ситуации — собрать всех, кроме тех, кто занят в гезенке.

В конце самого короткого рабочего собрания было вынесено единственное предложение:

— Если у Ракуцкого и Занченко есть хоть капля совести, пусть сами решат: оставаться им на «Полтавской» или исчезнуть и не позорить ни шахту, ни профессию.

* * *

Шестые сутки ниши пустые. Пустые. Крохотная пустота, равная безграничной пустоте.

18 забойщиков, еще недавно, до несчастья, работавшие в разных бригадах, составили сейчас самую спаянную, самую самоотверженную, самую выносливую бригаду. Никакая неожиданность не могла теперь отразиться на скорости проходки. Орехов поднялся наверх, смыл черную грязь, но через минуту узнал — заболел Губицкий. Орехов тут же натянул шахтерки и снова спустился в забой, не передохнув после собственной смены даже нескольких минут. (Досада, — зря мылся, не сэкономил мыло, на котором все жестче экономили снабженцы, урезая и урезая его нормы для шахтных бань.) Железным казался Ткачев — он трижды спускался в забой через одну смену! Железными казались все — каждый.

Все под землей повторялось в точности и в повторениях длилось, и каждое движение шести суток было похоже на другое движение, как правда похожа на правду, а гром на гром, а пот на пот, и как один человек похож на другого, когда их связывает только одно: борьба за чью-то жизнь.

Они меняли друг друга лишь в точно установленное время: Бершулиса сменял Ефременко, Хилюка — Го-

лышев, Цымбалайтиса — Туз, Боровых — Зозулинский, Вахненко — Ткачев, Губицкого — Орехов, Стрельника — Панарин, Жучкова — Кошель, Дробовича — Артеменко — и работа продолжалась из минуты в минуту, из часа в час, из суток в сутки, и сутки удлинялись, как вечерние тени, и становились неделимыми, измеряемые уже не минутами и часами, а только усилиями!

Небо было серым, как старая порода. В холодной утренней серости седьмого рассвета растворились тополя, близкая дорога и террикон шахты «Юнком» — мир, который открывался из окна «баньки» Белоуса.

Ни забойщики, ни директор, ни главный инженер не покидали шахты — здесь они урывками спали, здесь питались.

На рассвете седьмых суток прозвучал неизменный доклад:

— Сбились на 10-й уступ, спасательная печь стоит. Пусто.

Седьмое утро было похоже на шестое. Но люди вокруг стали меняться. «Что ж, — с решительностью говорил Белоус, — это естественно. Главное, чтобы не менялись мы. Нам меняться нельзя».

Телефон звонил беспрерывно. «Седьмые сутки, — говорил знакомый голос. — Седьмые сутки, а результата нет». «Да, — отвечал директор. — Пока безрезультатно». — «Поезжай в город. Покатайся на автобусах, послушай, что говорят люди. Город спрашивает: есть на шахте руководители или их нет? А если есть, то чем занимаются? Сколько можно?» — «У меня нет времени кататься на автобусах». «Может быть, все-таки изменим тактику?» — спрашивал другой звонивший. «Вот оно! — думал Белоус. — Вот когда важно устоять, не поддаться соблазну, не шарахаться из стороны в сторону. Самое главное — не ослабить прежних усилий». — «Нет, — отвечал он твердо. — Это нецелесообразно. Мы потеряем время. Бурение — это и есть параллельная тактика. Зачем третья?» — «Но и бурение ничего не дает! Хотя люди стараются и техника мощнейшая. А пользы нет!» — «Знаю», — говорил он, опускал трубку и поднимал снова.

— Игорь Никифорович! Мать и жена Марченко выехали на шахту. Удерживать больше их не было сил.

Через пять минут:

— Игорь Никифорович, дети и жена Шмакова узнали, что Марченко на шахте и тоже выехали к вам.

— А зачем там вы?! Кому мы поручили опекать людей? Успокаивать?

— Я тоже человек.

Интересно, думал директор, почему кризис в терпении наступает одновременно у всех? Как это происходит? Или достаточно одного примера, одного срыва, а дальше все катится, как снежный ком?

Он знал: в любой драматической операции неизбежны моменты, когда напряжение достигает предела. Знал: моральные силы тех, кто хоть как-то причастен к операции, подвергаются большим испытаниям. Момент этот нельзя упустить — им надо завладеть. Но решающее значение имеет моральный дух тех, кто прокладывает дорогу к гибнущим. Человек, замирающий в мертвой точке худшего из балансов — продолжать или не продолжать борьбу, — проигрывает ее задолго до окончания.

«Мы должны не идти, а проламываться вперед», — заявил Белоус.

«Генерал» тоже, конечно, предвидел наступление переломного периода. Заканчивая первый утренний разговор, он как бы между прочим заметил: «Колебания и вибрации опасны не только для самолетов. Они и наши первые враги».

На поверхность поднялся главный инженер. Он оставался подвижным, энергичным — молодость несокрушима, но глаза говорили о полном изможденин.

— Отдохни час, — сказал Белоус. — Я спущусь вниз.

* * *

В 1.20 ночи, на восьмые сутки, они услышали голос Володи Марченко. В 1.30 они проломили первую дыру — он был жив. Артеменко осветил его измученное неузнаваемое лицо, но тут же опустил свет. Оторвав рукав рубашки, он протянул его в дыру и прокричал: завяжи глаза! Они отвыкли от света! Что со Шмаковым?

— Он жив, — ответил Володя. — Он был жив. Он и меня заставлял жить, — смех Марченко был похож на

рыдания. Завязав глаза, он пытался помочь великим спасателям в их последних усилиях, но руки были чужими. Они не держали даже самих себя.

Марченко взгромоздили на плечи Ткачева, и тот осторожно спустился на штрек.

— Ну, Володя, — зашумели заждавшиеся врачи, — начнем с бульона. — И они увидели самое трогательное, что можно увидеть в жизни: попытку смертельно измученного человека улыбнуться.

Отбойный молоток загремел снова — до Шмакова оставалось еще 14 часов ходу...

— Соедините меня с Семченко! — сказал Белоус.

— Да, — ответил тут же «генерал», словно было не два часа, а сиял день.

— Марченко достали, — сказал Белоус. — Шмаков на очереди.

— Что значит «достали»? — загремел «генерал». — Живые они или их достали неживых?

— Живые! — встречно усилил голос Белоус, — ж-и-в-ы-е!

— Другое дело, — сдал «генерал». — Совсем другое дело, Игорь. Всех бы обнял, — добавил он невиданное для него слово — «обнял», и это, кстати, было впервые, в единственный, неповторимый раз, второго такого раза не было, так как прожил «генерал» после этой истории немного, он и теперь держался из последних сил, как только мог, а вскоре онкологический приговор привел сам себя в исполнение, и, когда Белоус вместе с другими нес его гроб, он, как и все, вспоминал этот случай, он вспоминал это слово — «обнял», но чаще всего любимое слово Фомича — «вперед», оно звучало в его голове даже на этой прощальной дороге, и он понимал, как это здесь неуместно — «вперед», но поделать ничего не мог — «вперед» было теперь и его словом.

* * *

Через 14 часов был спасен Геннадий Шмаков. Первыми его обняли Орехов, Вахненко и Бертулис. В последние два часа Шмаков отчетливо слышал грохот их приближения. Он встретил спасателей стоя — и даже на штрек уходил сам! Но это были его последние силы, силы, порожденные верой в друзей, в человека — боль-

ше в его организме силам не на что было опереться. На штреке он потерял сознание.

* * *

Когда они вышли наконец из больницы, когда вернулись к нормальной жизни, «генерал» сказал на своем прощальном митинге: «Могло это произойти в каком-нибудь другом месте? И произойти точно так?» Ответил: «Наверное, могло. Однако в нашей шахтерской профессии это не могло произойти иначе!»

* * *

Многие из них еще долго не могли ответить на личный непростой вопрос, долго не могли понять, что их, обычных забойщиков небольшой шахты, его, обычного директора шахты, которую даже в Донбассе знают немногие, сделало не прежними, иными, и какие изменения произошли в их сердцах. Ответ не приходил, но когда пришел, они поняли, что двое спасенных — это лишь первые двое, двое из тех, которых им, возможно, еще предстояло спасать, независимо от того, кем бы они стали и где бы ни были. Они познали труднейшую из миссий человека — драматическую миссию спасателя, не временную и необратимую, которая не просто жила в их крови, а стала их кровью и не вызревала, как раньше, лишь в момент ЧП, а оставалась наравне с их новой человеческой сущностью.

В этом они и стали иными.

ЧТО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ

Свидетели происшествий во все времена составляли большую часть человечества, участники — меньшую. В минуты, когда троллейбус с пассажирами сорвался с высокой плотины Ереванского водохранилища и с протяжным треском полетел в холодную мутную воду, народ уже заполнил бетонный склон перемычки и продолжал прибывать с нарастающей быстротой. Машины тормозили, сталкиваясь друг с другом, водители покида-

ли кабины и торопились к проломленному бордюру. Троллейбус между тем погружался в бурлящую воду. Вскоре на поверхности остались лишь ролики его штанг — вода сомкнулась над гигантской воронкой и поглотила обреченных людей.

Так началась эта драма.

Человек, которому суждено было сыграть в ней главную, выдающуюся роль, приближался к плотине водохранилища с северной стороны. Он заканчивал ежедневную 20-километровую пробежку и к тому времени, когда троллейбус ушел под воду, появился на высокой бетонной перемычке. То, что он оказался здесь в эти минуты — рекордсмен мира, тринадцатикратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР по скоростному подводному плаванию, — представляется, конечно, невероятным. Однако объяснять подобную случайность — зря терять время.

Чемпион оказался здесь. Все!

Но чтобы совершить то, что он совершил, он должен был быть не просто чемпионом. Нет! Он должен был быть человеком. Это — главное. Остальное — многомерные условности, кубики.

Чемпион был не один. Вместе с ним тренировались и другие спортсмены. Был рядом и родной младший брат Шаварша — Камо.

Чемпион первым оценил обстановку. Понял: авария. Подав знак Камо, он на ходу стал стягивать с себя мокрую от долгого бега одежду, сбросил тапочки. Камо последовал его примеру. Через несколько секунд братья уже были в холодной серой воде — плыли к едва заметным роликам штанг. Расстояние было небольшим: 25—28 метров.

В эти же минуты на дальнем участке дороги, ведущей к плотине и уже совершенно забитой транспортом, застряла еще одна, ничем не приметная машина. Увидев столпотворение и узнав, в чем дело, ее хозяин пешком заторопился к месту аварии. «Я словно почувствовал, — объяснит он потом, — что в том, что случилось, участвуют очень близкие мне люди. Я даже готов был допустить — они находятся в троллейбусе».

Таким образом, все, что происходило на водохранилище в дальнейшем, этот человек видел собственными глазами.

* * *

Первым доплыл до роликов Шаварш. Он ясно понимал: до начала основных спасательных работ — когда начнут подъем троллейбуса — никто лучше него не справится с тем, что можно и нужно сделать. Только он — он один — был способен нырнуть на необходимую глубину, сориентироваться под водой и предпринять хотя бы какие-то меры для спасения людей. Огромный гулкий мир — машины, люди, ветер и берег — исчез, словно его не было никогда.

Он нырнул.

Поразительно: на решение, ставшее в его жизни самым значительным, он затратил лишь доли секунды — в то время, как на несоизмеримо менее серьезные решения у него, как и у большинства людей, нередко уходили часы, дни, а то и недели. Здесь — миг.

Оглянувшись, он увидел: Камо рядом. «Держись на воде, — крикнул он, — жди спасателей».

Набрав воздуха, сгруппировавшись, он с шумом ушел под воду. Жизнь, сводя вместе погибающих и того, кто единственно реально мог им помочь, все-таки корректировала трагический абсурд, допущенный ею же самой.

Видимость была скверной. Местами — нулевой. Ил, поднятый со дна троллейбусом, еще не осел. Тем не менее Шаваршу удалось рассмотреть корпус, положение троллейбуса. Чемпион ухватился за штанги и, экономя дыхание, как это умел делать только он, подобрался к троллейбусу сзади. Знал: здесь стекло — самое широкое. Если его разбить — путь для спасения будет открыт. Он взялся за металлическую лесенку трапа, отвел тело назад и, преодолевая плотное сопротивление воды — глубина 8—9 метров, — ударил в стекло ногами. Стекло бесшумно раскололось. Дорога в подводный Содом была свободна: входи!

Шаварш вплыл в салон. В тяжелой мгле двигались темные, парализованные шоком тени. Сознание чемпиона не опрокинулось — он лишь почувствовал секундную слабость. Воздух в легких подходил к концу. Он ухватил ближайшую тень, развернулся и выбрался из салона. Оттолкнувшись мощнейшим толчком от крыши,

устремился вверх, к поверхности. Всплыв, увидел: спас женщину.

— Я разбил стекло, — прокричал он брату, передавая женщину. — Люди без сознания. Начну вытаскивать!

Две лодки спасателей и каноэ спортсменов уже приближались с двух сторон.

— Отправляйте спасенных на берег!

Трижды вдохнув, Шаварш сгруппировался и снова ушел под воду. Погружался, вытянув вперед могучие молодые руки, ускоряя погружение особыми движениями тела, которыми владел в совершенстве. Ощущал, подсознательно понимал: кроме физических усилий, необходимых для дальнейших действий, понадобятся и другие, не физические. Нужна была крепкая воля. «Ни на что не обращай внимания», — твердил он себе.

Промах! Вход оказался левее. Свернув, ухватился за раму, вплыл в салон. Снова прижал безвольную, близкую тень. Рама — крыша — мгла свободной воды.

На поверхности были перемены: рядом с Камо кружили лодки, некоторые гребцы и парни с лодок готовились нырять вслед за чемпионом. Увы, у тех, кто уже попытался, ничего не получилось. Кто-то начал расспрашивать, как сориентироваться под водой, как удержаться на глубине.

Первую женщину переправили на берег, ей делали искусственное дыхание. Вторую спасенную Камо подхватил из рук брата и устраивал в лодку.

— Кислород, акваланги есть? — прокричал Шаварш, обращаясь к спасателям с ближайшей лодки.

— Нет!

«Да» прозвучало бы чудом. «Нет» прозвучало привычно, как «здрасьте».

В третий раз Шаварш вышел на цель без малейшего отклонения. Не теряя ни мгновения, он прижал к себе тень, бьющуюся у потолка, и устремился к поверхности. Мужчина? Женщина? Даже не рассмотрел — передал Камо. Тот — в лодку спасателей.

«Ты в крови!» — услышал Шаварш. Понял: порезался о стекло. Что из того? Не бинтоваться же! Увидев подводную трагедию близко, в упор, он с абсолютной ясностью осознал: любое потерянное мгновение — это чья-то потерянная жизнь. Решил: все надо делать быстрее. Быстрее!

— Что на берегу? — спросил у Камо.

— Подгоняют тяжелые краны, связывают тросы.

«Краны — хорошо». И снова вдохнув раз, два, три, вдохнув особенно глубоко, словно желал вобрать в себя весь воздух, настоянный на осеннем запахе остывающих от лета камней, погрузился в безмолвный мир человеческих страданий. Корпус, салон, тени. Он прижал спасенного, рванулся вверх, работая мощными, неутомимыми ногами. Он спасал, прижимал к себе тех, кого ни разу нигде не видел, о ком не знал и не ведал. Чужих!

Чужих. Но кто из нас знает наверняка, с кем его столкнет жизнь завтра? С кем — через год? Или в следующую минуту? Кто? Такого человека нет. Знать это не дано никому. Но то, что в мире нет человека, который бы вырос сам по себе, — знать должен все-таки каждый. Нет человека, который бы поднялся, окреп без помощи другого. Каждого кто-то когда-то поддержал, в чем-то выручил, отстоял и защитил. Каждого! Неважно когда — в разноцветной пустоте младенчества или в пору зрелости. Все знают: человек — плод усилий других людей. Вся история человеческого созревания — это великая цепь однородных усилий, незримых зависимостей и высоких целей: удержать, сохранить, отстоять жизнь, не дать ей прерваться. Да, одни это понимают. Отсюда осознанный долг: поддержи другого. Другие выгадывают: на чьей бы спине и дальше? И дольше? И всегда?

Шаварш появился на поверхности, передал Камо спасенного. На берегу откачивали постарадавших, шла шумная подготовка к подъему троллейбуса — дело было необычным, требовало огромных усилий. Некоторые люди сбросили с себя одежду, плавали, кружили в грязной воде, встречали лодки, помогали переносить пострадавших на сушу. Машины «Скорой помощи», вызванные к месту аварии по рации, уже прибывали на плотину. Два огромных крана, смонтированных на шасси «КрАЗов», протискивались к площадке, откуда им предстояло действовать. Операцией руководила милиция. Шаварш между тем продолжал нырять. Теперь он так прижимал к себе людей, что сопротивление воды при подъеме было минимальным. Несмотря на усталость, седьмого, восьмого, девятого человека он поднимал на поверхность чуть ли не вдвое быстрее, чем тех,

кого спас первыми. Он подавил в себе все. Он словно бы превратился в самоотверженный автомат, сориентированный на абсолютную, единственную, неизменную цель: спасать. Не рассматривать, не чувствовать, не мудрствовать, не сомневаться, не страдать, не колебаться — всему свой миг, и свой час, и своя пора! Сейчас была пора спасать.

И он спасал.

Поднимаясь наверх с десятым пострадавшим, Шаварш вдруг почувствовал: в голове, перед глазами, словно бы взорвался фейерверк. Красные, зеленые и белые огни ослепили его. «Теряю сознание. Переохладился». Несомненно: 20 километров бега раскалили его организм. И сразу — холодная вода. И на долгое время. И при таких нагрузках. Стиснув зубы, он сильнее прижал к себе человека, на всю мощь «включил» ноги. Огни собрались в шар, шар сжался в шарик, переместился в затылок. «Пронесло?»

Камо принял из его рук человека, передал в лодку. Шаварш скользнул взглядом по лодкам, по берегу, усеянному людьми, далеким тонким тополям, торчащим из земли, как зеленые гвозди. Один из гребцов, помогавший Камо и спасателям переправлять людей на берег, прокричал: «Я уже дважды нырял — не могу найти троллейбус! И ребята ныряли! Объясни, как искать? Видимости никакой!»

Для объяснений времени не было.

* * *

Среди людей, стоящих на берегу, был тот, о котором упомянуто выше. Тот, который впоследствии сказал: «Я словно чувствовал, что в драме участвуют самые дорогие мне люди». Теперь он стоял у бетонного барьера — тяжелый, огромный, безмолвный мужчина, стоял безучастно и словно бы отрешенно, и только по огромным кулакам, мявшим свинцовую пустоту сентября, да по плотно сжатому рту можно было догадаться: сердце человека борется с невероятными нагрузками. То, что этот человек оказался на плотине в это же время — в огромном городе! — тоже, как и многое другое в этой истории, следует отнести к поразительным случайностям.

То, что он видел перед собой — отчаянные усилия Шаварша, самоотверженность Камо, — ему бы, конечно, хотелось отнести к области тяжелых сновидений, какие приходят к каждому, кто близко принимает жизнь. Однако то, что он видел, не было сновидением. Увы, это была драма наяву. Это была реальность. Он стоял на плотине, смотрел перед собой и видел работу своих сыновей — Шаварша и Камо. Да, это был их отец — Владимир Самсонович Карапетян.

Кто-то его отрезвил: ему не позволили броситься в воду на помощь сыновьям. «Утонете! Сколько вам лет?!» Он впервые услышал это — стар. Сколько лет? Да разве в этом его вина? Разве это вина человека, что время, не отпуская, волочит его к последним цифрам?

Он смотрел на сыновей и не знал, чем им помочь.

Мысли отца! Ни одна из них не имела, казалось бы, логики. Ни одна не продолжала другую и не начинала следующую. Калейдоскоп случайных, трогательных воспоминаний, фактов, историй, чаще всего связанных с детством сыновей. И все же даже самые случайные, самые незначительные воспоминания и ощущения, соединяясь в сердце и сознании отца, вели его к единому, определенному и завершающему день открытию: Шаварш, его Шаварш, и Камо, его Камо, — взрослые люди! То, чего он никак не желал признать до сегодняшнего дня, признал теперь, признал раз и навсегда. Они взрослые. Хрупкость стала силой, самообладение вызрело в необоримый дух, жажда справедливости — в благородство. Вот оно — открытие. И вот он, вопрос: когда же все это произошло? Когда сыновья превратились в тех, кем они стали?

Они — мужчины! Он смотрел перед собой. Как же стремительно летит жизнь!

* * *

Пока ревущие краны опускали свои длинные широкие стрелы параллельно склону перемычки, пока подгонялись тормозные колодки, Шаварш продолжал свою изнурительную работу. Его действия в данных условиях были вершиной возможного. Но он хорошо помнил установку своего замечательного тренера Липарита Алмасаняна: то, что ты уже сделал, ты мог бы сделать еще

лучше. Тренер, как правило, оказывался прав. Но как он мог делать лучше то, что он делал сейчас? Как?

В один из моментов кто-то из гребцов или, скорее всего, спасателей нырнул в воду, выплыл, не достигнув необходимой глубины и вместе с Камо стал кружить на том месте, где должен был всплыть Шаварш. Человек искренне — как, впрочем, и многие другие из тех, кто переправлял людей на берег, к врачам, — хотел помочь чемпиону, помочь Камо, и прежде всего пострадавшим. Хотел! Но вот когда Шаварш поднимался наверх с очередным — кажется, двенадцатым — спасенным, произошел случай, едва не закончившийся трагически. Примерно за метр до поверхности Шаварш вдруг почувствовал: в его плечи уперлись чьи-то ноги. Камо? Не может быть! Шаварш с трудом выскользнул из-под неожиданного пресса, но ноги судорожно нашли его. Он чуть не задохнулся, чуть было не выпустил из рук человека. С трудом справившись с препятствием, прорвавшись через блок, всплыв, увидел: горе-спасатель не мог продержаться на воде больше минуты. «В лодку, — закричал Шаварш, — в лодку! Не мешайте работать!» И, передав Камо спасенную женщину, в изнеможении поднял над головой руки.

Вот оно как обстояло дело: спасатели, помощники! Спасатель, едва умеющий плавать, портной, едва умеющий шить, механик, едва умеющий крутить отверткой... Полупрофессионализм, полумастерство, которые обессиливают жизнь даже в ее нормальном, привычном течении...

Тринадцатый спасенный.

Новые погружения.

Пятнадцатый...

Шестнадцатый...

Восемнадцатый человек...

С начала аварии прошло лишь несколько минут. Шаварш в это не мог поверить. Он знал одно: нырять. От него требовались безостановочные действия, беспрерывные усилия — ничего больше. Он нырял. А когда появлялся на поверхности, кровь все сильнее окрашивала воду.

Показатель его состояния: ворвался в салон, ухватив тень, прижал к себе, оттолкнулся от крыши, вынырнул на поверхность, обнаружил: в руках — разбухшее,

черное сиденье! От ярости потемнело в глазах: кому-то не хватит именно этих секунд!

Девятнадцатый спасенный... Чемпион нырял! Какими бы, однако, ни были его легкие, — это были легкие человека. Каким бы ни было сердце, — оно было человеческим. Предел запасов есть у всего. Ничто не бесконечно — возможно, даже время когда-нибудь исчерпает само себя. Ныряя в двадцать первый раз, он услышал слова Камо: «Меня зовут за тросами, их связали!» Он услышал. Воспаленные от напряжения и грязной воды глаза не видели — чувствовали. Тени-люди продолжали перемещаться во мгле. Последние силы жизни гнали их по пустым кругам шока, тени упирались в потолок, в боковые стекла, друг в друга, и когда к чемпиону прибился один из обреченных, сам, бессознательно, горько и инстинктивно прижался к груди, чемпион тоже дрогнул, и ослаб, и впервые ощутил себя не с ними, а одним из них.

Но силы все же вернулись к нему.

* * *

Отец будто окаменел. Стоял не двигаясь, не глядя по сторонам. Смотрел только на воду. Каждый раз, как только Шаварш уходил на глубину, он начинал счет секундам.

Чемпион! Отец знал цену всем его достижениям. Каждая его победа была победой каждого: и тренера, и отца, и матери, и братьев, и бабушки, и деда, и тех, кто стоял у истоков рода. Но в семье, в которой выросли три прекрасных, сильных спортсмена — Шаварш, Камо и Анатолий, в семье, в которой и сам отец был когда-то отличным спортсменом, сила не вызрела в самоцель, не стала культом. В семье всегда был культ работы, культ труда.

Любимый внуками дед Самсон, прошедший две войны, отличался великой верой в человека. Считал: в Армении каждая гора выше человека. А сильнее человека нет ни одной.

Драма продолжалась.

Был в жизни Карапетяна-старшего миг, который служил ему опорой и сейчас. Однажды он стал свидетелем высочайшего триумфа Карапетянов: все три его

сына — Шаварш, Камо и Анатолий — в одном из крупных соревнований заняли все три призовых места. Все три — сразу! Когда сыновья поднялись на пьедестал почета, отец испытал миг счастья, равного которому по силе воздействия на человеческое сердце в жизни, пожалуй, не бывает. Хотя нет, кажется, бывает. Когда в сыне или сыновьях отец видит вдруг крушение всех своих надежд.

Гремели двигатели тяжелых кранов, чемпион нырял, отец смотрел перед собой, и когда Шаварш уходил под воду, отец замирал, словно тот уходил навсегда.

* * *

Гибкие, сверкающие тросы Камо доставил к месту затопления, а милиционер, командующий операцией, тем временем распоряжался:

— Закрепляй за троллейбус! Ныряй и закрепляй!

Шаварш нырнул с единственной целью: отыскать буксирный крюк. Крюк обнаружить, однако, не удалось. Шаварш запустил руки в ил — нет, задний мост просел в грязь слишком сильно. «Придется обвязывать корпус»,— понял чемпион. «Боковые стекла надо выбивать по одному с обеих сторон».

— Крюк в грязи, достать нельзя,— сказал он, поднявшись со дна.— Камо, найди ломик!

— Цепляй трос за штанги! — распорядился руководитель операции.

— Их вырвет,— закашлявшись, возразил чемпион.

— Цепляй! — распалялся тот.

Шаварш взял основной трос и ушел на глубину — к основаниям штанг. Закрепить трос оказалось не просто. Нырял несколько раз, четыре-пять минут было потеряно. Закрепил. Вынырнул.

— Всем в сторону,— скомандовал милиционер.— Давай! — команда одному из крановщиков.

Трос задрожал, натянулся, завибрировал, и в следующее мгновение со свистом и шумом штанги вырвались из гнезд в крыше троллейбуса — миллион брызг поднялся под лодками спасателей.

Шаварш в ярости бросился к месту аварии.

— Цепляй за бампер! — закричал милиционер.— Быстро — за бампер!

— Это бесполезно! Бампер в иле!

— Кому говорю — цепляй!

— Па-шел ты... — неожиданно для себя ответил Шаварш, и в этот момент появился Камо:

— Держи!

Чемпион ухватил ломик и с ходу ушел под воду. Оказавшись у троллейбуса, он с ожесточением выбил окно справа, переметнулся через крышу — выбил стекло слева. Выплыл:

— Давай трос!

Камо держал два: один — основной, другой — подсобный, закольцованный. (Следует подчеркнуть: все это время младший брат Шаварша не имел никакой опоры и держался на воде исключительно с помощью движений.)

Ухватив вспомогательный трос, Шаварш нырнул. «Продел» через корпус. Всплыл. Увел под воду основной трос, скрепил с поперечным. Вывел наверх его конец, передал Камо: трос следовало доставить на берег и скрепить с крюком подъемного крана.

— Держи! Плыви!

Камо ухватил трос, вскочил в моторку спасателей, и лодка помчалась к бетонной высокой плотине.

— В сторону! В сторону! Все от троса! — неслись чьи-то команды. Трос закрепили, и рев двигателей заглушил все вокруг.

Шаварш направился к берегу. Трос тем временем вновь натянулся, задрожал, завибрировал, и через минуту-две вода забурлила, вспенилась, и люди увидели вначале заднюю часть корпуса, затем крышу, затем показался весь троллейбус, с него стекали грязные быстрые ручьи воды, он приближался к берегу, огромный, страшный, и вскоре стало видно то, что Шаварш уже видел много раз.

Начались масштабные спасательные работы. Шаварш свое дело сделал.

* * *

Плотина! Как только вода перестала обмывать тело Шаварша, кровь тут же залила руки и ноги. Кровь струилась из крупных и мелких порезов. В абсолютном изнеможении он опустился на бетон.

Он лежал на бетоне, сокрушенный крайней усталостью, и, вероятно, ждал Камо. Камо появился с отцом. Чемпион не удивился, увидев отца. Ну и что? В эти минуты возможно все.

Отец сорвал с себя рубашку, обмотал окровавленные ноги сына, а майкой — руки... Машина начальника клуба ДОСААФ уже неслась по улицам Еревана, а он все еще пытался нырять.

Смолкли сирены. Разошлись люди. И сомкнулась вода.

* * *

45 суток: воспаление легких, высокая температура, угроза заражения крови, чудовищная аллергия. И — бред.

Выздоровление было трудным. Чемпион лежал в отблеске золотых и серебряных лучей, падавших к его изголовью с ковра — десятки высших спортивных наград! — и размышляя о мгновениях побед, еще недавно выпадавших на его долю, не уставал повторять: это был я?

Да.

Что значат блики даже 130 завоеванных в спортивной борьбе медалей по сравнению хоть с одной человеческой жизнью, отвоеванной у смерти? Ничего. Но одно без другого было бы невозможным.

Свет медалей — лак прошлого?

«Неужели это был я?» Да, это был он.

— Откуда в Ереване вода? — удивлялись в Москве, наблюдая за потрясающими выступлениями молодого пловца.

— Откуда в Армении такие пловцы? — удивлялись в Париже, Берлине, Потсдаме, Кишиневе, Ташкенте, Будапеште, Праге... — Откуда?

Теперь — все? Нет, не все. Не все! Он поднимался, оживал, возрождал в себе прежний дух и прежние силы. Ему было на что опереться — на спокойную мудрость отца, на беспредельную заботливость Асмик — матери, на спасительное легкомыслие младших братьев. Он опирался на верность своих друзей и стремительно возвращался к жизни. Так выравнивается после тяжелых ливней молодая упругая трава, так выравниваются после сильных ураганов молодые деревья.

Через четыре месяца он вернулся в бассейн. И почти сразу установил новый рекорд СССР. И тут же — рекорд мира. «Вам вылетать на соревнования в Италию». Ну, не счастье ли — увидеть Рим? «Спасибо, но у меня дипломная работа. Я бы хотел закончить ее в срок». (У него два высших образования.)

От него никто не узнал главного: почему он так долго отсутствовал, где был почти полгода?

* * *

Драма позади. Подведем итоги.

Что в этой истории бросается прежде всего в глаза? Что удивляет?

Нагромождение случайностей. Их много, они и правда поразительны. И всем ясно: не произойди главной из них — появления Шаварша, ход событий наверняка бы стал иным, многое сложилось бы по-другому.

Случайна ли подобная случайность? Единственна ли в своем роде?

Вооруженные бандиты нападают на экипаж самолета и угрожают пилотам и пассажирам. И именно в эти секунды, здесь, на борту «Ан-24», оказывается человек, способный стать на защиту людей, смело взглянуть в дуло обреза. Этот человек — 20-летняя бортпроводница Надя Курченко...

Тоже случайность?

На рязанском поле вспыхивает пожар, загорается трактор, огонь угрожает хлебу, поселку. Пожар видят двое. Судьбе угодно, чтобы одним из них оказался 18-летний Анатолий Мерзлов. Первый свидетель пожара, о котором сегодня не знает никто, сделал шаг в сторону, другой — Мерзлов — шагнул в пламя. К его памятнику односельчане носят цветы...

Он что, тоже оказался здесь случайно? Случайно появился в том месте земли, мира, где был особенно необходим?

Примеры можно множить бесконечно. Но достаточно, думаю, и приведенных. Достаточно для того, чтобы напомнить о природе случайностей. Примеры эти — материализовавшиеся случайности.

Какими бы фантастическими ни показались на первый взгляд те или иные совпадения, переплетения об-

стоятельств, присутствие тех или иных людей, природу случайностей не оспорит ничто. Они необходимая закономерность. И если в жизненных драмах и есть хотя бы какой-то просвет, искра надежды, которые позволяют выстоять вопреки всему, то надежды эти связаны прежде всего с людьми.

У жизни нет ночей, в которых бы не светилось ни одного огонька. Свет есть всегда. Не видишь ты, видит другой.

Это — о случайностях.

Теперь о герое.

Шаварш Карапетян ушел из большого спорта — работает в ДОСААФ республики.

Лучшая награда герою — жизнь спасенных. А в этом случае — жизнь двадцати. Это те двадцать, усилиями которых, в единении с другими, побеждается камень страны камней. Это те двадцать жизней, которые, возможно, когда-нибудь станут двумястами, а в еще более отдаленном будущем — и двумя тысячами. Почему бы и нет?

Говорят: даже одна смерть — просека во всем человеческом роду. Коммунист Карапетян не дал случаю прорубить двадцать просек. Вот она — цена и мера подвига.

* * *

Спасая тех, кого он спас, он помогал тем, кто это видел. Он помогал понять: что может даже один человек.

Спасая тех, кого он спас, он тревожил совесть тех, кому все равно.

Рассказывая об этом и тем, и другим, я хотел бы напомнить то, о чем реже всего вспоминают: что человек может, то он и есть.

НОВОГОДНИЕ НОЧИ ШТУРМАНА

Ночью штурман войдет в домашний кабинет и выберет лучшую курительную трубку. Затем он достанет металлическую коробку с фигуркой льва на крышке и откроет ее. Увидит: запас табака тает.

Когда-то коробка была полной. А штурман был молодым. Теперь табака все меньше, и с этим ничего не поделаешь, как, впрочем, и с тем, что когда-то штурман был молодым, а теперь ему за семьдесят.

Он взвесит коробку на ладони. Посмотрит на ее позолоту и ржавчину и достанет из-под мятой фольги щепотку спрессованного табака. В трубку табак будет перенесен с большой осторожностью. Штурман подумает: «Всякий табак, даже самых лучших сортов, можно приобрести с помощью друзей. А такого табака, как в этой ржавой коробке, мне уже не достанет никто. Этот единственный. Другого такого нет».

Он чиркнет спичкой, закурит трубку и встретит Новый год, так как курит он свой табак только один раз в году и только в новогоднюю ночь и никогда больше. Много лет подряд.

Когда он впервые попал в Арктику, ему было 20 лет. Теоретически он знал об Арктике все, что можно было знать в те годы. Он читал об Арктике постоянно, а книгу Нансена «В стране льда и молчания» знал наизусть. Впервые прочитав ее в десятилетнем возрасте, он сохранил книгу до нынешних дней. Он немало знал и о самом ее авторе, но прежде всего то, что знаменитый исследователь был когда-то физически очень слаб. Нансен много тренировался, чтобы преодолеть слабость и подготовить себя к невероятным арктическим трудностям. Будущий штурман тоже начнет усиленные тренировки и в поисках реальных трудностей мальчишкой отправится однажды с другом на самое штормовое внутреннее море — Каспий. Отправился, чтобы испытать на себе любой шторм — перед главными арктическими штормами. Он пересечет Каспийское море на лодке! Его отчаянные тренировки, закалка сыграют впоследствии большую роль: штурман станет авиационным долгожителем, установит замечательный рекорд налета: 24 тысячи часов! Столько штурман проживет вне земли — в небе. И больше всего — в небе Арктики, Арктики, которой он ни разу, ни в какое время своей жизни, ни горькое, ни счастливое, не изменил...

Он быстро стал признанным авиационным полярным штурманом. Арктика сразу показалась ему лучшим местом на земле. Такой она была в мечтах, такой оказалась на самом деле. Никаких других мест на земле он

по-настоящему тогда еще не знал, но Арктику принял как щедрый и редкий дар судьбы. Спустя много лет он увидит и остальной мир. Однако останется при том же мнении: Арктика — лучшее, что человеку выпадает.

Он раскурит трубку и уйдет на время в себя.

...Вначале они заметили следы американской экспедиции с самолета в 1936 году, когда садились на самую суровую землю Ледовитого океана — остров Рудольфа. В то время Валентин Аккуратов был штурманом звена. Этот полет в глубь Арктики был в его жизни первым, и сама высокоширотная воздушная экспедиция в истории советской авиации тоже была первой.

Развалины на острове Рудольфа — первые увиденные им самим следы человеческой деятельности на подступах к полюсу — произвели на него сильнейшее впечатление. Они говорили о драме, о чем-то неудавшемся, незавершенном. Он понял сразу: не успокоится до тех пор, пока не узнает, что здесь произошло.

...В 1937 году они выполнили операцию, которая вошла в историю арктической авиации навсегда: четыре самолета доставили на дрейфующую льдину грузы и участников экспедиции «Северный полюс № 1»: Папанина, Кренкеля, Федорова и Ширшова.

Во время операции самолет «Н-169», пилотируемый И. Мазуруком, перелетел полюс и совершил посадку на 89°30′ северной широты, 100° западной долготы. Здесь они находились несколько дней. Состояние льда и погода не позволяли поднять тяжелую машину.

Дни, потраченные в ледовом плену, оказались важнейшими днями в жизни молодого штурмана. Здесь Валентину Аккуратову впервые пришла в голову идея создания навигационной карты «Условных меридианов». В дальнейшем им был разработан «метод ориентации по условным меридианам». Сегодня, в конце столетия, интенсивные и сложные полеты в Арктике и Антарктике без помощи этого метода немыслимы.

...Их самолет был оставлен на острове Рудольфа на тот случай, если потребуется срочно лететь к Папанину. Это была долгая зимовка. Самая северная земля Ледовитого океана испытывала людей ветрами и морозами, скверной водой и одиночеством. Покрытый на девяносто девять процентов ледником, базальтовый остров лишь один раз в году на один месяц преображался: на

острове расцветал полярный мак — четыре лепестка и стебелек в пуху. За тридцать дней мак успевал расцвести и дать семена! И все замирало на острове снова — только люди продолжали зимовку, только их голоса оживляли вековое молчание пустых пространств.

Они выполняли полеты над архипелагом, ожидали событий, которым суждено было стать легендарными: сверхдальних перелетов в Америку через полюс. Они знали о подготовке перелетов. Готовились к ним и сами: в организации надежной промежуточной связи с экипажами Чкалова, Леваневского, Громова состояла одна из их задач. В дежурных полетах в высоких широтах они обнаружили десять островков и нанесли их на карту. Здесь, на острове Рудольфа, им удалось и более существенное открытие: они усовершенствовали — принципиально — астрокомпас! Магнитный компас в этих широтах не работал. А астрокомпасу необходимы светило, звезды. Но звезд часто не было. И солнце не появлялось по два месяца. Что в такие периоды делать? Земля поворачивается в час на пятнадцать градусов, если устроить следящую систему, ты всегда будешь знать направление на север, на юг и т. д. Система эта есть тот же астрокомпас. Однако, как уже сказано, без солнца система эта мертва. Пришла мысль: нельзя ли солнце как бы «поднимать» над горизонтом искусственным путем? Специально для астрокомпаса. Оказалось, можно. Роль поляризатора могла сыграть смола канадской сосны — «канадский бальзам». Они покрыли ею оптическое стекло следящей системы астрокомпаса, и это дало возможность «видеть» солнце, определять его место и свое собственное положение в пространстве. Теперь прибор «видел» солнце даже тогда, когда оно находилось ниже горизонта на восемь градусов, или на шестнадцать дисков! (Таково было свойство кристаллов смолы — улавливать центральный луч любого светового источника). Время зимовки проходило на диком, пустынном острове в высшей степени производительно... Но...

Штурман не забывал о первом приземлении на Рудольфе. Он помнил развалины покинутого лагеря и то впечатление, которое они на него произвели. В свободное время он и его товарищи исследовали место американской экспедиции. Они знали, что экспедиция прохо-

дила в два этапа. Первым руководителем был Болдуин, вторым — Фиала. Финансировал экспедицию Циглер, поэтому его имя также фигурировало в официальной истории освоения Арктики. Они также знали, что успеха экспедиция не добилась — до полюса не дошла. Последняя точка — 82°14′ северной широты. Судно «Америка» было раздавлено льдами. Люди зимовали в разных концах архипелага. Это показалось Аккуратову совершенно необъяснимым. Но вскоре он уже знал: в экспедиции не было единомыслия. Именно этим было вызвано устройство людей на зимовку в отдалении друг от друга. Поразительно! Условия Арктики требовали сплочения, единства помыслов и действий, а тут все обстояло наоборот. Людей объединяла идея штурма полюса — это было очевидно. Но что-то оказалось сильнее этой идеи. Как удалось выяснить загадку расселения людей? Однажды штурман наткнулся в развалинах на печь. Из ее дымохода свисал шпагат. Он потянул за шпагат и вытянул фигурку носорога из кости. К фигурке был привязан запаянный латунный цилиндр, обнаружили записку. Разобрали только это: «Мы, оппозиция, Питерс, Риллет... сего числа месяц март 1905 года покидаем кэмп, имея собачью упряжку, каноэ, необходимые продукты, уходим на юг»... «Оппозиция».

Вскоре Аккуратов нашел великолепные теплые костюмы. Их вид был необъясним: на груди надпись: «сим — будешь жив», на спине — череп без слов. Почти в то же время он обнаружил и документ, который, по существу, ответил на все его вопросы, вопросов не осталось. Бумага, которую он нашел, проясняла не только цель экспедиции. Она раскрывала силу, которая двигала участниками экспедиции. Поход к полюсу, понял Аккуратов, был непревзойденным бизнесом! Продвижение к вершине земли оплачивалось по четкой системе: пересек один градус широты — получаешь, допустим, 2 доллара. Преодолел следующий — получаешь 4 доллара. Взял третий — получаешь 8. И так далее. Достигший полюса мог стать по-настоящему богатым человеком — вот она, высшая цель каждого участника экспедиции, великий стимул.

Находка поразила не только Аккуратова. Все, кто зимовал с ним на острове Рудольфа, обсуждали неожиданное открытие. Им, людям нового мира, казалась не-

вероятной сама мысль о том, чтобы кто-то предпринял попытку покорения полюса ради собственного обогащения, а кто-то оплатил чужие усилия ради увековечения собственного имени. Но это было именно так — доказательства были рядом.

Спустя много лет штурман Аккуратов узнает о словах руководителя американцев Фиалы, сказанных им в Архангельске при встрече с Г. Седовым: «Сердце экспедиции — ее чековая книжка». В истории арктических путешествий экспедиция Циглера действительно была наиболее богатой — ее «сердце» было золотым.

Мертвым.

...Штурман Аккуратов жил Арктикой. От каждого мгновения арктической жизни он требовал подтверждения того, что мгновение это реально, что все, что происходит, — не сон, что его юношеская мечта сбылась. Он узнавал новых и новых великолепных людей, постигал суровый нрав Арктики и был счастлив. Такой вид человеческого счастья выпадает не каждому: в совершенстве освоить любимое, с ранних лет избранное ремесло и, освоив, начать трудиться в любимом, притягательном — с детства — месте земли!

Его успехи были замечательными. К полюсу недоступности не удавалось долететь ни одному авиатору мира — не удавалось, несмотря на многочисленные попытки. Но вот на полюсе недоступности совершает посадку первый самолет. Самолет — советский — «АНТ-6». Привел его к самой недосягаемой точке земли штурман Аккуратов. За штурвалом был полярный летчик Черевичный... После первого приземления Аккуратов побывал здесь еще дважды. Настоящим штурманским триумфом стал первый полет в условиях полярной ночи по маршруту Москва — Северный полюс — Москва. Полет осуществил Валентин Аккуратов.

Во время вынужденных посадок, в ожидании погоды, в нередкие арктические паузы штурман не раз вспоминал о своих «раскопках» на месте американской экспедиции, своих находках. Все, что с ней было связано, существовало в его памяти автономно, вне его главных дел и забот. И все же это был не просто памятный эпизод. Это был фон — определенный моральный фон, который существует, видимо, в жизни каждого и призван оттенять главные события человеческого суще-

ствования, движение человека вперед, к поставленной цели. Оттенять по-разному, ибо цели у людей часто тоже разные.

Аккуратов невольно сопоставлял масштабы, характер и духовную сущность работ, проводившихся на его глазах в Арктике, в которых он участвовал сам, с тем, что было здесь раньше. И среди драм, фактов и подвигов прошлого, героических свершений настоящего в его размышлениях всегда находилось место для экспедиции Циглера.

...Остатки экспедиции продолжали поражать находками. Выяснилось: на случай достижения полюса у американцев были припасены специальные парадные лыжи и нарты, украшенные золотом!

И тем не менее экспедиция распалась!

Мир аплодировал мужеству Чкалова, Белякова и Байдукова, перелетевших через полюс в Америку. Мир признавал мужество Громова. Люди оплакивали гибель Леваневского и пятерых его товарищей, навсегда исчезнувших в полярной мгле Арктики. Люди не желали верить в их смерть, повторяли последнее слово, услышанное в арктическом эфире радиостанциями: «...ждите...».

Но никто никогда не вспомнил об экспедиции Циглера — самой золотой экспедиции в истории.

Старый штурман затянется крепким табаком, связанным с воспоминаниями об этой экспедиции, но подумает все же о другом. Он подумает в эту ночь о своем везении.

Только в войну ему довелось принимать участие в 195 боевых вылетах! Он летал в осажденный Ленинград, летал в США (чрезвычайный рейс 1941 года, доставивший в Америку 20 советских специалистов), но в основном он участвовал в вылетах арктических. Война в Арктике, как теперь известно многим, была не менее жестокой, чем на материке... 195 боевых вылетов — и лишь одно ранение. Тяжелое, но одно. Он вернулся после ранения в строй. И спустя десятилетия, уже в преклонном возрасте, на медицинских комиссиях получал редкие справки: «годен без ограничений». Так вот, вспомнит он, значит, война...

...Через просторы Арктики пролег один из жизненно важных морских путей. Фашистские подводные лодки и самолеты, как известно, тут же попытались его бло-

кировать. Опыт таких арктических асов, как Аккуратов, оказался бесценным: им было поручено проводить караваны судов под огнем и через огонь. И он занимался этим вместе с другим, забыв о сне и отдыхе. Но были и особые задания — не столь привычные, хотя и связанные по-прежнему с судами.

Он вспомнит одно из них: караван англо-американских судов с грузом по ленд-лизу под шифром «Конвой PQ-17» 27 июня вышел из исландского порта Хвальфиорд. У одного из полярных островов — Медвежьего караван подвергся жестокой атаке гитлеровцев. Двадцать четыре корабля были потоплены...

«Караван сопровождали двадцать боевых кораблей. Конвоем прикрытия командовали английские адмиралы Тови и Гамильтон... Гамильтон имел четыре крейсера и три эскадренных миноносца, а Тови — один авианосец, два линкора, два крейсера и восемь эсминцев! Флот! Казалось бы, весь груз в целости будет доставлен. А случилось что-то непонятное! Боевой флот неизвестно почему бросил транспортные суда на самом опасном участке и ушел на запад, предоставив каравану идти в Советский Союз самостоятельно» — так напишет впоследствии в своих воспоминаниях в одном из журналов штурман.

...Командовавший в годы войны Северным морским путем контр-адмирал И. Д. Папанин поручил пилоту Орлову и штурману Аккуратову вылететь на поиски оставшихся кораблей.

Папанин сказал Аккуратову и Орлову: «Будьте предельно осторожны. Вам одинаково будут опасны и немецкие самолеты и обнаруженные корабли союзников. Последние могут принять вас за противника и подбить из зениток».

Опасаться союзников им еще не приходилось. Задание было необычное.

Аккуратов вспоминает:

«Шел четвертый час полета. Мысленно прикидываю, где искать разбежавшиеся корабли. Наверное, они, как предполагает Папанин, прежде всего бросились на север, чтобы уйти подальше от фашистских авиабаз, расположенных в Норвегии, а потом вдоль южной кромки льдов двинулись к Новой Земле с ее многочисленными укромными бухтами и заливами, очень удобными для

стоянки кораблей и контролируемыми нашим морским флотом.

Вскоре мы подошли к Новой Земле. Этот огромный остров длиной в тысячу километров состоит из двух частей, разделенных проливом Маточкин Шар. Далеко вдаются в сушу глубокие заливы со скалистыми берегами и отвесными стенами ледников. Не доходя береговой черты, мы прижались почти к самой воде. Малая высота маскировала нас, но в то же время мешала поискам, ограничивая обзор. Погода над землей испортилась. Тяжелые, рваные облака, свисая, создавали серьезную угрозу, но горизонтальная видимость была терпимой. Напряженно всматриваемся в стремительно проносящуюся местность, обходя высокие препятствия западного берега.

Вдруг на светлой, изумрудной воде бухты замелькали большие радужные пятна.

Осторожно делаем круг. Пятна исчезают, но через минуту снова появляются, расплываются широкими кругами и сплошной цепочкой уходят из залива в море.

...В короткой шифровке передаем координаты подводной лодки на базу, которая неотрывно следит за нами, и идем на север к следующему заливу. В полете мы уже более семи часов. Все многочисленные заливы и проливы, обследованные нами, мертвы и пустынны.

В районе Маточкина Шара облачность неожиданно оборвалась. Глубокое голубое небо, яркое солнце и сверкающее море были так безмятежно спокойны, что на какие-то секунды война показалась далекой и нереальной...

Пересекая скалистую гряду, отделяющую Маточкин Шар от губы Матюшиха, мы вдруг вышли на группу кораблей. Под крутым берегом, вытянувшись в беспорядочный полукруг, стояли голубовато-серые суда.

— Три... пять... девять...

— Да их здесь целая армада! Чьи?!

— Скорей зеленую ракету, а то откроют огонь, приняв за фрицев.

— Поздно! Смотрите, там боевая тревога. А их сигнал «Я свой» нам неизвестен.

С малой высоты было отчетливо видно, как на огромных боевых кораблях и на пароходах типа «Либер-

ти» засуетились комаиды. Медлеиио поползли, направляясь в нашу стороиу, длинные стволы орудий. Сииеватый дымок пулеметиых очередей заставил нас уйти в сторону. Дав полиый газ моторам, мы перескакиваем следующий каменистый перешеек и, прячась за высокий берег, быстро уходим из опасиого места.

— Сергей, — говорю я Орлову, — смотри внимательно! На одиом из бортов катапультный истребитель.

— Видел, штурмаи. А как перепуганы... Этак и собьют!

— В такую погоду истребитель ие суиется. А локаторы иа малой высоте не возьмут, — ответил я.

Через пятнадцать минут мы вынырнули из низкой облачности к поверхности моря и стали осторожио подбираться к стояике кораблей.

Подойдя к губе, прижались к ее северному берегу и, маскируясь крутыми скалами, прошли в 400—500 метрах от эскадры. Все было тихо. Очевидно, иа этот раз иас ие обнаружили. Два сторожевика медленно выходили в море. Через бинокль иа борту одиого из иих удалось прочитать иазвание «Ла Малане».

Пересчитав корабли и стараясь не потревожить их своим появлением, взяли курс иа юг. Из башни Сергею удалось прочесть назваиие еще одиого корабля — «Эмпайр Тайд». Именно на ием и была катапульта для морского истребителя, ио самолета уже не было, вероятио, ушел в воздух, как только услышали шум иаших моторов.

— Ну, теперь все ясио. Пошли домой. Коордиматы дадим устно, после посадки. Сейчас рисковать ие стоит, могут перехватить и расшифровать.

В штабе после иашего доклада в тот же день связались с эскадрой. В сопровождении двух иаших эскадренных миионосцев и трех английских траиспорт прибыл в Архангельск...». Это лишь одии эпизод его службы в военной Арктике.

* * *

На острове Рудольфа продолжалась работа. Иногда в дни непогоды штурмаи разбирал смешаиные со льдом остатки давнего американского лагеря — лагеря 1905

года. Однажды на берегу открытого океана они обнаружили осыпавшуюся могилу. Недалеко нашли деревянный крест. Имя умершего было почти стерто. Угадывалось слово «майор».

Снова находка: ведомость на выдачу рома. Руководители получили по 200 граммов, подчиненные — по 100. В ведомости обнаружили имя лейтенанта Майера. Когда сверили имя на кресте с именем в ведомости, оказалось один и тот же человек...

Уезжая после зимовки на Большую землю, Аккуратов взял найденный на месте экспедиции табак. Табак, как и все в этой экспедиции, был очень дорогим — дороже в те годы сортов, пожалуй, не было.

Потом были десятки полетов на остров Рудольфа, тысячи полетов в Арктике. Жизнь состояла из полетов. Работу венчали награды. В 1967 году ему присвоили звание «Заслуженный штурман СССР».

...Он закурит трубку, проследит взглядом за дымом старого табака. Внимательнее, чем обычно, осмотрит экспонаты своего домашнего музея. Их у него немало. Подумает: «В сущности, все эти экспонаты объединяет то, что они из прошлого. И справедливо, что сами по себе они ничего не значат».

«Ну что, — подумает он, — может сказать человеку, не знающему Арктики и моих товарищей, и меня, вот это старое весло с полярного острова? Конечно, ничего. А этот уродливый слиток легкого металла? Тем более. Чем отличается вот эта курительная трубка от десятка других моих трубок? Со стороны — ничем. Ну, формой. А кого заинтересует ржавая коробка с этим табаком? Похоже, что никого. А исцарапанные навигационные приборы? Или часы?» «Но я храню их, — скажет он, — и не собираюсь ни с одним из них расставаться. Мы связаны крепко. У нас одна жизнь».

Трубка, которую он курит в эту ночь, подарена ему Алексеем Толстым.

Секстант, который он хранит, помогал ему уходить от гибели и возвращаться на острова, укрытые полярной мглой, и на материк. Слиток металла — последнее, что осталось от самолета, который сгорел на пороге Арктики и в котором погибли его друзья. Он тоже сгорел бы вместе с ними, если бы не случайность, которых в

его жизни, как и смертельных ситуаций, было немало. Он выйдет из готовящегося ко взлету самолета в последний миг — причем на одну минуту, — диспетчер сообщит ему, что его вызывает на связь начальник полярной авиации. Он проведет этот разговор, а когда выйдет из диспетчерской, увидит: самолет почти догорел, и в нем погибли его друзья. И он ничем не сможет уже им помочь — будет стоять, слившись со льдом Арктики, превратившись на время в ее ледяной осколок.

А табак — это всего лишь табак. Не более. Как и все табаки, вреден. Даже этот, семьдесят лет сохраняющий тонкий медовый запах.

Штурман закурит и забудет о табаке. Он вспомнит то время, когда был молод, как теперь его сыновья. Он задумается об Арктике, о своих первых километрах в полярном небе. С тихой радостью подумает о своей детской мечте, счастливой, как само детство. В который раз он повторит про себя: Арктика — лучшее, что человеку выпадает. Все в ней против человека, а человек не сдается в борьбе и обретает силы. Но и великие одиночки и группы смелых людей оставались в истории Арктики и памяти человечества только тогда, когда шли на борьбу с пустотой, одиночеством и льдами, одухотворенные высокой идеей служения людям, своей Отчизне. Никогда не было иначе и никогда не будет. Случайные находки на острове Рудольфа убедили его в этом бесповоротно еще в начале пути, когда важно было познать главное и следовать этому главному всю остальную жизнь.

Он знает, что остается от бездуховных затей: корабельный колокол в снегу, истертая чековая книжка, позолоченные лыжи, могила на пустом берегу холодного океана и забвение.

Доллар и рубль сильны, но Арктика сильнее.

Штурман докурит трубку, спрячет табак с острова Рудольфа в потайное место и не притронется к нему до тех пор, пока не наступит следующая новогодняя ночь, когда можно будет закурить снова.

В коробке осталось не много табака. Но и не мало.

...Совершенно необходимо прожить еще целый ряд лет, чтобы последние граммы табака из ржавой коробки превратились, наконец, в дым.

ТИТАНОВОЕ КОЛЕСО

«Удержи меня в этот миг...»

С потолка малого зала Мэдисон-сквер-гарден посыпались легкие огни, и она поняла, что теряет равновесие. Огни вытянулись в белые широкие полосы, и она поняла, что летит вниз.

«Удержи меня в этот миг».

Она ударилась о пол и потеряла сознание.

Позади остались гастроли советского цирка в восьми городах Америки. Впереди было их продолжение, но теперь без нее.

Она пришла в сознание в высокой светлой комнате.

— Мы еще в США? — спросила она.

— Да, — ответили ей друзья. — Мы в Нью-Йорке.

— Что-то случилось?

— Ты спикировала, — сказали ей. — На «чистую» голову.

— Теперь я вспоминаю, — сказала она. — Я спикировала.

— Остается лежать и выздоравливать.

— Остается, — тихо проговорила она.

Она лежала у открытого окна и слушала грохот огромного города. Реальный мир утомлял ее светом и звуками. Воспоминания были бессвязны. Одно из них было простым, как детская песня. Оно приходило легко и часто, и, когда оно приходило, она радовалась. Она оказывалась на 5-й улице Ямского поля, тихой московской улице, и вышагивала легкими сильными ногами до того места, где росли рябиновые деревья и улица почти упиралась в редакционное здание «Правды». На всех этажах здания, начиная с октября, окна загорались очень рано, и она смотрела, как они вспыхивают одно за другим, и непонятно чему улыбалась. Потом она возвращалась назад, шла по мягким листьям к цирковому училищу. Здесь она пропадала с утра до вечера. Здесь, в училище, вокруг которого они жгли когда-то опавшие листья, она сдавала свой последний экзамен. Так она думала, покидая ГУЦИ. Но сколько экзаменов ей еще предстояло? Сколько раз экзамены обрушивались на нее внезапно или приближались с неотвратимостью зимы? И разве можно было их сравнить со всеми теми, что казались ей когда-то страшными и неодолимыми? Чем

дальше уходит человек от своих учебных экзаменов, тем милее они ему кажутся. В училище она занималась вдохновенно и с неистовой энергией осваивала то, что впоследствии стало ее ремеслом и основным делом...

За окном отеля «Стетлер-Хилтон» гремел Нью-Йорк. Волны полицейских и санитарных машин бились о стекла стального цвета и возвращали ее из московского прошлого сюда, на землю Америки. Она открывала глаза и смотрела на коричневый каньон старой картины, висевшей на стене номера, и на высокое чистое небо за окном. Отталкиваясь от его прохладной, твердой синевы, она снова погружалась в свои чудесные воспоминания.

Она возвращалась к недавнему прошлому, освещенному светом ранних надежд и любви. Она радовалась, что хотя бы прошлое принадлежит человеку каждым своим мгновением, и если даже это единственное, что принадлежит человеку по-настоящему, то и это немало, так как человек сам создает свое прошлое и оно остается с ним до конца, казня его или помогая ему.

В Нью-Йорке стояли солнечные дни, и здоровье Нины восстанавливалось быстро. Муж и партнер по цирковому номеру Эдуард Бернадский не отходил от нее ни на шаг. Вначале движения ее были осторожны и редки, а затем стали уверенней, и она даже стала разгуливать по номеру без его помощи, а вскоре объявила, что начинает тренировки. Боли, конечно, мучили ее, но она понимала, что сами по себе боли не пройдут.

Люди, постоянно подверженные большим физическим и психологическим перегрузкам, оказавшись в положении, подобном тому, в котором оказалась она, никогда не надеются на счастливый случай — они тренируются, работают. Они понимают: помочь тебе готовы многие, но главный помощник себе — ты сам, а не счастливый случай и не те многие, что готовы тебе помочь. Нина Бернадская знала это уже на своем опыте и опыте старших — Ирины Бугримовой, Полины Чернеги, Волжанских и многих других выдающихся мастеров советского цирка. Она знала и другое: случай в Мэдисон-сквер-гарден может оказаться не последним, не единственным в ее жизни. Что тогда? Тогда ей понадобится еще больше сил и воли, чем сейчас, когда это произо-

шло в такой тяжелой форме впервые. Она старалась не думать об этом, но думала почти постоянно.

Чувство страха — одно из самых сильных человеческих чувств. Отрицают это лишь самые трусливые из людей. Нина, конечно, не раз испытывала страх в детстве и потом, в годы учебы и самостоятельной работы на манеже, но серьезного страха перед высотой, на которой она работала теперь, да еще вниз головой, она не знала, не ощущала ни разу. Токио! В Токио, на крыше небоскреба, без страховки они показали один из сложнейших элементов своей программы, и она, не дрогнув, выполнила стойку на руках, на титановом обруче, и при этом ее глаза видели внизу не ковер манежа, а серый бетон крыши, близкий металлический пожарный барьер и бездонные, дымные ущелья улиц с ртутными искрами несущихся автомобилей. «Теперь бы я на такое пошла? — спрашивала она себя. — Надо подумать». Она оттягивала точный ответ, потому что ее коснулся страх — худший вид страха, сверкнувший впереди, а не сзади. Она вдруг поняла: самое трудное, что ей предстоит после выздоровления, — это борьба со страхом, который навалится на нее перед первым выходом на манеж, на сцену.

Она увидела своих неожиданных врагов, свой внезапный барьер: первый выход, первые секунды, первые мгновения высоты, с которой она сорвалась, и вращение на этой высоте — вот ее новые враги.

Она переживала, пока не посмотрела немного дальше первого выхода, — ведь за первым выходом будет второй, подумала она, а потом будет и десятый! А они-то уж наверняка будут удачными и счастливыми, подумала она, как было всегда и везде! Значит, надо готовиться к ним — ко второму выходу, минуя первый, к десятому, минуя первый, ко всем последующим, минуя первый! Она рассмеялась этим детским ухищрениям, но, как ни странно, они ей помогли. Она повеселела.

— Сегодня к тебе придет отличный врач, — сказал Эдуард. — Здесь, в Нью-Йорке, играет ЦСКА, я разговаривал с врачом команды.

— Но я не хоккеист! — засмеялась она.

— У всех у нас одинаковые травмы, — ответил он.

Врач пришел, как и обещал, в этот же день и внимательно осмотрел Нину.

— Мне не нравится ваше состояние, — сказал он. — Я думаю, что, кроме сотрясения мозга, у вас перелом одного из шейных позвонков.

— Она ведь упала на «открытую» голову, — сказал Эдуард. — Так что все возможно.

— Это впервые? — спросил врач.

— Такое падение впервые, — сказала она. — Обычно, когда я срывалась, партнерам удавалось меня подсечь. И тогда я падала на спину или на бок. Конечно, это случалось на репетициях, во время выступлений я не падала ни разу.

— Лечиться придется основательно, — сказал врач. — А пока надо лежать.

Инна не стала ждать улучшения своего состояния, а стала улучшать его сама. Она стала тренироваться. Она двигалась по номеру отеля «Стетлер-Хилтон», как по арене цирка, и, превозмогая боль и головокружения, отвоевывала у недавней круглосуточной неподвижности два, три, пять часов движения.

Однажды она сказала Эдуарду:

— Через день-два пусть включают в программу. Я готова.

— Рано, — возразил он. — Рано.

— Я думаю, в самый раз, — сказала она. — Смотри, что я уже вытворяю. — И она прошлась по номеру колесом.

— Пошли на улицу, — предложил он. — Там и поговорим. Может быть, у тебя даже от ходьбы голова закружится.

Они вышли из отеля и решили пройтись без цели по тротуару, довольно пустынному в это время дня. К ним тут же устремился какой-то парень, предлагая проспект ночного клуба. Они миновали кинотеатр, гигантскую рекламу «Волшебника изумрудного города» и побрели по освещенной солнцем улице. День был прохладный, ясный, в щелях между карнизами черных, зеркальных домов мелькали вертолеты, а рядом с тротуаром плыл поток автомобилей, не такой шумный, как в фильмах о Нью-Йорке, но и не совсем тихий, как того хотелось бы человеку, утомленному городом. Они прошли два-три квартала, и Эдуард спросил:

— Ну как ты?

— Я уже сказала: завтра начнем выступать, — ответила оиа. — Завтра наш второй выход.

— А первый? — озадачеиио спросил он.

— Первый? — переспросила она. — Первого ие будет.

Оиа рассказала ему о своем страхе и смешиом выходе, который она придумала со вторым выходом.

— Молодец, — сказал ои и заботливо обнял ее плечи тяжелой рукой. — Решаем окоичательно, что выступлеиия мы прерывали по метеоусловиям. Ничего другого ие было.

— Интересио, какая погода в Москве? — спросила оиа задумчиво.

— Тоже тепло и ясно, — ответил ои. — Сегодия слушал по радио... А если врач из ЦСКА прав? Не сделаем мы хуже?

— Я же чувствую, — сказала оиа. — Я зиаю.

Она остаиовилась у входа в магазии, увидев себя иа телевизионном экраие, установлеином между витриной и стеклянной дверью.

— Мие видией, — добавила она и приблизилась к телекамере.

Ои постороиился и пропустил мимо себя полицейского и собрался ей виовь возразить, ио, увидев ее смеющиеся глаза и гримасу иа экраие, передумал и сказал совсем ие то, что собирался:

— Да, ты уже в форме!

Вечером, иакануие выступлеиия в Мэдисои-сквергардеи, оии репетировали иомер до седьмого пота. Всю ночь ей сиились ее движеиия, и, похоже, она проделывала их до утра. Утром оиа засиула мертвым сиом и, когда просиулась, опять стала репетировать. Это продолжалось до появления иестерпимой боли.

Нина иичего не сказала Эдуарду.

Вечером оиа отработала одио из лучших своих выступлений. Успех был колоссальиый. Оиа едва держалась на ногах, и Эдуард подхватил ее иа руки, что было вполие уместио, так как публика аплодировала ей исступлеиио.

Пройдя сквозь боль первых представлений, она почувствовала себя обновлеииой и сильной. Работала она отличио. Энергичные американские зрители веселым ревом и восторженным свистом встречали уникальный

номер Бернадских, не догадываясь, какими усилиями он дается Нине и ее партнерам.

Это и не надо.

Авиация появилась, по-видимому, потому, что высший пилотаж уже был давно достигнут людьми во многих земных профессиях.

* * *

Фрагмент № 1. Выходила на сцену сияющая, ладони белели от магнезии, как детские бумажные кораблики в летних сумерках, подходила к партнерам с титановым колесом-обручем двухметрового диаметра, бралась руками за фермочки, ноги вставляла в петли и, образовав живой крест в колесе, после сильного толчка отправлялась в трудное путешествие по кругу, вращаясь вместе с колесом, сообщая ему инерцию невидимыми усилиями рук и ног и снова рук, ориентируясь на центр арены, не видя огней и зрителей, удивленных отсутствием источника ускорения, и, совершив два круга, возвращалась к партнерам, ожидающим ее после «ренского колеса» с тактичным нетерпением. Теперь, после вступления, после «завязки» номера, им вместе с Ниной предстояло переходить к самому номеру — одному из лучших номеров советского цирка. Номеру, придуманному когда-то замечательным артистом цирка Георгием Никитовичем Аркатовым и усовершенствованному, обновленному и предельно усложненному Эдуардом Бернадским, закончившим заочно факультет режиссеров цирка и эстрады ГИТИСа... Поднимала руки, подходила к партнерам, ожидала взлета титанового колеса вверх и своего мгновения, когда и ей, как выпущенной из лука живой стреле, взлетать на высоту обруча, и слышала, как замирает зал и как затихает музыка...

* * *

Последние ее выступления в США были прекрасны: она не просто показывала, а, показывая, воспевала красоту человеческих возможностей. Зрители без конца шли на их представления.

На Родину они улетали с чувством исполненного долга. Пролетая над Атлантикой из Нового Света в Ста-

рый, вспоминали подробности долгих гастролей. Но никто не вспоминал о случае в Мэдисон-сквер-гарден.

* * *

«Удержи меня в этот миг...»

С высокого купола Сочинского цирка посыпались легкие огни, и она почувствовала, что теряет равновесие. Огни вытянулись в белые широкие линии, и она поняла, что летит вниз.

«Удержи меня в этот миг».

Пассировщик сбил вертикальность падения, и она упала на согнутую спину. При ударе ее «раскрыло». Месяц успешных выступлений в Сочи оборвался внезапно.

Зрители поднялись со своих мест и, не двигаясь, смотрели на арену. Эдуард и второй партнер, совсем еще молодой парнишка Ахмед Дианов, подняли Нину и понесли к растерявшимся униформистам. Они вышли за кулисы, и Эдуард крикнул в сумерки: «Вызовите «Скорую помощь»!»

Месяц прекрасных, вдохновенных выходов на арену, месяц ежедневных желанных усилий был перечеркнут новым несчастьем. Они уже даже перестали думать о Нью-Йорке, перестали вспоминать неудачу за океаном, отнеся ее к тем исключительно редким случаям, которые лишь однажды выпадают на долю человека. Но в Сочи, по существу, все повторилось в точности: та же внезапность падения, тот же момент выступления. Разве что упала она не на «чистую» голову.

«Скорая помощь», вызванная в цирк, примчалась тут же. В сверкающем наряде и гриме Нину положили на носилки и перенесли в машину. Эдуард накинул куртку униформиста и сказал врачу:

— Я поеду с вами, я ее муж.

— Пожалуйста, — пожал плечами врач, — место в машине есть.

В больнице очень быстро установили: переломов нет, есть сильное смещение. С абсолютной точностью установили и другое: в Нью-Йорке смещения не было. Был перелом седьмого шейного позвонка. Врач ЦСКА оказался прав.

— Как же вы выступали? — спросят у нее врачи позже.

— Кости срастались, — ответит она тихо белыми губами, — а я выступала. Все было одновременно...

Она лежала без движений и приходила в себя. В первую ночь пошел ливень. Форточка была открыта, и ветер нес запах близкого моря и дождя.

Утром пришли Эдуард и Ахмед.

Она лежала в жестком шейном корсете, глаза были влажными.

— Ты чего? — спросил Эдуард, присаживаясь на край койки.

— Я подвела вас обоих, — проговорила она. — Я не имела права срываться хотя бы из-за вас.

— Что ты скажешь еще?

— Ничего не скажу. Могу только повторить: я виновата трижды — перед вами и перед собой.

— А может, это мы виноваты? — сказал Эдуард. — Может, мы — по полтора раза каждый, — а ты нет? Как ты на это смотришь, Ахмед?

— Конечно, — кивнул Ахмед. — Кто крутит колесо? Кто держит баланс?

— Но в больнице лежу я, а вы ходите вокруг меня... Ты в Москву звонил?

— Звонил, — сказал Эдуард, запнувшись. — Дочке не сказал ничего.

— А в «Союзгосцирк»?

— Там знают. Им позвонили вчера.

— Что теперь будет? — спросила она.

— Ничего.

В этот момент в палату отворилась дверь и вошла медсестра.

— Время укола.

— Я готов, — засмеялся Эдуард, поднимаясь с койки, — давайте мне. — Сестра шутливо ужаснулась его бицепсам и подняла шприц с белыми ниточками делений.

— Я надеюсь на вас тройной надеждой, — сказала Нина Эдуарду и Ахмеду. — Идите.

— Другое дело, — подмигнул Эдуард.

Через тридцать минут он опять явился в палату.

— Прошу внимания, — произнес он. — Телеграмма из Москвы, из «Союзгосцирка»: «Огорчены случаем

желаем блестящей артистке скорейшего выздоровления и выхода на арену».

— Удержи меня в этот миг...

Он подошел к окну, утих. Бывший секретарь комитета комсомола, строгий наставник Нины, артист, отдавший в их уникальном номере вместе с напарником пальму первенства, высоту, блеск и свет ей, Нине. Человек, работающий в номере на предельных усилиях, высшая физическая крепость, абсолютное чувство баланса, равновесия, достигаемое изнурительными тренировками, — все ради «девушки в колесе», ради Нины, сам в тени.

Он вернулся к койке, взял из рук Нины телеграмму, проговорил:

— Всем управлять научилась. Вот бы и глазами, а? Успокойся, не реви. Люди тебя любят.

Она лежала недолго, стала ходить с шейным корсетом. По вечерам в ее палату тащили все цветы, которыми веселые сочинские зрители одаривали артистов любимого цирка.

«Может, я еще не настоящая артистка? — говорила она себе полукокетливо-полусерьезно, рассматривая цветы. — Может, я на полпути? Или, может, в начале?»

— Вот я ребенок, — вспоминала она, — и сижу у теплой батареи в цирковом училище на 5-й улице Ямского поля. А сестра уже мастер. Сестра старше и, конечно, мастер...

...Все тренировки сестры проходят перед глазами Нины. Вся жизнь училища проходит перед ее глазами. И она недолго засиживается у теплой батареи. После седьмого класса Нина покидает берег, с которого смотрела на бурную цирковую реку, и сама входит в ее воду. Она пускается в плавание вслед за сестрой, и родителям, ничего не имеющим общего с цирком (мать — швея, отец — токарь), приходится мириться с непредвиденным ходом событий.

Блеск цирка со временем не тускнел, и краски не выцветали. А труд каждого дня и опасности обостряли желание стать мастером.

Какие опасности?

Вот она срывает «ахил» — сухожилие. Усилия года сводятся на нет. Падение на манеж — медный вкус ударов становится привычным. Палец попадает в трос — гангрена пальца. Садовое кольцо, разворот у первого

светофора, институт Склифосовского, ампутация. Как вернуть руке прежиюю силу «хвата»? Ответ простой — тренировками. Дальнейшими тренировками.

— Вам цветы.

Солнце освещает потолок палаты сочииской больницы розовым светом семи часов вечера.

Ничего не было прекрасней первых гастролей на практике. Она без конца вспомииала их и готова была бескоиечио слушать их призрачиую музыку... Такой жаркий Ворошиловград и счастливые дети в первых рядах цирка. Такой трогательиый Тамбов и неизбаловаиные счастливые дети в первых рядах. И чудесиый Новороссийск, и его бухта — прямо не верится: связаиа с Черным морем и дальше, через Босфор и другие моря, с океаном. И счастливые дети иа гастролях в первых рядах. А сами иомера?! Многоярусиые и смешиые, как виноградные гроздья иа ветру. А иаряды? Умора. «Берите все, что есть иа складе».

Счастливые дети в первых рядах.

Гремело и сверкало представление, и сгорали дотла детские сердца и тут же оживали и цвели маками, и, пройдя сквозь десятилетия одиого цвета, иепостижимым образом возвращался имеиио этот момент, когда сгорало дотла твое сердце и тут же расцветало, как мак, и ты был потрясен и взволиоваи таким микроскопическим событием жизни — приездом цирка.

Та река, в плаваиие по которой оиа пустилась, как и все реки, иесла ее к морю, и очеиь скоро оиа стала настоящей артисткой. Школу боли оиа закончила достойио, специальность постигла изнутри...

— Посмотрите на эту девушку, — иередко слышала в свой адрес. — Ей играть иа большой сцеие, а она играет иа опилках арены.

— Взгляиите иа ее лицо, присмотритесь к ее глазам — она врожденная кинозвезда... И надо же, цирк!

Иитересио, думала Ниив, почему иевозможно даже представить, чтобы люди говорили, иапример: «Посмотрите иа профиль этого молодого человека, ои ведь мог быть первоклассиым пилотом, а ои ходит в агроиомах», «Взгляиите иа осаику этого парня — ои врождеиный морской капитаи. И надо же, архитектор!»

Да, такого ие услышишь. А то, что ие раз слышала она, вообще-то привычио.

«Ты никогда не узнаешь отчаяния, в тебе много сил и света». Это другое дело — разные люди рядом с нами.

«Цирк никогда, ни при каких условиях не может считаться серьезным делом». Человек-сыч всегда ходит среди нас.

В больничной палате она не имела возможности защищаться от раздумий.

Жить лучше без остановок, горячилась она. А потом, когда ты остановишься, берись руками за голову, поддерживай ее и рассуждай, думай и анализируй, как ты жил. А пока есть силы, надо жить. И как можно больше успеть. Права я?

Права.

«Но вдруг, — поднимался в ней холодный рассудок, — вдруг ты жил не так, как следовало? Вдруг жил неправильно, всю жизнь шел по ложному пути? Что тогда? Ведь шел без остановок! И силы уже растрачены!»

«Нет, нужно жить размышляя. Оценивать свои поступки, когда их совершаешь, а не в глубокой старости, когда изменить уже ничего невозможно».

«Это так ясно, — думала она, — было бы так же легко».

В такие моменты она с особым волнением думала о своей дочке, своей девочке, которая хотела скорее вырасти и стать артисткой цирка, как ее мама. «Она почти всегда одна, она не видит нас. Что она знает обо мне, вернее, о моей работе, об отце? Знает лишь то, что видит, что видела на арене. Ничего больше. А то, что она видит на арене, способно лишь ослепить ее и сделать по-детски счастливой — ведь на арене мама и папа! Но вот то, что следует знать при выборе профессии, — ее трудную, вернее, трудовую сущность, она не видит, не знает».

«Хочу я, чтобы моя дочь пошла за мной? — спрашивала себя Нина. — Или не хочу? Опасаюсь этого?» — «В какие-то моменты я этого желаю безоглядно», — признавалась она себе. Когда в последние секунды номера на них обрушивались аплодисменты и яркий свет начинал мигать от слез радости, а к ногам летели цветы, и она ощущала ликование зрителей — детей и взрослых! — и ощущала, какую власть над душами людей имеет красота и энергия ее искусства, она, конечно, желала своей дочери своей судьбы. Но когда она страдала от боли, когда она, превозмогая боль, шла на

арену, когда она засыпала и просыпалась с болью... Какая мать может пожелать этого своему ребенку?! И Нина говорила: «Пусть она станет кем угодно, но только не артисткой цирка».

Нина начала делать специальные упражнения, больничная палата превращалась в маленькую арену. Эдуард и Ахмед, нештатные пациенты, находились в палате постоянно. Они поддерживали Нину в ее усилиях.

Однажды утром Эдуард пришел раньше обычного.

— Что-то случилось? — встревожилась она.

— Да, — ответил он, — есть новости. — И придал своему добродушному лицу неприступный вид.

Она приподнялась на койке, почувствовала: он скрывает важную, но хорошую новость. Она его видела насквозь.

— Говори, — сказала она. — Я готова к любому удару, — добавила тихо, принимая игру.

— Нас следует поздравить.

— С чем?

— Мы погорели на Всесоюзном смотре артистов эстрады. Ты помнишь наше выступление?

— Конечно, — сказала она с трудом. — Мы же отлично выступили. Неужели не вошли даже в пятерку?

— Нет, — проговорил он и посмотрел в ее огромные чистые глаза.

— А кто же первый?

— Первых много. Но... — Он прошелся вдоль койки. — Дела наши действительно сложны. Нам надо крепко готовиться. Нам надо совершить невозможное.

— Интересно, что?

— Подвиг.

— Не говори глупостей. К чему нам надо готовиться?

— К самому выдающемуся выступлению нашей жизни.

— Неплохо. Я готова.

— Читай, — сказал он, — читай. Или нет, я прочитаю сам. — Он встал в эффектную позу и начал: «Вы вошли в число победителей Всесоюзного конкурса. Теперь ваш номер должны увидеть в Гаване в дни XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Желаем удачи в Сочи и хорошей подготовки к всемирному форуму. Отдел культуры ЦК ВЛКСМ».

— Что же ты тянул? — спросила она ликуя. — Что же дурачился?

Он закружил ее по палате на руках. Оставил на койке:

— Жди меня здесь, в коридор не выходи!

Врач не рекомендовал категорически.

Врач не рекомендовал.

Врач разрешил незначительные нагрузки.

Врач сказал: «Самообладание у вас, Нина, необыкновенное».

Они начали с полных нагрузок и вскоре решили: сочинские гастроли можно продолжить.

Лишь один раз, уже в самый канун первого после травмы выхода на арену, Нина вдруг ощутила знакомый по Нью-Йорку страх преодоления высоты и вращения на этой высоте, с которой уже дважды соскользнула вниз, и этот страх, как близкая шаровая молния, проплыл рядом с ее сердцем, обжигая и слепя, и заставил Нину искать защиту и опору в неистовых тренировках.

Она рано узнала о человеке то, что некоторые не узнают никогда. Она узнала, что силы человека неисчерпаемы. И даже когда кажется, что их уже нет, что они исчерпаны, они есть. Их надо вызвать к жизни. В этом «вызвать» и заключается главное. Одним это удается, и они становятся еще сильнее, и так после каждой победы, а другим не удается, и они сходят с дистанции и растрачивают свои силы на пустяки, не подозревая, как щедро были ими одарены. Узнав это на своем опыте, Нина смело несла знамя своего трудного ремесла и, что бы с ней ни случалось, никогда не опускала руки и никогда не чернила красивое и опасное дело, которое избрала однажды.

* * *

Фрагмент № 2. Подходила к партнерам, Эдуарду и Ахмеду Дианову, и снова становилась в колесо, но теперь уже в профиль к зрителям, и партнеры поднимали ее вверх, а потом колесо с нею оставалось в руках одного из них, а она начинала выполнять «бланж» на руках, а затем делала «вис» на носках, вытянувшись в спицу, сверкающую на солнце, зависала вниз головой на одних лишь носках, на самых кончиках носков, и ее берегом,

ее землей и порогом оставалась тонкая окружность титанового колеса... и выходила на внешнюю сторону окружности колеса, показывая, в каком состоянии человек может владеть своим послушным телом, и снова «плыла по воде», но опорой был тот же титановый обод...

«Удержи меня в этот миг».

* * *

Гастроли в Сочи закончились полным триумфом.

Все оставшееся до отъезда на Кубу время теперь следовало подчинить репетициям. Времени, по существу, уже не было. Кроме этого, Эдуард как режиссер вносил все новые и новые элементы в их многосложный номер, и элементы эти надо было увязать с привычным рисунком исполнения.

Он постоянно настаивал на поиске, и они, Нина и Ахмед, поддерживали его в этом всемерно. Они шли на любые усилия, лишь бы доказать руководителям программы: обновления необходимы. Стимулом к творческому переосмыслению своих выступлений, как ни странно, часто бывали беспардонно заштампованные, годами неизменные номера многих артистов цирка. Да, это злило и заставляло постоянно искать, обновлять, придумывать, чтобы их собственный номер не вызвал такого же отношения со стороны творчески активных коллег.

Свои новинки Бернадские оправдывали не только творческими, эстетическими соображениями. Они выкладывали и экономическую эффективность затрат, представляли полные финансовые расчеты нововведений, затраты на реквизит. Неудивительно: Нина заканчивала экономический факультет института.

Итак, они готовились к выступлению на острове Свободы. Нина восстанавливала свою спортивную форму после сочинского случая. Она с утра до вечера трудилась на арене. Они использовали каждый час, и наступил день отъезда.

* * *

Огромный океанский лайнер «Шота Руставели» ровно и мощно шел по великому простору Атлантики. Когда садилось солнце и наступали прохлада и штиль, Ни-

на, Эдуард и Ахмед поднимались на палубу и снова начинали ежедневные тренировки.

Они знали: в Гаване, на виду у всего мира, они должны сказать свое лучшее слово. Они должны отработать свои лучшие семь минут.

Репетиции были напряженными, штормы и даже средняя волна сокращали время работы. Пассажиры и матросы, свободные от вахты, приходили смотреть репетиции. На фоне древнего океана отрабатывались древние и всегда юные движения, оцененные человечеством еще в древние времена, до цивилизации, и возведенные цивилизацией в ранг прекрасного, манящего и желанного искусства. Искусства вечного, как человек, и океан, и его волны, и рыба.

Те, кто смотрел репетиции, были вознаграждены: перед глазами проходила отработка каждого элемента сложнейшей программы. Отработка трудная, опасная, изматывающая. А потом приходил сам номер — динамичный, блестящий, одухотворенный. Сладкий на вид и горький на вкус.

Горько-сладкий, как средний возраст.

Когда их путешествие через Атлантику подходило к концу, тренировки были усилены.

Однажды к ней подошел матрос и спросил без вступления: «Сколько вам платят за этот номер?»

Нина ответила, и он переспросил, Нина повторила, он сказал: «Я получаю такую сумму, не делая ни одного движения». И ушел, победитель.

Судно завершило рейс, и они увидели розовые небоскребы Гаваны.

Гала-концерт советской делегации был прекрасным. И номер Бернадских был тоже на высоте. Как всегда, она работала без лонжи, что являлось их неизменным принципом, несмотря на исключительную сложность любой другой страховки из-за громоздкого, быстро вращающегося аппарата.

...Они стали лауреатами XI Всемирного фестиваля. И наступила ночь карнавала — их самая трудная ночь.

Фрагмент № 3. Подбрасывали колесо вверх, после того, как сверкающая кароса остановилась, а они сошли на асфальт набережной, и Нину с «фуса» забросили вверх тоже, и она долетела до колеса с вытянутыми вперед руками и ухватилась за титановый обруч, приняв по-

зу «богин». Вращение колеса становилось все напряженней, и, хотя все это было привычным, она ощутила много непривычных моментов, в которых некогда было разбираться, и она их игнорировала, заметив, однако, как трудно Эдуарду удерживать штатив с колесом, так как вокруг его ног заплетались разноцветные обрывки серпантина, но это было все же не так опасно. Опасным было другое: полное отсутствие ориентиров, к которым он привык в цирке, в помещении, и которые совершенно необходимы в их работе: ведь малейшее отклонение от вертикали грозило завалом огромного вращающегося колеса с человеком, выполняющим в нем сложнейшие фигуры. «Удержи меня в этот миг». Над ними летели ночные легкие облака, прозрачные даже ночью, и сквозь них светились звезды, и, когда облака вдруг пролетали и оставались чистые звезды, это тоже не облегчало их положения, так как вместе с движением человека смещалось и двигалось в сторону все небо Кубы, но выступление они продолжали. Нина перешла к выполнению «ласточки», и небоскребы стали вращаться еще быстрее, вместе с небом, а тысячи людей, освещенных прожекторами и ртутными лампами Малекона, превратились в человечество, где нельзя было узнать кого-то одного. В этот момент она ощутила главного врага их номера и их стараний. Она ощутила нарастающую мощь полуночного ветра с океана. В один миг они остались один на один с ветром — люди на набережной его почти не почувствовали или встретили с облегчением, а они — и она, и Эдуард, и Ахмед — поняли, что номер нужно прервать на этом этапе, в это мгновение, прямо сейчас, на глазах у всех, или ветер опрокинет живую, совершенную, как человек, пирамиду... В следующий миг они приняли новое решение, достойное высших профессионалов. Эдуард дал новую закрутку колесу, а Нина вдруг решила восстать против ветра и довести номер до прекрасной, отточенной стойки на руках, на ободе, в гудящем вращении титанового колеса, и в тот же момент она — вышла в свечу, ее стройное тело взвилось вверх под еле заметным углом к стене ветра, вверх, параллельно сияющим в электричестве небоскребам, над коралловой набережной и над черным Мексиканским заливом и маяком Эль-Морро с его чистым ярким лучом, осветившим ее в ее победной, ликующей стойке! Какие были секунды!

...Хороший цирк равен хорошему театру, хороший театр равен хорошему цеху, хороший цех равен хорошему аэродрому, хороший аэродром — хорошему полю, хорошее поле — хорошо написанной книге.

Спустя несколько месяцев после возвращения из Гаваны за высокое исполнительское мастерство и большие достижения в области циркового искусства Эдуард и Нина Бернадские, Ахмед Дианов были удостоены премии Ленинского комсомола.

Наступило время новых гастролей.

«Удержи меня в этот миг».

ВЫШЕ ГОР

...О Дулат, человек бессилен
прервать развитие знака,
круг неба нельзя оторвать от звена Земли,
как Землю со всеми морями, хребтами,
Илй,
нельзя оторвать от корней
одинокого Злака.

(Олжас Сулейменов, «Глиняная книга»)

Старик был на лошади и ехал впереди, а преступник шел пешком сзади. Тропа, по которой они поднимались вверх, вела к дому старика. Дом стоял в глухом ущелье Заилийского Алатау.

К моменту их встречи общий срок приговоров, вынесенных преступнику за его разбой, составлял 45 лет. А от роду ему было 30. В последнее время он находился в бегах.

Старик этого, конечно, не знал. Он задержал человека за мелкое браконьерство: только и всего. Теперь они поднимались в его дом, чтобы составить акт. Да, только и всего.

Старика звали Абдрахман Бегимбетов.

Одним из свойств цивилизации является, видимо, то, что созидает она наглядно и громко, а разрушает незаметно. Так было покончено, например, со способностью людей предчувствовать опасность. И прежде всего опасность внезапную.

Старик ощутил угрозу смерти, хотя и не сразу, но своевременно. Почувствовав угрозу, он оглянулся. Оглянувшись, чуть изменил положение тела. Пуля, выпущенная из обреза, пробила грудь, но не попала в сердце.

Старик покачнулся в седле и упал с лошади. «Теперь, — подумал, наверное, преступник, — на след не наведешь». И, свернув с тропы, ушел в густые заросли барбариса.

* * *

Мир, покинутый справедливостью хотя бы на день, не просуществовал бы и часа. Но ведь он стоит.

Стреляя в старика, преступник не думал, что его выстрел будет услышан. Дом, к которому они, по существу, уже подошли, показался ему пустым. Но в доме был Жолдасбай — сын старика, приехавший из Алма-Аты проведать отца. Он и услышал близкий выстрел. Не одеваясь, вышел на порог. Светился лед близких скал, падал в сумерках снег. Послышался храп коня. Жолдасбай одним прыжком достиг тропы. Отец лежал лицом в снег, конь стоял рядом:

— Отец! — позвал Жолдасбай.

Тот не ответил. Он перевернул старика на спину. Старик даже не застонал. «Искать стрелявшего? Но что будет с отцом?» Жолдасбай запустил руку под ватник — все было в крови. Старик был прострелен навылет.

* * *

Алма-Ата готовилась ко сну, когда они добрались до ближайшей к предгорью больницы. В больнице был только дежурный врач. «Нужна сложнейшая операция, — сказал он. — А я терапевт».

Старик лежал на узком твердом топчане и, казалось, спал. Его лицо не выражало никаких чувств. Его сознания не касался ни один звук.

Он был в затертых, заштопанных черной дратвой штанах и в ватнике, изодранном кустарником и иглами елей. На ногах были пимы.

— Кто он? — спросил дежурный врач.

— Лесник.

— А кто вы?

— Его сын.

— Ясно, — кивнул врач. — Вот вам адрес хирурга. Это рядом.

Жолдасбай уехал и нашел хирурга. Они вернулись в больницу. Хирург осмотрел старика, вызвал санитаров.

— Потеря крови, — сказал он, — критическая. Как это произошло?

— Не знаю, — ответил Жолдасбай. Ему не очень-то понравились тон и настроение хирурга. Взглянув на отца, он добавил: — Придет в себя — расскажет.

— Боюсь... — начал хирург, но осекся. Закончил еще более неуклюже: — Боюсь, что один из нас в себя не придет...

Старика увезли. Началась подготовка к операции. Жолдасбай долго потом помнил слова хирурга, но не как образец прозрачного приговора отцу, а как пророчество, которому суждено было сбыться самым нелогичным образом.

* * *

Тратить время на определение источника кровотечения — внутренний, внешний? — можно было только «под прикрытием» переливания крови. Начали. Пошел первый час операции.

* * *

Жолдасбай сидел у окна, но смотрел в пол. Он думал об отце. Старая истина: пока все идет нормально, судьба и жизнь старших мало занимает младших. Он любил отца, и это, пожалуй, все. Но вот несчастье. И жизнь отца, прошедшая в глухом горном ущелье, сразу же заняла главное место в его собственной жизни. Что же там происходило, в ущелье?

* * *

Старик, лежавший сейчас на операционном столе, родился в 1908 году, в 12 лет остался без отца. Он выполнял любую работу: пас скот, пилил дрова, косил на горных склонах траву, в снежные зимы помогал подкармливать зверье.

В 1934 году его пригласили в контору лесничества.

— Абдрахман, — обратились к нему, — ты знаешь, кем был твой отец?

— Да, — сказал он, — знаю.

Как и каждый казах, Абдрахман с детства чтил один из самых благородных законов своего народа: знать как минимум семь поколений своих предков.

— Мой отец Бегимбет Саркыбаев, — сказал он, — был лесником. Его отец — Саркыбай — был тоже лесником. А отец его отца...

— Хорошо, — сказали ему, — мы хотим предложить тебе то же самое: стать лесником. Ты вырос в этих местах и знаком с горным лесом. Согласен? Да или нет?

Абдрахман помнил поговорку: самое короткое слово в казахском языке — нет, самое длинное — да. Подумав, сказал: «Да». И на всю жизнь стал лесником.

То, что в мире все стремится к беспорядку, он знал с детства: бараны разбегались по разным склонам, молодые деревья росли криво, многие люди стремились хоть что-нибудь, да стащить. Став лесником, он понял: его задача, его долг — следить за порядком.

Обход, который он получил, был в лесничестве самым большим: ущелья, отщелки, семь речек, стекающих с ледников, и горные леса. Он поселился недалеко от одной из речек. Женился. Появилось хозяйство.

Замелькали годы. Война! Первым погиб старший брат Абдрахмана, вторым — средний. До отправки на фронт Абдрахмана дело все не доходило. Продолжал работу. Зимы стояли суровые. Продолжалась жизнь.

Первый брак не сложился. Создал новую семью.

...В пасмурный бесшумный день по их сердцам ударило особое горе: умер их маленький сын Кунанбай. Они предали его земле на виду у скал и высокого леса. Старик, тогда еще не старик, отвел жену Магрипу в дом, а сам оседлал коня и отправился в лес — по близким и дальним тропам. Его простодушие еще было нетронутым — он искал сочувствия у природы.

* * *

Пошел второй час операции.

— Что там? Как дела? — спросил Жолдасбай, увидев медсестру.

— Пока сказать трудно, — ответила девушка.

— Ваш хирург, — заметил Жолдасбай, — человек, кажется, нелегкий.

Девушка сверкнула глазами и скрылась в коридоре. Источник кровотечения между тем был обнаружен. Необходимо было вскрывать грудную клетку. Необходимо было перевязать поврежденный пулей сосуд. Все, что было необходимо, хирург делал.

* * *

Тревога за отца не покидала Жолдасбая. Годы и десятилетия отцовской жизни не делились в сознании Жолдасбая на лучшие и худшие, на трудные и легкие. Все в его жизни казалось одинаковым, многократно повторяющимся и ровным.

* * *

В обходе лесника были березы, сосны, елки, пихта и дикая боярка. Но было и королевское дерево: тянь-шаньская ель.

Ель!

Если человек видел ее освещенной солнцем — он не мог оторвать глаза, не мог насмотреться.

Если видел в снегопад — ему казалось, он видит сказку, а в сказке — узкий, высокий замок, растущий сам по себе.

Если кому-то доводилось видеть тянь-шаньскую ель в летние ночи, ночи, когда ее тяжелые мохнатые ветви тлеют в лунном свете — это воспринималось, как сон.

Абдрахман знал: чаще всего ели «ходят» по хребтам. Но многие уже в те годы считали: дерево следует приучить и к склонам. Могучие, прочные и устойчивые ели могли бы «держать» гору — противостоять оползням, селю.

Посадка тянь-шаньской ели стала одним из главных дел Абдрахмана. Он завозил саженцы, готовил участки, рыл лунки, трамбовал вокруг саженцев землю. За этим занятием его часто заставала ночь. На участках молодняка он работал по 10—15 часов в сутки. Косил траву, укрывал землю, трамбовал снова: корни саженцев боялись сухого воздуха.

Ель растет лишь на несколько сантиметров в год. Что за скорость? С другой стороны, куда торопиться? Впереди столетия.

...Ураган налетел неожиданно. Абдрахман и Магрипа замирали в своем доме: еще один порыв, и дом опрокинется. Или его разнесет в щепы. Трижды в течение ночи лесник выходил из дома: копны сена, заготовленного для лошади и ишака, разметало, дрова переворотило. Бревна загона для овец срывало с гвоздей. Утром его глазам открылся разбой, учиненный ураганом: корни большинства молодых елей так и не познали соли этой земли. Абдрахман вздохнул — что поделаешь? — и начал сначала.

Хорошо бы тот ураган был единственным. Но их было много — ураганов, и бурь, и ветров. Они обрушивались на Абдрахмана в течение всей его жизни. Нередко сметали то, что он растил на своей земле.

Он завозил новые саженцы.

...В пустой и низкий день их снова постигло горе: не стало дочери Каламкас. Магрипа выглядела безутешной, Абдрахман потерянно кружил по дому, натыкаясь на тяжелые табуреты, пимы, двери. Они предали дочь земле на виду у скал и высокого леса, рядом с братом Кунанбаем. Старик, тогда еще не старик, отвел жену в дом, а сам оседлал коня и отправился в лес — возможно, как прежде, в поисках опоры.

* * *

Пошел третий час операции. Наступило время дренирования плевральной полости. Хирург работал упорно и молча. Ни одним намеком он не выдавал ни своих надежд, ни опасений.

* * *

Сын сидел у окна и думал об отце. Вот он, судный день, думал он. Ни в чем мы не виноваты перед отцом, а чувство вины не проходит...

* * *

У каждого лесника много дел. Абдрахман прибавил новое: решил обсадить склоны сопок яблоневыми садами.

Зачем? Действительно, зачем? Человек, задающий такой вопрос, сам вряд ли взялся бы за подобное дело. Есть вопросы разрушающие. В философии они, пожалуй, даже необходимы, ибо порождают новые плодотворные поиски, в реальной жизни часто наоборот: обессиливают намерения и порывы. Лесник не философствовал. Он взялся за выкорчевывание дикого кустарника, стал готовить участки для посадки. Лесничество поддержало Абдрахмана, помогло с саженцами. Молодые яблони он возил в горы на лошади. Корни укрывал мешком.

К самым высоким лункам, у вершины сопки, саженцы поднимал на плечах. Брал в охапку и нес. Жена поддерживала деревца за кроны, он закреплял корни в лунках и поливал речной холодной водой. Воду таскали снизу. Тропа от пролитой из ведер воды становилась скользкой, они протаптывали новую. К вечеру Магрипа уходила заниматься детьми и хозяйством, он продолжал посадку.

Потом они рыхлили и пушили землю вокруг саженцев. Эту работу делали с утра. Потом вновь таскали воду, поливали лунки. Он проверял каждое деревце — ровно ли закрепилось в земле, достаточно ли глубока лунка.

Однажды к Абдрахману приехал из лесничества большой начальник. Прочитал бумагу: «За долголетнюю и безупречную службу в государственной лесной охране вручить Абдрахману Бегимбетову знак «Отличник социалистического соревнования Минлесхоза». Подпись министра СССР!

В последующие годы старик не раз получал подобные бумаги — о нем знали и помнили и в Алма-Ате и в Москве.

...Всю ночь лил тяжелый ливень. Речки переполнились. Лесник лежал с открытыми глазами и думал о яблонях. Когда рассвело, он отправился к сопке. Склон был голым. Его прорезали глубокие, грязные ручьи, а внизу, на дне ущелья, у мутной ревущей реки, от ветра шевелились ветки саженцев.

Абдрахман принялся готовить участок под новые посадки. Он продолжал свою работу так, как ее продолжает горная речка: неважно, что ночью ее пережал оползень, — она течет!

Вполне возможно, он не знал слов, сказанных когда-то великим Абаем: «Достоинство человека определяется тем, каким путем он идет к цели, а не тем, достигнет ли он ее». Да, он мог не знать этих слов, но Абай сказал их лишь потому, что знал и наблюдал в своей жизни людей, подобных Абдрахману.

...Хорошо бы тот ливень был единственным — ударил, перечеркнул усилия, и точка. Но чтобы получить примерную картину разрушений, которым подвергалось дело лесника, тот ливень следует помножить на сто других. И не забыть о простых дождях. Тогда, возможно, картина и сложится.

...Подошел срок нового горя: заболела и внезапно умерла их другая дочь — Батыка. После тяжелейших лет войны страна переживала тяжелейшее послевоенное время: не выживали и многие взрослые, не говоря уже о младенцах.

В тот день Абдрахман, кажется, впервые узнал, как болит сердце. Сердце болело, как рана, — единственный вид боли, известный, пожалуй, любому леснику.

Они предали дочь земле на виду у скал, рядом с братом Кунанбаем и сестрой Каламкас. Абдрахман стоял у свежей могилы и, положив руки на плечи Магрипы, ждал, пока кончится безмолвный плач, сотрясавший ее существо. Потом отвел ее в дом и, как всегда, оседлал коня. Оседлав, уехал в лес, гонимый горем и горьким упорством.

* * *

Пошел четвертый час операции. Пришло время закрывать грудную клетку. И хирург принялся за это дело — стянул ребра и сблизил края.

* * *

Сын сидел и ждал. Возрастающая тревога за исход операции мешала ему осмыслить жизнь отца. Не способен он был в то время и на то, чтобы осознать влияние, которое отец на него оказал. Но ощущение, несколько раз коснувшееся его сердца, не оставляло его и не ослабевало.

Лишь спустя какое-то время Жолдасбай понял, что речь идет не об отцовской, вернее, не столько об отцовской, сколько о его собственной жизни: как бы в ее все убыстряющемся темпе, в который он попал, покинув горы, не утратить то главное, что ему открылось в жизни старика,— постоянный расчет на собственные силы! Когда ты один, тебя никто и ни в чем не подменит. Идут годы и идет жизнь: расчет и надежда на самого себя становится сущностью человека. Старик с благодарностью принимал любую помощь, но если ее не было, он не впадал в уныние. Он не ждал лучших времен и со всеми делами управлялся сам. «У многих из нас это выглядит иначе,— думал Жолдасбай.— Вначале мы полагаемся на других, ждем, что кто-то возьмется за дело раньше нас, облегчит наши заботы, и лишь потом вспоминаем о собственных силах, словно не с этого надо начинать».

Жолдасбай смотрел перед собой. До него доносились неясные, глухие звуки.

* * *

Время гроз предвещало пожары. По ночам свет молний раскачивался над ледниками, вспыхивал в глазах лисиц и рысей. Лесник не слезал с коня: в это время года обход требовал особого внимания. Огненные бедствия в горах Абдрахман знал с детства. Тесно переплетенные ветви горного кустарника и наружные корни деревьев крепко удерживали крупные и мелкие камни. Но лишь до тех пор, пока не вспыхивало пламя. Как только начинался пожар, ветви и корни, сгорая, отпускали камни. Набирая силу на крутых склонах, верхние камни увлекали за собой новые и новые — все разрушающий раскаленный камнепад.

Десятилетиями осыпались хвойные иглы — толщина их слоя доходила до метра. Огонь, проникая на всю его глубину, раскалял «хвойный торф» до плавления. Абдрахман бросался к горящим елкам — ноги попадали в огненную трясину.

Кто не помнит, как горел Алма-Арасан? Линза дыма была видна из города.

Он знал: избежать большого пожара можно, только победив малый. По 20—30 раз он ходил к речке. Вверх — вниз, вверх — вниз. Он бил пламя, заливал водой, где было можно — песком, где получалось — зем-

лей. По крутому подъему вверх — вниз. Час, два, три подряд. Деревья гибнут и в малом пожаре. Один удар молнии — и дымящаяся пустыня. После сражения с огнем Абдрахман сидел на земле, весь черный, в саже, и смотрел на остатки зеленого мира. Его обожженные руки лежали на коленях и вздрагивали, словно продолжали соприкасаться с открытым пламенем.

Черный, дымящийся склон...

Если бы то была одна гроза. Но грозы возвращались постоянно. Если бы кто-то сложил их вместе, они наверняка сожгли бы весь мир. Но здесь, на участке в несколько километров, на территории Абдрахмана им всегда давался отпор. Ни одно нападение не принесло им полной победы. Убитыми оказывались деревья, а не он.

Он сажал новые деревья.

А горе снова поджидало его и Магрипу. Заболел и умер маленький Егинбай. Мальчик скончался тихо и печально.

Ни один ветер ущелья не миновал Абдрахмана — его лицо было всегда темным. Но теперь оно стало черным. Он с огромным усилием делал то, что положено в скорбный день. Он словно бы онемел. Болело только сердце — боль была теперь знакомой и нарастала, как горячее удушье.

В тусклый, тяжелый день они предали его земле, на виду у скал, рядом с могилами брата и сестер.

Абдрахман, как и прежде, отвел жену в дом, под крышу, а сам оседлал коня и двинулся в лес. Есть вещи, с которыми человеку не совладать, думал он. К ним, безусловно, относится смерть.

* * *

Пошел пятый час операции. Хирургу нужно было приступить к обработке наружных ран. И он приступил. Он иссек края, наложил швы. К этому времени, констатировал хирург, кровопотеря по массе была восстановлена.

* * *

Жолдасбай продолжал думать о жизни отца. Лишенная внешних примет и ограниченная несколькими ущельями, она показалась ему вдруг короче даже того времени, которое продолжается операция.

Но ведь так можно сказать о любой жизни: была долгой, но прошла быстро!

Безусловно, старик во многом, а точнее, в своей основе походил на своего отца, и деда, и прадеда. По жилам подобных людей из поколения в поколение течет одинаковая кровь, в них живет одинаковая страсть — страсть деятельности, потребность в работе. Это, в сущности, и оказывается тем главным и, пожалуй, единственным, что позволяет человеку не сломиться в минуты трагических утрат. Люди, подобные старику, сливаются с природой прежде всего потому, что в их жизни, как и в жизни природы, все и всегда находится в работе. Ничто в природе земли не испытывает отчаяния — лишь человек. И оно тем сильнее, чем меньше человек с природой слит.

* * *

Звери отцовского участка — кабаны, лисы, косули — манили в горы многих. Влекли и стройные ели — предмет предновогодних вожделений браконьеров. В те годы это было подлинным бедствием лесников. Браконьеры, конечно, избегали встреч с Абдрахманом. А он искал: обязанность лесника!

Они были втроем — трое молодых горожан в хороших куртках и кожаных перчатках.

— Что вы здесь делаете? — спросил старик.

— Ходим, — ответили те.

Много раз жизнь учила его: распознай в человеке плохое, а хорошее проявится само. Он искал в человеке хорошее.

Браконьеры церемонились недолго. Когда он понял, кто они, было уже поздно: он ведь слез с коня!

Они скрутили ему руки, подвели к осине, которую он сажал на заре своей службы, достали веревку.

— Здесь все государственное! — хрипел старик.

— Значит, наше, — сказали они.

Двое приподняли его над землей прижали к стволу, а третий обвязал веревкой: «Отдыхай!»

Они ушли, а он остался. Двадцатиградусный мороз потрескивал в валунах и сучьях. Старик вертел головой — искал помощи. Пространства были безжизненны.

Ничто не нарушало тишины мира, в котором он был распят.

Он понимал: надо двигаться. Но как? Шевелил пальцами ног, рук. Мороз сковал лицо, затем ноги — пимы помогают, когда ходишь. Дышать становилось все труднней.

Через час старик провалился в беспамятство. Его сознание угасло.

Сколько пробыл на морозе, он не знал. К нему пришел незнакомый человек — заметил неладное с другого склона ущелья, где собирал тронутый морозом барбарис. Почти одновременно с незнакомцем к Абдрахману примчалась Магрипа — ее к старику привел конь, брошенный браконьерами.

...В разгар «гостевого» сезона в его доме случилось новое горе: скончался только начавший жизнь Ахмед. На этот раз сердце Абдрахмана охватило пламя гнева: в чем вина детей? В ненастный, погибельный день они предали его земле на виду у скал, похоронили рядом с могилами Кунанбая, Каламкас, Батыки, Егинбая. Он отвел жену в дом — к живым. Оседлав коня, он впервые погнал его к скалам, на виду у которых протекала его жизнь. Когда тропа кончилась и выше остался только лед, он спрыгнул с коня. Куда дальше?

Почувствовав, что умирает от немоты, он впервые, кажется, стал кричать, как не кричал даже в бурю, загоняя скот. Он стегал воздух кнутом и надрывался в крике — ругался. Скалы молчали: что им кнут? что им крик?

Потом он оседлал коня и тихо поехал вниз: кто же освободит его от бремени жизни?

* * *

Хирург вышел из операционной. Прошло 5 часов. Вернее, 4 часа 50 минут. По его землистому, тяжелому лицу ничего нельзя было понять: уставший, даже изнуренный человек. Похоже, еле держался на ногах.

— Ну что? — поднялся ему навстречу Жолдасбай.

— Ничего, — ответил тот. — Вези меня домой.

— А как отец?

— Время покажет, — сказал хирург.

* * *

Время показало: старик выдержал, начал набирать силы и медленно, но неуклонно возвращался к жизни.

Время показало: хирург был прав, произнеся пророческие слова: «Боюсь, что один из нас...» Жолдасбай приехал к нему с благодарностью — отец спасен! — и внутренним раскаянием — как же недооценил такого врача! — но, приехав, узнал, что хирург скончался. Инфаркт. «Он давно болел», — сказали ему.

В урочный день, в урочный час завершились бега бандита, стрелявшего в старика. Он был задержан и опознан в Семипалатинской области. В начале этой истории уже говорилось; общий срок приговоров, вынесенных ему за разбой, составлял 45 лет. А от роду было 30. Что ж! Непрожитые, не отсиженные по тюрьмам годы, превышающие уже прожитые и отсиженные, только подчеркивали нелепость и бессмысленность этой жизни. Справедливость, на которой держится мир, восторжествовала.

Старик вернулся в горы лишь через год. Он старался стать прежним — взваливал на себя всю работу, но стать прежним уже не мог. Ранение было слишком тяжелым. Он остался инвалидом.

Никакие природные стихии не могли его свалить: ни тяжелые ливни, ни сильные ураганы, ни ослепительные грозы. А ничтожный человек едва не свалил.

Династия лесников Бегимбетовых, однако, на нем не прервалась. Лесником его обхода стал старший сын — Бельдыкбай. Старик отвечает теперь только за противопожарное состояние лесов.

Его род также не прервался: Бельдыкбай — нынешний лесник, Жолдасбай — автоинспектор Алма-Атинского городского управления ГАИ, Абай — студент, выпускник лесфака сельскохозяйственного института и дочь Карлыгаш подарили старику, Магрипе и миру десять внуков и внучек.

Растут тянь-шаньские ели, посаженные Абдрахманом.

Цветут груши и яблони — сады лесничества, заложенные стариком.

Стоят отличные дни весны. Жизнь старика была щедра не только на испытания. Она не раз и не два — тысячу раз! — дарила ему подобные дни. Дни щедрого сияния, отпущенные человеку для спокойного труда. И он еще до восхода седлает коня.

Вода в его речках не кончается, как бы быстро они ни текли. Запасы льда в горах не уменьшаются. Старику все здесь кажется таким, каким было 75 лет назад, когда он только пришел в этот мир — мир, огражденный несколькими ущельями, и отправился по нему в свое единственное кругосветное путешествие — путешествие к самому себе.

Новый дом в старом ущелье строили сыновья, лесничество и он сам. В его доме есть транзисторный приемник. Во время разговоров я спросил, знает ли он, что над миром нависла ядерная угроза.

— Да, — ответил он, — знаю. — И подчеркнул: — Конечно, знаю, — словно готовился противостоять и этому.

* * *

Я много раз бывал в горах Заилийского Алатау. Как и большинство людей, не очень-то интересовался, какое из деревьев, растущих на склонах, посажено человеком, а какое выросло само. Мы проходим мимо деревьев в лесу и привычно минуем человека в потоке людей.

Нас надо поразить!

Мир привычно и повсеместно тянется к случаям исключительным и необычным. Но как много открывается за одной маленькой большой жизнью, если в нее всмотреться, оглянувшись!

...Он снова седлает коня.

МИНА

НОЧЬ

Вид якоря, поднятого со дна, поразил боцмана. Сменив фонарь на более мощный — «Украину», боцман вновь перегнулся через борт, осветил якорь как следу-

ет. Так и есть: на черных якорных лапах — огромная рогатая мина. Мина!

Боцман, словно защищаясь, отвел луч фонаря в сторону. Мина исчезла.

Боцман разогнул спину. Сухой луч, описав круг по воде, снова уперся в мину. С мины стекала вода. Якорь раскачивался на тяжелой цепи. Боцман перебросил ремень фонаря через плечо, оглянулся вокруг, не сон?

Позади него, у брашпиля, стоял совсем юный рыбак — помощник.

— Не прикасайся к лебедке! — закричал боцман. — Не дергай цепь! «Голос не мой, — мелькнуло у него, — а кричу вроде бы я».

— Ты меня слышишь? — обратился он снова к парню. Тот не ответил. Боцман решил: его не слышат, ветер. На мгновение в свете четырех ламп, раскачивающихся над баком, юный рыбак показался боцману старым, грузным человеком, утратившим силы и желание жить. Боцман шагнул к брашпилю, остановился, вернулся к борту.

Капитан траулера «Болшево», наблюдавший за баком из рубки, увидел: что-то случилось. Капитан открыл иллюминатор, прокричал:

— Почему не майнаете якорь? Шторм усиливается, оставаться у мола нельзя!

— Якорь нечист! — тут же ответил боцман.

Капитан вышел на бак, направился к борту.

— Свети, — сказал он, и вместе они перегнулись через борт.

— Да, мина.

Капитан откашлялся, сказал:

— Опускать ее в море нельзя. Море не то. Волна сорвет с лап до затопления.

— Да, — согласился боцман. — Волна сильная.

— На весу оставлять тоже нельзя, — размышлял вслух капитан. — Ветер раскачает якорь — ударит о борт. Взрыв неминуем.

Что остается?

«К земле обращаться бессмысленно, — подумал про себя капитан. — Тральщик в такую погоду к нам не пришвартуется. Работать в условиях ночи и шторма не сможет ни один минер. Надо ждать утра».

— А минеры? — подсказал боцман.

— Мниеры? — переспросил капитаи. — Я о них только что думал. Сейчас они иам не помощиики. Надеяться иам ие на кого.

Бак освещался высокими белыми огиями, укрепленными иа колоннах. Раскачиваясь вместе с огиями и судном, на баке стояли трое: капнтаи траулера Рафанл Плюсиин, боцман Виктор Ковыза н помощннк боцмаиа матрос Виктор Костянеико.

Где выход? В чем ои?

Встречать иеожиданностн трезво н стойко — правило военииых моряков. Точиее, способиость. Бывший военный моряк, капитаи Плюсиии способиость эту сохранил, ие утратил в граждаиских будиях. Невероятиая ситуация, в которой оказались комаида и траулер, анализировалась нм иедолго.

— Действуем так, — сказал он. — Мину подиимаем к клюзу вместе с якорем. Между миной н бортом — как можио осторожней — укрепляем плетеиый краиец, чтобы ие билась о металл. В таком положении отходим от мола, стаиовимся иа левый якорь н с рассветом вызываем минеров. Если утихиет шторм, — добавил ои.

— А если ие утихиет? — спросил боцман.

— Будем жить с ней. Выхода нет.

Действительно, иет, согласился снова боцмаи. В отличие от капитана бомцман иикогда ие был воеииым моряком — он и в армии служил артиллеристом. В годы работы в Бахчисарае он поражал людей чрезмериой деликатиостью и мягким характером, что, к слову сказать, ие очеиь-то вязалось с его ремеслом шофера. Став рыбаком, а затем и боцмаиом рыболовиого траулера, ои, в сущности, нисколько не измеиился: та же мягкость и терпимость, та же деликатиость. Ни грома, ии молний. Люди, зиавшие о профессни боцмана со слов Роберта Льюиса Стивеисоиа, призиавали Виктора Ковызу боцмаиом, как правило, ие сразу — требовалн доказательств.

Третий человек иа баке, Виктор Костяиенко, к морю только прнвыкал — молод. В разговоре ои ие участвовал, стоял у борта, смотрел вииз, в преисподиюю.

Капитаи между тем продолжал, глядя иа боцмаиа:

— С миной работать придется тебе.

Над баком летел, завывая, солеиый ветер.

— Само собой, — тихо проговорил боцмаи.

— А помощник пусть решает сам, — сказал капитан. — Его мы можем и заменить. Ты как, Виктор?

Матрос поднял голову:

— Да я с боцманом.

Капитан кивнул: «Хорошо. За дело», — и направился в рубку.

За бортом раскачивался маятник: жизнь — смерть, жизнь — смерть... Боцман прямо-таки ощущал его движения, мощные, колебания, неимоверную тяжесть улова: 1750 килограммов якоря плюс мина. Плюс мина.

Колокол громкого боя возвестил об общесудовой тревоге. Личный состав — примерно 30 рыбаков и одна женщина, Луиза Демченко, — собрался на кормовой палубе. (Остальная часть команды, к счастью, находилась на берегу: на траулер их должны были доставить утром, перед выходом в район промысла.) Спасательные шлюпки были приспущены, нагрудники надеты.

Капитан объяснил причину тревоги.

— Ни один человек, — сказал он, — не должен покидать кормовую палубу. Никто не должен предпринимать самостоятельных действий. На рабочих местах — только я и вахта! С миной будет работать боцман.

Загремели машины — судно развернулось носом к ветру, к волне. Только так и следовало теперь удерживать «Болшево». Только так и можно было ослабить силу ветра, толкающего якорь с миной к конусной плоскости борта.

Боцман и помощник заняли позиции: боцман — у борта, рядом с клюзом, помощник — у брашпиля.

— Включай! — прокричал боцман.

Матрос включил брашпиль. Цепь дрогнула и потянула якорь с миной вверх. Боцман перегнулся через борт, навстречу мине:

— Стой!

Матрос остановил вращение барабана.

— Включай!

Цепь снова дрогнула и потянулась вверх. Боцман не отходил от клюза — отверстия, через которое втягивалась цепь. Луч его фонаря не терял рогатого шара. Тусклое сияние мины слепило его — непонятная вещь.

«Стоп!» Снова: «Включай!» Десять включений. А может, пятнадцать? Расстояние от веретена якоря до

клюза стало критическим — около метра. Боцман поднял руку, подошел к помощнику.

— Теперь на брашпиле буду я сам.

— А у борта?

— Тоже я. Ты иди на корму. Иди к ребятам, успокой их.

Матрос потоптался на месте. «Иди». Парень взглянул в иллюминатор рубки: освещенные светом плафонов, капитан Плюснин, второй помощник капитана Худяков и рулевой матрос Федоров казались артистами кино. Круто повернувшись через плечо, матрос шагнул от лебедки.

— Если понадоблюсь, позовите по трансляции.

Боцман не ответил. Он включил брашпиль — выбрал десять сантиметров цепи, остановил, направился к борту. Перегнулся, осветил мину. «Ты еще на месте? Не сорвалась?» — чуть было не спросил он. Снова вернулся к брашпилю. Включил — цепь не успела лязгнуть — выключил. К борту. От борта. К борту. Ветер гудел в колоннах, раскачивал четыре верхних огня. Смутный крест боцманской тени метался по баку, распадался на кнехтах. Амплитуда якоря-маятника сократилась: основная длина цепи — 125 метров — была выбрана. Но наступил особый момент: одно неосторожное движение — и мощнейшие тиски готовы, мину зажало бы между клюзом и лапами. Секунда — взрыв. Потому-то подбор цепи велся невиданным на рыболовном флоте способом — по сантиметрам.

Все бы ничего, но горело лицо. «А ведь на меня постоянно летят холодные брызги», — недоумевал боцман.

Последнее включение — веретено якоря показалось в клюзе. Боцман выключил контроллер, на всякий случай — и мотыль, шагнул к борту. Теперь он мог дотянуться до мины рукой — протяни и дотронься. И захотелось! Боцман сдержался. Достаточно того, что мину можно было рассмотреть в упор, во всех подробностях: вот ее старые свинцовые рога, вот короста корпуса, а вот и непременные ракушки, с одинаковым безразличием сопровождающие и жизнь и смерть. Рассматривать, однако, было некогда: траулер, несмотря на старания капитана, стоящего на руле, раскачивало все сильнее. Черным бокам мины срочно требовалась подушка!

Боцман неотступно следовал важному правилу рабо-

чего человека: если тебе предстоит трудное дело — не тяни время, приступай сразу, не раскачиваясь Тебе же лучше! Он притащил на бак плетеный кранец, уложил его рядом с лебедками, размотал три веревочных конца и, размотав, принялся скреплять их с петлями. Центральный конец он скрепил с гашей — основной петлей кранца, боковые — левый и правый — с центральным. Затянув узлы, он перенес кранец к борту.

— Помощь не нужна? — неожиданно резко загремели динамики.

Боцман вздрогнул, разогнулся, поднял правую руку вверх: нет, не нужна. Капитан увидел, но повторил:

— Самому ведь трудновато!

Не нужна, нет, ответил боцман. «Лучше уж я один, — подумал он. — Лучше один, чем пятеро или даже двое». Страх перед миной, перед взрывом, перед гибелью не покидал боцмана. Иногда он ошпаривал его кипятком, иногда боцман чувствовал — замерзает! В сердце боцмана, его сознании сражались два давних врага — страх и долг. Страх, рожденный от века, и долг, обретенный человеком в веках, еще никогда не сталкивались в нем с такой силой. Но каким бы ни был страх, долг все же не уступал — креп и одерживал верх. Боцман знал: 30 человек ожидают спасения. 30 человек надеются на него — не на судьбу, а на него. Он, и только он мог выполнить работу, которой был занят сейчас, здесь, на баке, рядом с миной, один на один с ее погнутыми рогами, и от того, как будет выполнена эта работа — понимал боцман, — в сущности и будет зависеть все: и судьба их всех и жизнь каждого.

«Мой долг прост, — мог бы сказать боцман, — я должен сработать подушку для мины».

Он поднес кранец с болтающимися веревочными концами к клюзу, улегся животом на мокрый раскачивающийся борт и завел кранец между бортом и ближним боком мины. Затем, придерживая кранец одной рукой, он пропустил через клюз центральный конец, потянул его на себя и, приблизившись к вьюшке, закрепил. Кранец, таким образом, оказался прижатым к борту и веретеном якоря и натянутым веревочным канатом.

Боцман утер пылающее лицо, вернулся к клюзу и, поймав второй канат — правый, протянул его за бортом к ближней утке — металлической скобе. Закрепив,

проверил узел. Сойдет. Канату дал необходимую слабину — для последующей регулировки. Шагнул назад, к клюзу.

Неожиданный порыв ветра чуть не сбил его с ног, но он удержался. Огляделся — штормовое море гремело и бушевало, и странно, что он о нем совершенно забыл. «Вот и напомнило».

Взявшись за левый канат кранца, он протянул его через роульс — по периметру носа — и закрепил за дальнюю утку. Главное дело было сделано — кранец оказался на трех растяжках. Боцман снова навалился животом на борт, приблизился к мине и стал регулировать положение кранца: выше — ниже, ниже — выше. Добившись совпадения с миной по вертикали, взялся за горизонтальную регулировку: вправо — влево, влево — вправо. Если кранец нужно было подогнать вправо, он шел к правой утке, распускал узел, дергал за канат и после натяжки онемевшими пальцами затягивал новый узел. Затем проделывал то же самое с узлом левого каната. И вновь, свесившись через борт, наблюдал за кранцем и старался определить, в каком месте мина расходится со своей подушкой.

— Так будет нормально? — бормотал он. — Или сместить влево?

Теперь он все чаще заговаривал с миной. Однажды, поймав себя за этим прискорбным занятием, что называется, с поличным, он смалодушничал и возразил самому себе: «Может быть, она последняя, с кем я разговариваю».

Наступила минута, когда боцман прошелся по железному маршруту «клюз — ближняя утка — дальняя утка» в последний раз: уже как инспектор. Канаты были натянуты, узлы — мертвые, совпадение кранца с миной — идеальное. Он потрепал узлы, взял фонарь и в последний раз осветил мину. «До утра», — хотел сказать он, но промолчал и выключил фонарь. Невероятное зрелище поразило его в следующий момент: мина светилась! Она была видна при выключенном фонаре! Он снова включил фонарь — красноватый свет залил ее бока, сукровицей проступил на свинцовых рогах. Боцман выключил свет. Видна! И почти в ту же секунду он заметил: видна не только мина. Видны волны, и виден горизонт — планка рассвета выравнивала бушующее

море, а слева, на севере, была видна земля, неподвижный, надежный берег. Он не верил глазам: рассвет! Он четыре часа возился с миной?! Пораженный открытием, он решился покинуть бак. Навстречу ему шел капитан:

— Все?

— Как будто.

— Давай теперь отдохни.

Боцман подошел к своей каюте — № 48, открыл дверь и переступил порог. Минуту-другую он постоял не двигаясь. Затем распахнул иллюминатор. Грохот волн и крик чаек — скрежет жестянок — лишь на мгновение привлекли его внимание. В следующую секунду он уже ничего не видел — глубинная, донная судорога сотрясла его организм, подкосила ноги и, похоже, вовремя разрядила нервы и выручила сердце.

ДЕНЬ

— Минеры выходят в море, — сообщил на «Болшево» оперативный дежурный производственного объединения рыбной промышленности «Атлантика».

Судовой радист принимал наставления капитану: «...повысить готовность всех без исключения средств борьбы за жизнь... произвести герметизацию судна — в случае взрыва мины и повреждения корпуса, наполнения водой двух смежных отсеков приведет к затоплению судна...» В море, несмотря на шторм, вышли капитан-наставник объединения В. Василевский, морские минеры, капитан 3-го ранга О. Попов и старший лейтенант В. Николаев. Сразу же за волнорезом, над которым тремя тоннами стекловаты висели клубы брызг, их буксир «Витязь» превратился в безымянную пробку. Тем не менее путь был одолен: они подошли к «Болшеву». Попов распорядился:

— Заходите с кормы — и вдоль борта. При команде «право руля» — отвал под прямым углом.

На баке «Болшева» стояли трое: капитан Плюснин, матрос Костяненко — ночной помощник боцмана и сам боцман Ковыза — после утренней «разгрузки» в каюте он сразу же вернулся на бак.

— Пока мина здесь, — заявил он, — мое место здесь тоже.

Попов сказал в микрофон:

— Сделаем круг, рассмотрим ваш улов, решим, как быть.

До борта «Болшева» — 20—25 метров.

— Ближе! — скомандовал Попов.

— Ближе нельзя — швырнет на борт.

— На руле капитан — и швырнет на борт?

— Да, швырнет.

— Тогда — на новый круг. Мордотреп и правда за пять баллов.

Капитан буксира отвернул вправо, спрямил курс и резко взял влево: новый заход.

— Опасно? — спросил Василевский.

— Любая железка, — ответил Попов, — может оказаться опасной.

Он знал: совсем недавно в одном из южных городов страны при строительстве обелиска разыгралась трагедия — два экскаваторщика погибли, зацепив бомбу 1854 года — тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года! Попов знал: рыболовный траулер «Ливадия» заловил в трал обломки самолета — 40 лет на дне, но боезапас в сохранности. В водах Северной Атлантики в трал нашего траулера однажды попала шальная торпеда: по корпусу надпись — на английском языке. Еле отделались.

И Попову, и Василевскому, и Николаеву было хорошо известно: в советских водах опасные от мин времен войны районы давно протралены, очищены и открыты для надводной навигации. Но известно ведь и другое: минировались в годы войны не только морские акватории. И реки — тоже. А куда текут все реки земли — знал еще Екклезиаст. (Информация: недавно в одной из рек европейской части СССР была обнаружена и выловлена якорная контактная мина — к счастью, она оказалась без взрывчатки — один корпус. Но ведь это — к счастью. И ведь путешествовала!)

— Я, — заявил О. Попов, — считаю неопасной только ту мину, которая обезврежена моими руками. Или руками моих друзей, — добавил он, подмигнув Николаеву, — даже совсем юных.

После второго осмотра Попов взял микрофон и обратился к капитану «Болшева»:

— Мина времен войны. По обнаруженным нами при-

знакам и в том положении, которое вы ей придали, непосредственной опасиости для команды оиа ие представляет. Но работы по ее полному обезвреживаиию, — добавил Попов, — в условиях такого шторма вестись не могут — это иамного опасией ее статус-кво. Кроме того, это строжайше запрещеио инструкцией. Мина есть мииа. Поэтому ждем ослаблеиия шторма, связь — постояиная.

НОЧЬ

Ветер разогнал тучи, и иад морем появилась яркая твердая луиа. Капитан Рафаил Плюснии вторые сутки ие покидал рубку. Шторм ие утихал. Рыбаки по-прежиему иаходились на кормовой палубе без права перемещеиия — мииа. Капитаи общался с людьми по судовому радио. Рыбаки — иарод иеломкий, прочиый: успокоительных проповедей ие требовалось. Не подчинялся капитаиу только боцман — так и не уходил с бака.

— Два часа сна, — убеждал его Плюсиин, — два часа — и ты человек.

Уступил. Он второй раз за эти сутки шел по зиакомым коридорам и закоулкам своего второго дома — траулера «Болшево» и ие узиавал их. Миа? А ведь это действительно был его второй дом — даже жеиа боцмана Любовь Александровиа, иижеиер-химик, работала здесь же, иа траулере, и лишь по счастливой случайности осталась на берегу, со второй частью команды. Чем не дом?

Он пришел на корму: в луниом свете, устроившись кто как может, лежали его товарищи. Лежали его соратиики по морю. Друзья по иесчастью — заложиики давно окоичеиной войиы, которая иикак ие может окоичиться. Увидев их всех, боцмаи подумал: «Навериое, пока человек зиает, что иа иего иадеются друзья, вообще люди, — силы не оставляют его. А ведь оии иадеялись иа меия. Я зиал это». Сама эта мысль придала ему сил, ободрила. Его стали узиавать, подзывать.

— Сюда, к иам, Иванович! — позвал Владимир Терлецкий.

— У иас тоже ие твердо, — отозвался Сергей Николеико.

Зашевелились другие рыбаки.

«Хороший народ, — подумал боцман. — И терпеливый».

Сердце затопила теплая, светлая нежность (не смешно ли — в 18 или 60 куда бы ни шло, но в 48?!), и боцман остро почувствовал, как близки, как дороги ему эти люди. Прикуривая от поднесенной кем-то спички, он увидел, как неподходяще дрожит его рука, — шагнул в сторону. Покурил. Лег. Закрыл глаза — мина рядом. Явилась, словно ей приказали. В такт волнам закачались две белые цифры: 119 и 121 — номера шпангоутов у клюза. Что дальше? Он брал веревки — концы кранца и начинал заводить их за борт. Открыл глаза — все исчезло. Закрыл — тут как тут. «Спать всю жизнь с открытыми глазами? Закрывать нельзя?» — ворочался он.

Да, все вытеснялось миной. Вся его жизнь!

Любой студент педвуза, даже исключенный за неуспеваемость, знает: человека формирует вся его жизнь — день за днем. И готовность человека достойно встречать сложности и беды не обретается человеком внезапно, вдруг. Боцман не педагог. Но, как и каждый человек, живущий трудом, любимым делом, понимал тоже: даже если дух человека обитает где-то в груди, то он, дух, тем не менее не грудная мышца — за месяц не накачаешь. Главный тренер духа — сама жизнь. И он, конечно, знал: повседневность заменить нечем. Жить и работать он старался достойно. Чувствовал: его дело не даст его в обиду. Что ни говори, защищался он от мины, а жизнь была хорошей. Когда шоферил, думал он, все было нормально, ушел в море рыбачить — теперь уже семнадцатый год — тоже неплохо. Народ хороший, работа нравится, отношение к человеку уважительное. Что нужно? И дом с достатком — живи! Он не жаловался на жизнь — он жил и работал. И работал на совесть: 22 поощрения администрации только за последние годы. И снова — дом... Но даже те воспоминания и мысли, что выживали, светились, в конечном счете упирались в мину. Или в ее тень. Быстрей бы кончалась эта ночь. И этот шторм... Закрыл глаза: пошло-поехало. Руки напряглись, заныли, заработали — нелегки канаты! Открыл — луна, как освещенная мина, ветер. Мир ночи... больше сорока лет назад? Да, боль-

ше сорока лет назад: отец-садовник у кривых стволов цветущих яблонь: «Иди посмотри, как распускаются», голос матери с порога, залитого лунным светом: «Молоко будешь?» — теплая трава земли... Где теперь это село? Под водой. Где теперь тот сад? Под водой — ирригация, годы. Мина... А его лучший друг — три десятка лет — лучший друг, где он? Где он теперь? Только медь прощального оркестра. Ох, эта мина...

— Как там наша, спит? — спросил кто-то из дальнего угла хриплым голосом.

— Спит, — вздохнул боцман.

— Она спит, а нам не спится, — проворчал тот же голос.

Мина на якоре — это же надо! — заворочался с новой силой боцман. Мать говорила: «Станем на якорь». Или: «Твой брат бросил якорь». Да что там мать! Разве только мать верила в якорь? Так говорила вся суша. И продолжает говорить. Но вот, пожалуйста, — на якоре мина. Даже на якоре.

Боцман застонал и перевернулся на правый бок. Левый, с ребрами, побитыми в Атлантике, — смыло однажды волной с палубы — нестерпимо ныл, разошелся, не давал покоя, как и все в эти сутки. «А если присмотреться получше, — подумал он, — то мин полно повсюду. В морях и реках, в лесах и горах, в пустынях и полях, в сердцах и умах. Где их нет? Подо что только их не подсунули! Даже под веру в якорь».

«Но жить-то надо. Никто за нас жить не станет. И обезвреживать мины не кому-то, а всем нам — одним минерам тут не справиться». Над палубой кружил убывающий ветер. Боцман в который раз закрыл глаза, и в который раз его руки принялись за работу — и канаты пришли в движение. А мина — тяжелая, брюхатая, беременная бессмысленной смертельной силой, — двинулась к его голове, закачалась перед глазами вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево и раскачивалась так до тех пор, пока наконец ложные, бесконечно повторяющиеся усилия не истощили его окончательно и он не соскользнул в редкую роскошь сна, как и все те, кто ворочался в беспокойстве на кормовой палубе в плену шальной мины, как и все человечество, засыпающее по ночам на переполненной взрывчаткой планете.

ДЕНЬ

День сиял неистовыми красками. По молодой волне обновленного штормом моря шел военный тральщик. На его борту были минеры. Приблизились, остановились, приступили к работе. Руководил операцией старший лейтенант Владимир Николаев. «Блок коммунистов и беспартийных», как называл он свою команду, состоял из него самого, коммуниста Николаева, командира боевой части, беспартийного Валерия Балбышева и старшины 1-й статьи, командира отделения минеров комсомольца Леонида Пирогова. Пришвартовались, поднялись на бак, осмотрелись.

— Якорь с миной — вниз! — скомандовал Николаев, заняв место в шлюпке.

Боцман Виктор Ковыза и его неизменный помощник Виктор Костяненко только и ждали этой команды. Брашпиль загудел, просохшая цепь дрогнула и под тяжестью якоря с грохотом заструилась вниз.

Лапы якоря замерли у воды — над самыми волнами. Обжитая чайками мина — уже в помете! — перешла в руки минеров. «Нужен канат!». Ковыза пропустил пеньковый канат через клюз, стравил вниз. Николаев канат поймал, сказал Пирогову:

— Мину остропим бочечным способом.

Тут же приступили к делу. Боцман наблюдал сверху. «Ну и работают! Так можно работать, только когда нравится». Нравится? Неужели есть люди, которым это нравится — работать с миной? И кто-то может любить ее смертоносные потроха? Ее коросту? Ее саму? Но, может быть, любить мину необязательно? Может быть, чтобы работать так, как работают минеры, надо любить людей, которым ее потроха угрожают?

— Майнай якорь!

— Есть! — по-военному ответил боцман.

Остропованная мина вместе с якорем потянулась вверх — в последний раз.

— Следуйте за нами! — распорядился Николаев.

Траулер снялся с левого якоря и пошел по морю, ведомый тральщиком. По решению, принятому Николаевым, мину следовало лишить положительной плавучести, то есть затопить ее горловину водой и расстаться с нею в специально отведенном месте.

— Сколько в ней взрывчатки? — не удержавшись, спроснл боцман.

— Больше двадцати кнлограммов, — ответнлн с тральщнка. Боцман стоял на баке н смотрел на море: сейчас все кончнтся! Дело к фннишу. Вокруг, словно два дня назад — до мнны, лежало спокойное, как луг, море. Сверху — словно два дня назад — снял безмятежный купол неба. Грело солнце. Сухне нскры воды слепнлн глаза. Неужелн двух этнх дней не было? И неужели раскачнвающейся перед глазамн мнны не было? И изнурительного усмнрення смертн не было? И двух бесконечных штормовых ночей с миной под сердцем не было?

Вершнлся обычный обман доверчнвого человека — прнрода не желала замечать событнй. А сам человек? Нередко и сам человек. Даже тогда, когда одним общим якорем вытягнвают одну на всех смерть. Но боцман не вернл в сняние неба и моря. Он еще жил событнямн этнх двух дней. Ведь онн продолжалнсь: по зеленому морю под снннм небом мннеры решнтельно и смело плыли хороннть смерть — неважно, что смерть в то же самое время не уннмалась в другнх местах моря и сушн. Мннеры заннмалнсь конкретной — той, которую удалось скрутнть. Тысячи людей в разных концах землн, уловившие тнканье часовых механизмов самых разных мнн — военных н невоенных, прнступали к нх уннчтоженню. Что-то пронсходило н в сердце боцмана — шла работа. Чем она завершнтся, он не знал. Но знал: встреча с миной забудется не скоро. «Лучше бы, однако, я ее не виндел. Неплохо бы о ней н не слышать».

— Сбавляй ход!

«Хорошо бы вообще не встречаться нн с бедамн, ни с опасностямн. Чем плохо?».

— Малый ход!

«Но так не бывает — не дождешься. И, значнт, остается одно -- встречать их как следует. Человек ведь не рыба, которую он ловнт».

— Стоп! Трав-н-и!

«Прощай, стерва». Дело секунд — мина покннула белый свет.

Хоть эта.

ПОДРОБНОСТИ

ЧЕТВЕРГ

Последние две ступеньки подземного перехода он преодолел одним прыжком, но, оказавшись на тротуаре, увидел: к телефону-автомату тянется длинная очередь.

Так.

Занял очередь и стал ждать.

У заводского здания стояли люди — заканчивался обеденный перерыв. Двое показались ему знакомыми. Подошел, спросил:

— Где я мог вас видеть?

— Мало ли где, — ответил один. — Может быть, здесь.

— Вы с завода?

— Да.

— Мне надо связаться с комитетом комсомола.

— Я заместитель секретаря, — ответил высокий, худощавый парень.

От неожиданности Михеев мотнул головой, помолчал, проговорил:

— У меня несчастье с сыном.

— Пошли в комитет. Какой разговор на улице.

По пути в комитет Александр Михеев рассказал: несколько лет назад он работал на этом же заводе в одном из цехов, а затем перешел на комбинат.

— Я электрик, — сказал он, — и секретарь комсомольской организации комбината. В райкоме мы и встречаемся. Там я вас видел.

— Считай, знакомы, Саша, — сказал Сергей Шмидт. — Что с сыном?

— Предстоит тяжелая операция, — ответил Михеев. — Извлечение стального шарика из правого бронха.

— Как это произошло?

— Играл во дворе, замотался и вдохнул.

— Сколько сыну лет?

— Шесть.

— Чем мы можем помочь? — спросил Сергей Шмидт.

— Вот, — сказал Михеев и положил на стол свер-

ток и наскоро изготовленный эскиз. В свертке была латунная хромированная трубка.

— А теперь бы все по порядку, — сказал Шмидт.

По порядку это выглядело так.

В областной больнице случая, подобного этому, еще не было. Конечно, врачи понимали: теоретически шарик вполне мог попасть в бронх ребенка — не так уж это невероятно. Но на практике — впервые. И первое, что сделал врач, — попытался удалить шарик специальными щипцами. Традиционный метод оказался неэффективным. Остался единственный выход — также традиционный: торакальная хирургия. То есть операция. То есть вполне вероятные и непрогнозируемые осложнения в будущем: жизнь ведь только начинается — шесть лет на свете!

Так бы и пошло, как заведено.

Однако дальше, по словам Михеева, между врачом и ним состоялся такой разговор.

— В истории болезни ребенка, — сказал врач, — записано, что вы электрик.

— Да, — сказал Михеев, — я электрик.

— Тогда вы наверняка поймете то, что я сейчас скажу. Постарайтесь сделать электромагнит, который бы я смог ввести в эту трубку. Врач показал бронхоскопическую трубку. — Возможно, нам удастся избежать операции. Сможете?

— Я обращусь на завод, где когда-то работал, — сказал Михеев. — Набросайте мне эскиз.

Врач начертил контуры магнита, указал примерный диаметр шарика — 5 мм (в соответствии с рентгеновским снимком) и отдал эскиз и трубку Михееву.

— О сыне не беспокойтесь, — сказал он. — Удушливый кашель у него приостановился, значит, вентиляция бронхов пока сохранена. Это наш шанс. Действуйте.

— Так я оказался у вас, — закончил рассказ Александр Михеев. — Вот эта трубка, вот эскиз. Можно что-нибудь сделать?

Сергей Шмидт взглянул на лист бумаги, передал эскиз электромагнита члену комитета комсомола инженеру Евгению Немтинову и сказал:

— Звони Лимонову, а я свяжусь с Герой.

Они созвонились с цехами и пригласили к себе Георгия Федосимова — инженера-электрика, секретаря ко-

митета комсомола цеха (Геру), Александра Лимонова — инженера-конструктора, секретаря комсомольской организации отдела автоматизации и механизации производства, и мастера электроцеха, двадцативосьмилетнего Сергея Лаптева, который в то время исполнял обязанности заместителя начальника цеха Кировского электромашиностроительного завода имени Лепсе.

Совещание было коротким -- не более пяти минут. Задача, казалось, ясна: из электромеханического материала изготовить стержень, рассчитать количество витков, выбрать необходимую толщину проволоки для катушки, определить наиболее удобную плоскость соприкосновения сердечника с шариком -- вогнутое? Выпуклую? Ровную? — и все это увязать с диаметром бронхоскопической трубки. Главным условием была срочность.

Разошлись.

Федосимов и Лаптев вернулись в цех, связались с «соседом» — Володей Шутовым. «Нужно рассчитать диаметр сердечника»,— объяснили Шутову. Рассчитал.

Расчет показали токарю Василию Григорьевичу Санникову: «Необходим стальной сердечник». Бывший фронтовик принял срочный заказ без промедлений. Сделал.

К шести часам «конструкторы» собрались в комитете комсомола. На стол секретаря Владимира Торбеева (ныне первый секретарь Октябрьского райкома комсомола) легли два электромагнита и стальной шарик из специально расколотого шарикоподшипника — для предварительной проверки.

Проверили.

— Как будто получается,— с надеждой сказал Александр Михеев. — Шарик прилипает.

Да, убедились все, получается.

Врач Владимир Пересторонин, не дождавшись Михеева в больнице, передал, что будет ждать дома. Михеев появился около семи вечера, показал магниты, Пересторонин оделся, и они вернулись в больницу.

Здесь была снова проведена проверка. Да, шарик брался неплохо. Но сила, с которой он устремлялся к сердечнику, была все же невелика. Зато катушка не нагревалась сверх меры. Врач определял температуру на

ощупь, а ассистент засекал время. Когда проверка была закончена, Пересторонин сказал: «Приступаем к работе».

Ясноглазый Алеша Михеев и анестезиологи появились в операционной одновременно.

ПЯТНИЦА

Первым, кого с утра увидели в заводском комитете комсомола, был Александр Михеев.

— Ни один из магнитов не помог, — сказал он.

— Так, — проговорил Шмидт. — Что советует врач?

— Предлагает усилить магниты. В неудаче не видит ничего особенного.

Согласились: новое дело без неудач выглядит подозрительно.

— Трубка прежняя? — спросил Сергей Шмидт.

— Нет, — сказал Михеев. — Новая. Номер 7. А вот точная копия шарика: не 5, а 6 мм. — Он положил на стол маленький сверкающий шарик.

Шмидт позвонил в цех, сказал Федосимову: «Гера, Саша Михеев у нас, магниты не помогли».

Встретившись, стали думать. Решили: сделать два прутка, на один намотать два слоя, на другой — один.

Теперь в их цех приходили уже многие — повсюду разнеслась весть о том, что в одном из цехов несколько человек подменяют работу Министерства медицинской промышленности. Шли с вопросом: в чем нужна помощь? Шли те, с кем когда-то работал Саша Михеев. Шли те, кто работал сейчас с его отцом — Василием Леонтьевичем Михеевым, станочником, кадровым рабочим этого же завода.

Изготовили!

Проверили. Двухслойный магнит был посильней, но «затирал». Отказались. Остановились на однослойном. Окончание прутка закруглили напильником. На станке «полирнули». Проверили все нормально. Как и вчера. Осмотрев новый магнит и «подразнив» им пробный шарик, врач Владимир Пересторонин сказал: этот действительно посильнее.

— Но, — добавил он, — повременим. Алеша — парень крепкий, однако сложный наркоз два раза подряд нежелателен. Чуть потянем.

— Я могу его увидеть? — спросил Михеев.

— Конечно, — кивнул врач. — Пошли... Обратите внимание на нашу коллекцию, — задержался он в коридоре.

Коллекция была удручающей: монеты, арбузные семечки, колпачки от ручек, пуговицы, винтики, бусинки, пластмассовые детали «конструктора», бобы, галька. «Все, кроме стальных шариков, — сказал врач. — А теперь будет и шарик».

«Пусть не пополняется наша коллекция!» — прочитал Михеев призыв над экспонатами.

В Алешиной палате было тихо, мальчик просиял, услышав голос отца, и попытался вскочить на ноги, но врач мягко и умело утихомирил его, положив теплую, большую ладонь на голову, как это делал не раз и не два, а изо дня в день уже несколько послеинститутских лет и как это делала всю жизнь его мать, Елизавета Дмитриевна, также детский врач в поселке Свеча, где и он, кстати, прошел свою первую практику после вуза.

— Ну, — сказал он Алеше, — дела наши идут не так уже плохо. Так что не горюй.

Мальчик улыбнулся, но несмело, а затем посмотрел на отца, словно ожидая подтверждения, и спросил:

— Завтра домой?

— Быстрый, — сказал врач и тоже улыбнулся, а отец привычно, по-домашнему, взъерошил Алешины волосы.

— Мама тебя целует, — сказал он, уходя. — У тебя много новых друзей.

— Но ведь я в больнице, — изумленно проговорил мальчик.

СУББОТА

Не получилось!

Михеев остановился перед квартирой человека, адрес которого ему только что дали, и подумал: «Хотя бы он еще не уехал». Нажал кнопку звонка.

— Уехал, — сказала его жена. — Как-никак выходной. А в чем дело?

Михеев объяснил.

Женщина набрала телефонный номер, сказала:

«Иван Ивановнч, извиннте, что в такую рань, да еще в субботу... Но вы очень нужны одному человеку». «О чем разговор», — сказал голос. «Передаю трубку», — сказала она. И — Михееву: «Это Фалалеев, начальннк цеха».

Мнхеев назвал себя и рассказал о ситуацни. Попроснл о двух вещах: назвать адрес Георгия Федоснмова н, главное, разрешить ребятам поработать в цехе — ведь суббота! — если, конечно, они согласятся.

— Записывай адрес, — сказал Фалалеев, а когда продиктовал, добавил: «Работу разрешаю. Желаю успеха».

— Выручай, Толя, — обратился Михеев к своему другу, а с некоторых пор н родственнику — мужу сестры, экскаваторщику комсомольцу Анатолию Чудиновских, — выручай, без твоего «Москвича» не справлюсь.

— Говори, куда ехать, — сказал Анатолий.

Дом Федосимова онн разыскали не сразу, но разыскали, и Гера оказался дома: спал.

— С добрыми вестями? — спросил спросонья.

— С добрыми бы подождали, — сказал, сожалея, Михеев, — а с плохими не подождешь.

— В чем же мы мажем? — спросил тот, торопливо умываясь.

— Мешает диаметр трубки, — сказал Саша. — Он диктует нам все и, главное, силу тока.

— Да, — согласился Гера. — Где же выход? Все-таки операция?

— Нет, — возразил Саша. — Нет. У врача есть еще одна идея. Последняя попытка. Не выйдет — тогда все, операция.

— Что за идея? — спросил Гера, натягивая пиджак.

— Он читал о создании магнитного поля вокруг человека. Правда, речь шла не о дыхательных путях, но ведь важен принцип...

— Понял! — остановился посреди комнаты Гера. — Понял! Твоего парня надо поместить в катушку. То есть надеть на него катушку! Тогда можно дать любую силу тока и создать сильнейшее магнитное поле!.

— Да, — кивнул Саша, — но нужна солидная катушка. Сделать ее можно только в цехе. С начальником цеха я договорился.

— Тогда едем, — сказал Гера. — Как звать твоего сына?

— Алеша.

— Надо знать ширину Алешиных плеч.

— Заедем в больницу.

— Но сначала — к Сергею Лаптеву. У него ключи от инструментов.

Сергей также оказался дома — собирался завтракать. Увидев машину, а в ней Федосимова и Михеева, понял: магнит не сработал. Ситуацию объяснили за полминуты. Он вскочил в «Москвич», и все тут же помчались в больницу.

— Стой! — закричал Сергей спустя две минуты. — Стой! Едем назад. — Дома выключил чайник, разбушевавшийся на плите, как вулкан, вернулся в машину, и Анатолий Чудиновских снова нажал на газ.

«Москвич» помчался по улицам Кирова, мимо старых и новых зданий, мимо школ и интернатов, мимо фабричных и заводских проходных, мимо просторного парка имени Кирова с его высшей точкой — неповторимой диорамой — гордостью кировчан, мимо первого дома на вятской земле, сооруженного из камня, — приказной избы, ставшей теперь музеем народных художественных промыслов, мимо памятников и скверов, и наконец затормозил на улице Менделеева, 16 — у детской областной больницы.

Врач Владимир Пересторонин, встретившись с ними в приемном покое, сказал: день выдался сложный, прямо с утра — тяжелый случай, но девочке помогли, легкое «открыли» щипцами — сухая ягода черемухи! — и тут же перешел к Алеше.

— Надежда у меня еще есть, — сказал он. — Состояние мальчика удовлетворительное, сделали рентген — бронхи шарик пока «терпят», но завтра — последний срок. Идею вам Саша рассказал?

— Да, — сказал Гера. — Непонятно, как это она не пришла нам в голову самим.

— Ну, это... — улыбнулся Пересторонин, и они вдруг с удивлением обнаружили, что все они в общем-то ровесники, люди одного поколения, а привычка считать врача безусловно старшим — только привычка, и ничего более, привычка, вынесенная каждым из детства, и Гера спросил:

— Ширина плеч известна?

— Конечно, — сказал Владимир Пересторонин, —

вот она, его ширина, — и протянул бумажку, на которой стояла цифра 290 мм.

— Ничего, — кивнул Гера, — ширина подходящая, в папу.

В цехе обнаружилось: необходимую катушку изготовить невозможно — нет деревянного шаблона. Сделать шаблон в субботу нереально. Нашли готовую катушку — для трансформатора. Измерили.

— Точнее не бывает, — сказал Гера. — Пробуем под напряжением.

Катушку подвели к аккумуляторам автокара — врубили всю систему банок. Провод оплавился. Попробовали половину — то, что надо. Пробный шарик — точная копия того, что застрял в бронхах Алеши, был тут же помещен в катушку — теперь шарик не просто притягивался к прутку, а прыгал к нему с расстояния в 40—50 миллиметров.

— Если не получится и теперь, — сказал Гера, — я вообще откажусь верить в магнетизм. Едем!

«Москвич» помчался по улицам Кирова, мимо каменных и деревянных строений, неповторимого Дворца пионеров с красной остроугольной крышей, напоминающей пионерский галстук, дворца, который строили всем миром — рабочие, студенты, школьники города, мимо памятника воинам, павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, с Вечным огнем и постом № 1, мимо танка «тридцатьчетверки», поднятого на почетный пьедестал, мимо десятиэтажных, новеньких домов на Комсомольской площади и, наконец, снова затормозил у детской больницы.

— Удалось? — спросил Пересторонин.

— Тянет, как зверь.

— Утром убедимся. Спасибо.

Теперь у Михеева на счету была каждая минута: к 9 часам он должен был «скоммутировать» катушку и обеспечить в операционной мощный источник питания...

* * *

— Тебе нужна батарея с автокара? — переспросил главный механик овощной базы А. Д. Ильинский. — Будет батарея, Саша. Неужели не понимаю? Главное, чтоб получилось.

— Да, — согласился Михеев, — это главное.

— Сейчас же поставим под зарядку.

Следующий, с кем он встретился, был его товарищ, машинист холодильных установок Володя Лютов. Михеев нашел Лютова дома, рассказал о своих невеселых делах и попросил помочь. Тот не стал выяснять подробностей, оделся и тут же включился в дело. Вскоре они уже были в помещении зарядной станции: Михеев, Чудиновских и Лютов. Катушка, привезенная сюда на «Москвиче», стояла посередине комнаты.

— Так, — сказал Лютов. — Остается начать и кончить. Чего для этого не хватает?

Не хватало многого. Прежде всего мощного кабеля.

— Василий Дмитриевич! — обратился Михеев к Кочурову, главному инженеру своего комбината. — В больнице никаких изменений. Но врач убежден: нужна еще одна попытка.

— А в чем его идея? — Михеев объяснил.

— Ясно, — сказал Кочуров. — Нужен кабель сечением 16 квадратов. Возьми от сварочного аппарата — по длине хватит?

— Хватит. Операционная на втором этаже. Спустим кабель к машине через фрамугу. У них нижняя фрамуга.

— Станислав, — разыскал Михеев своего товарища машиниста тепловоза С. Бонаха, — у тебя нет списанного контактора? Чтобы хватило на один раз.

— Зачем? — Услышал. — Жди. Найду.

Собрали все, что было необходимо: наконечники для соединения кабеля с клеммами, разъемы для соединения катушки с кабелем, контактор, в котором заменили шайбу и отрегулировали зазор, — все было найдено, отлажено, скоммутировано.

Правда, было уже пять утра.

Перед рассветом новая проблема — аварийного отключения (при большой силе тока — 100 ампер — контакты могли залипнуть). Достали старый разъем от автокара. Проблему сняли. Катушка и часть кабеля должны были находиться в стерильно чистой операционной — достали хлорку, развели в воде, обработали — не придерешься.

— Начнем испытание, — сказал Михеев.

Сжал зубами стальной шарик, всунул голову в ци-

линдрическую пустоту катушки и, когда все было готово, подал сигнал. Ток включили.

Все сработало отлично.

— Думал, вырвет с зубами, — сказал Михеев.

Перед самым рассветом, уже дома, мать Алеши, Людмила Михеева (тоже, кстати, как и Саша, электромонтажница), вновь сказала о стерильности.

— Я разрываю простыню, Саша, — сказала она. — Кабель надо обмотать чистой материей. Все же операционная.

Разорвали. Обмотали. Присели в ожидании рассвета. От усталости Михеев не мог закрыть глаза: стоило закрыть — начинали звучать голоса и кружиться лица. Сидя в утренних сумерках и думая о сыне, он как-то одновременно думал и о своих друзьях, о товарищах, обо всех тех, кто пришел ему на помощь, о тех, для кого отзывчивость никогда не была особой доблестью, а была состоянием.

Ждать рассвета пришлось недолго — солнце свое время знает.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

— Геннадий Антонович, — сказал Михеев, обращаясь к своему знакомому, шоферу комбината Молчанову, — извините, что в воскресенье...

— Я о твоих делах знаю, Саша, — сказал ветеран баранки. — Чем могу тебе помочь?

— В больницу нужно перевезти аккумуляторную батарею автокара. Это 40 банок. Сотни килограммов.

— Не вопрос, Саша, едем на комбинат.

Шофер быстро оделся, и они сели в «Москвич» Анатолия.

По комбинату дежурил главный инженер В. Д. Кочуров, он-то был в курсе всех дел. На разрешение взять грузовик — секунда, на выписывание путевки водителю — минута. Вскоре Молчанов уже вел «ГАЗ-53» в направлении базы. Погрузчик на базе был в полной готовности — сработал, как часы.

Через полчаса «ГАЗ-53» с аккумуляторной батареей стоял у больничной стены — прямо напротив окон операционной. Молчанов сидел в кабине и посматри-

вал на дорогу, где вот-вот должен был показаться «Москвич», уехавший за врачом Владимиром Пересторониным.

«Москвич» тем временем мчался по улицам Кирова, мимо безвестных и знаменитых домов, мчался по улицам города с одним из крупнейших в России художественным музеем, основанным уроженцами этих мест — В. и А. Васнецовыми, музеем со знаменитыми полотнами Шишкина, Репина, Левитана, Перова, Венецианова, Брюллова, Маковского, Сарьяна, Коровина, Петрова-Водкина и многих других, мимо дома Герцена, в котором он жил в 1837 году, драматического театра, с которым связаны имена Подарина, Собинова, на сцене которого выступал Маяковский, проходили гастроли Миланской оперы, танцевала Айседора Дункан, мимо новых дворцов культуры и детских садов и снова — заводских и фабричных проходных и, наконец, вновь остановился у больницы.

* * *

— Готово?

— Готово, — сказал Михеев. — Подключил.

— Катушку прикрепить к операционному столу.

Принесли бинты — прикрепили.

— Проверим, — сказал Пересторонин, оттягивая кулаками карманы халата. Подошел к катушке.

— Включай!

Проверили.

— Проверим еще раз.

Проверили.

— Еще!

Проверили.

Пересторонин взглянул на цветной овальный циферблат ручных часов, повернулся к своим помощницам — Ирине Гусевой, отличному врачу-анестезиологу, секретарю комсомольской организации областной больницы, и одной из самых опытных анестезисток, Нине Елькиной, спросил:

— Готовы? Тогда приступаем. Только ведь мальчик окажется в катушке весь, полностью, — добавил он.

— Введем препарат через кисти рук, — ответила Ирина.

— Тогда дела за героем. Давайте его сюда. (Когда эта история была рассказана члену-корреспонденту АМН, лауреату Государственной премии СССР Станиславу Яковлевичу Долецкому, он сказал: «Вот вам отличный пример того, как должен поступать врач, осознающий свой профессиональный долг, — не просто облегчить страдания больного, а помочь наилучшим образом. Этот случай — пример инициативы, о которой мы так много говорим. Плюс научный подход. Плюс энтузиазм людей!»)

— Внимание, — сказал Пересторонин. — Алеша уже был внутри катушки, интубирование было закончено. — Внимание!

...Сердечник приближался к шарику все ближе и ближе, оставалось лишь несколько миллиметров, затем лишь один, а затем замерший у пускателей Михеев услышал: «Включай».

Михеев включил ток, и почти в то же мгновение раздался слабый, еле слышный щелчок — это шарик «схватился» с прутком.

— Секунда, — сказал Владимир Пересторонин. — Вот и вся операция.

* * *

Секунда спасения человека промелькнула.
Потекло время долгой человеческой жизни

ВЫХОД ОДИН: ЖИЗНЬ

— Солнце поднялось, — сказал он, — плывем к Золотым воротам.

— А если с нами что-нибудь случится, — спросила одна из девочек, — нас спасут?

Четверо других, включая его тринадцатилетнюю дочь, засмеялись, а он посмотрел на утреннее море и лодки рыбаков, застывшие в зеркальном сиянии воды, и сказал:

— Ничего с нами не случится. Собирайтесь, я пошел за лодкой. Сегодня будем с мотором.

Начался день. Они поплыли к Золотым воротам. Поплыли зря.

Опыт людей говорит: главные трудности поджидают человека не на обратном пути откуда-то, а на пути куда-то. Золотые крымские ворота, конечно, здесь ни при чем — это обычные морские камни. Но у камней символическое название. Вспомним: именно на пути к Златым Вратам — что бы под этим ни подразумевалось — люди обретали опыт, о котором упомянуто выше. Туда всегда труднее, чем обратно. Но ведь бывало и наоборот: цель достигнута легко, а назад пути нет — бывало? Бывало, и не раз! А раз «не раз» — значит тоже опыт, но только опыт исключений. В чем его особенность? Он похож на сердце — о нем вспоминают лишь в момент боли.

Карадаг остался позади. Лодка взяла курс на сверкающие камни: Золотые ворота!

Штиль, высокое небо и беззаботность — это путь туда. Волны, неполадки с лодкой и тяжелая борьба за жизнь пятерых детей — путь оттуда.

Вот такая последовательность. Но вся жизнь временного капитана лодки как раз и работала на «опыт исключений». Вверх для него всегда было легче, чем вниз. Высокая скорость безопаснее малой. А путь к цели, путь вперед не раз оказывался несоизмеримо легче, чем путь назад. Личная судьба и правда близких смертей не давали ему передышки. Так складывалось, по существу, всегда — так сложилось и в отпуске.

Приплыли — рай! Золотые ворота одарили их счастливыми часами. Они одарили их тем ощущением первобытной воли, о которой городские дети позабыли даже генетически.

В полдень он сказал: «Пора».

— До свидания, Золотые ворота! — прокричали девочки. — Спасибо!

Лодка, которую он взял напрокат, не была приспособлена под подвесной мотор. Комбинация, при которой мотор все же был прикреплен, исключала волну — лодка могла нестись только при мертвом штиле, что и было несколько часов назад. Иначе дело обстояло теперь. Как только они вышли из бухты, на них набросились волны. В открытом море уже гулял ветер, начинался шторм. Дети сбивались то к одному, то к другому борту. Он пытался удержать курс. Удары следовали один за другим, лодку заливало. Он не мог понять причины не-

ожиданных рывков, пока не увидел: когда лодку поднимала очередная волна — винт мотора обнажался и получал большую раскрутку. В следующее мгновение — когда волна бросала лодку вниз — винт попадал в воду, и тут-то и возникал неизбежный рывок, а вслед за ним — удар, и снова волна поднимала лодку вверх, и винт лишался сопротивления. Так продолжалось до тех пор, пока транец, к которому был прикреплен мотор, не отошел от бортов лодки вообще. Вода пошла через широкие щели.

Положение: неуправляемая лодка, заливаемая водой, — первое. Каменный откос под углом в 90 градусов, к которому в конечном счете могло прибить лодку, — второе. Выход?

Он не знал моря — ни его воли, ни его глубин. Небо знал. Если бы волны были облаками, он бы знал: этих следует опасаться, а с этими можно сладить. Нет же! Все только о небе. Но небо было сейчас ни при чем, оно вверху, высоко и безмерно и опустошено ветром, а море — рядом и в любую минуту угрожает сомкнуться над их головами, над их лодкой.

Что же могло помочь? Небо! — знал он. Все то же небо. Ведь все, что он обрел в небе, оставалось с ним и здесь, в море. Борьба за жизнь среди облаков была его важнейшим опытом, а опыт — личным богатством, неубывающей внутренней силой. Вот он и стал действовать согласно этому опыту и этой силе, автоматически сменив облака на волны. Об этом можно сказать так: какое бы значение ни имел характер стихии — наводнение, ураган, пожар, шторм, — главное остается за характером человека.

Он выключил мотор, потянул на себя транец и прижал его к бортам. Продумав все возможные варианты, он сказал: «Единственный выход: идти к берегу «пунктиром» — включая и выключая мотор». Оставалось работать. И он работал. Когда лодку выносило на гребень волны, он выключал мотор и изо всех сил прижимал транец. Когда лодка погружалась в волну, он включал мотор и в короткие секунды тяги сбивал лодку с курса на скальный участок берега. Вскоре в этой изнурительной работе все стало привычным: и напряжение, и усилия, и четкость. Непривычным было лишь одно: присутствие детей — дочерей его товарищей и собственной до-

чери. Это обстоятельство подрывало его силы, и он впервые ощутил что-то похожее на ожоги сердца. (Девочки практически не умели плавать — тем более при такой волне.)

К подножию Карадага они добрались истерзанными победителями. Он еще долго не мог прийти в себя. «Очень волновался за детей, — повторял он. — Все, что угодно, но только бы не было при этом детей».

Назовем его имя: Анохин Сергей Николаевич. Скажем о профессии: летчик-испытатель. Сообщим о сегодняшнем занятии: некоторые аспекты подготовки к испытательной работе космонавтов. Подчеркнем отличия: Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР (нагрудный знак № 1). Что дальше? Каковы наши намерения? Намерения ясны: подробно рассказать хотя бы о нескольких невероятных эпизодах его жизни. В связи с чем? В связи с тем, что они невероятны.

* * *

Анохин совершил вынужденную посадку в районе озера Челкар. Причина аварии — лопнувший в полете маслобак. (Самолет «САМ-5-2-бис».) Летчик был с головы до ног залит маслом.

(Володя Малюгин, исполнявший обязанности штурмана, находился при этом в фюзеляже. Ему было нечего опасаться — вынужденная, так вынужденная: класс летчика Анохина уже был хорошо известен авиаторам. К тому времени Анохин совершил свой выдающийся авиационный эксперимент: полет на планере во флаттер до полного разрушения.)

Они и сели.

Бак сняли бортовыми инструментами. Увидели: рваная дыра. Лед образовался в дренажном отверстии, запечатал его, и бак разнесло. О том, чтобы заделать дыру своими силами, не могло быть и речи.

Анохин поднял бак на плечи и сказал: «Я пошел к железной дороге». «А я?» — вероятно, хотел спросить штурман, но спросил: «А там что?» «Может, я там встречу поезд, — сказал Анохин. — Ты оставайся здесь. Самолет бросать нельзя».

Дул сильный холодный ветер. Пройдя метров 300,

Анохин увидел железную дорогу. Через пару минут он уже стоял рядом с рельсами, а бак стоял рядом с ним. Где же поезд?

Ждать пришлось долго. Но вот и поезд. «Везет»,— подумал Анохин. Подняв обе руки, он ступил на середину полотна и стал ждать, что будет.

(Первый случай остановки поезда в его жизни выглядел иначе: ему 16 лет, он рабочий Рязано-Уральской железной дороги, к разобранному участку пути приближается товарный состав, машинист не видит предупредительных сигналов, мастер-ремонтник посылает Анохина и других ребят навстречу несущемуся составу, и они предотвращают крушение: на рельсы одну за другой пристраивают петарды — прямо под «носом» у поезда.)

Что теперь? Машинист заметил Анохина. Поезд сбавил ход, остановился метрах в 5—7 от летчика.

— В чем дело? — прокричал машинист, разглядывая чумазого, замерзшего Анохина.— Кто такой?

— Летчик! — прокричал Анохин.— Я летчик.

— А где же самолет? — спросил машинист, высовываясь по пояс из кабины.

— За сопкой.

— Задача? — озабоченно спросил машинист.

— Попасть в депо и отремонтировать бак,— сказал Анохин.— Бак,— и тронул бак залитым маслом ботинком.

— Ясно, поднимайся,— сказал машинист.

Поезд шел по голой местности.

До Челкара машинист молчал. Перед станцией переспросил: «Летчик?». «Да,— ответил Анохин.— Летчик. Сел за сопкой»,— добавил он снова на всякий случай. «Ясно»,— успокоился машинист.

С Анохина стекало масло — летчик!

(Совсем недавно дочь президента Турции Сабиху Гёк Чен представили ему на аэродроме в Анкаре. Переспросила: «Летчик?». «Да». «Ну тогда поднимите меня в небо». «Пожалуйста. А вы уже летали?». «Нет». «Не боитесь?». «Нет». Он поднял ее в небо тут же, на церемонии открытия авиационного спортивного общества «Турецкая птица», а после даже обучил ее самостоятельным полетам на планере. Пять лет Анохин занимался в Турции авиационно-спортивной работой — по-

могал в подготовке турецких пилотов согласно межправительственному соглашению. 1935—1940 годы.)

— Я привез летчика! — сказал машинист, представляя друзьям по депо Анохина. — Еду, смотрю: летчик!

Помочь Анохину хотел каждый, но помочь не мог никто. Бак заварить было нельзя. «Только клепать», — повторяли все, кто дотрагивался до бака: дюраль.

Поздно вечером с окраины поселка в депо явился старик.

— Давай бак, — сказал дед. — На земле нет такого места, где бы клепать не мог никто. Хоть один, да может.

И заклепал! Полночи клепал, а сделал отлично. Рано утром Анохина вместе с его баком пристроили в кабине нового поезда, идущего на запад. Гремел шестой месяц Великой Отечественной войны — ноябрь 1941 года. Провожать вышли все, кто был в депо.

— Место посадки узнаете? — волновался новый машинист.

— Конечно, — успокаивал его Анохин, — без труда.

В жизни Анохина было много вынужденных посадок. Однако эту он запомнил вовсе не потому, что она была одной из первых или, допустим, чрезмерно трудной. Нет! Она была как раз одной из наилегчайших. Он запомнил ее по другой причине: именно здесь, в этом пустынном краю, Анохин впервые познал и постиг то, в чем потом уже никогда и ни при каких обстоятельствах не разочаровывался и не сомневался. Он узнал совершенно необходимую для себя истину: что бы с тобой ни случилось в небе — тебя выручат на земле. Простые, отличные люди помогут тебе и спасут тебя и не станут при этом изображать из себя помощников и спасителей, а помогут и спасут, и сделают это надежно и прочно. Высшую степень этой истины, переросшей с годами в главное убеждение, он узнал позже, в те дни, когда на землю приходилось падать уже не в замасленном комбинезоне, а в комбинезоне, залитом кровью.

* * *

Треск перерос в грохот, вибрация — в разлом, и первым не выдержало левое крыло — он успел еще увидеть, как оно отлетело от фюзеляжа. Затем последовал

сильнейший удар в лицо, на миг Анохин потерял зрение, а затем увидел распадающийся мир кабины — красные обломки черной приборной доски и рукояток и красный цвет голубого неба — и понял, что самолет уже неуправляем, спасти его нельзя: самолет разваливался на части.

Катастрофа произошла во время испытания новой машины на прочность. Испытания самолет не выдержал — началось испытание на прочность летчика. Трудность заключалась в том, что после удара зрение возвратилось к Анохину лишь частично. Глаза были залиты кровью.

У него был один выход. Выход простой и единственно надежный: действовать и надеяться до последнего мига. До последнего — и, возможно, тогда этот миг и не наступит.

Ему удалось найти и выдернуть кольцо. Высоты почти не оставалось. Действовать приходилось лишь правой рукой — левая оказалась сломанной, зато правую он ощущал постоянно, будто она находилась в кипящей воде, с таким напряжением приходилось работать, и, хотя решить проблему разворота одной рукой не удавалось, он тем не менее не прекращал попыток и не терял надежды, старался развернуться. В один из таких моментов его неожиданно подхватил устойчивый поток и он увидел границу поля и леса, а лес — это намного лучше, чем поле: там не «закувыркает», помешают деревья, — и, таким образом, разгоралась надежда, и надо было держаться в потоке хотя бы секунду-другую, хотя бы до опушки, а когда под ним замелькали деревья, он уже стал надеяться на смягчение удара о ветки — может, повезет и до стволов дело не дойдет, но тут деревья стали редеть, а высота измерялась уже десятью — пятнадцатью метрами, и деревья неожиданно кончились, промелькнули, исчезли и остались позади, и почти в тот же миг, в то же мгновение с поистине последней надеждой в сердце он точной наводкой судьбы с ходу, с лета свалился в мягкую, как сон, воду небольшого лесного озера: чем не вознаграждение?!

Осмотревшись, Анохин увидел, что берег близко. Стояла полная тишина. В воду стекала кровь, растворялась в воде, становилась водой.

Он добрался до берега и сел на землю.

(Была весна 1945-го — 17 мая. С 1943 года Анохин был отозван из воздушно-десантных войск для летно-испытательной работы.)

Его обнаружили быстро: житель ближайшего села привел Анохина в женскую зенитную батарею, а утром в срочном порядке летчик был доставлен в Москву.

«Удаление глазного яблока. Энуклеация»,— узнал он в госпитале. Анохин остался с одним глазом. Потеря глубинного зрения автоматически разлучала его с небом, самолетами, ремеслом. Все. Точка. Какой ты летчик, если ориентируешься хуже пешехода? И тем не менее, а Вилли Пост? — спрашивал Анохин.— А Борис Туржанский? Разве не примеры? Пусть только двое в мире, но и это немало. «Они не летали на современных самолетах,— возражали ему.— А мы стоим на пороге сплошной реактивной авиации, сверхзвуковой. Разница».

Он выписался из госпиталя. Занялся спортом, тренировками. Затем постепенно, незаметно, мягко, неброско, негромко, настойчиво, постоянно, железно, необратимо, несокрушимо стал пробиваться к штурвалу самолета, к своему любимому ремеслу, ремеслу испытателя, именно испытателя, преодолевая все новые и новые преграды житейского, медицинского, организационного, профессионального и всякого иного толка. И преодолел — пробился! Вот что значит характер. Но и мастерство. Он был прекрасным мастером своего дела — это знали все, и это помогало ему в его усилиях. Подлинного мастера нелегко сбить с ног — он ведь стоит на земле двумя ногами. Другое дело — поденщик, это цапля, полжизни на одной ноге. А мастер — фигура крепкая. Он защищен своим собственным делом.

— Спасибо всем и каждому,— сказал Анохин перед своим первым «послеоперационным» вылетом.— Спасибо за поддержку.

(С этого времени начинается серия анохинских испытаний, поставивших его вскоре в один ряд с крупнейшими летчиками XX века. Испытания на прочность, взлеты «МИГа-19» с катапульты, фигуры высшего пилотажа на предельно низких высотах и так далее и тому подобное. Все почести и самые высокие правительственные награды получены Анохиным именно в этот период жизни.)

— Хорошая машина,— сказал он, приземляя в тот незабываемый день свой новый самолет.— Интересно будет работать.

Сказал так, будто в его работе испытателя вообще не было перерывов — даже в один день. Может, и не было: сердце-то ему не меняли, не удаляли, оно было прежним.

* * *

Продолжались испытания.

— Катапультируйтесь! — приказал он инженеру-экспериментатору, находившемуся в хвостовой части самолета.— Вы меня слышите?

Ответа не поступило: то ли инженер не слышал его, то ли обратная связь уже не работала. Следующим должен был катапультироваться второй пилот Г. Захаров. Он покинул самолет. Анохин остался в кабине один. От инженера никаких вестей. Самолет не могли спасти уже никакие меры.

Анохин откинул штурвал, стал сбрасывать фонарь. Отказ. Он задействовал дублирующую систему — отказ. Понял: катапультироваться невозможно. Что же делать? Как покинуть самолет? «Выберусь из кабины с парашютом через фонарь второго пилота»,— мгновенно решил он. Так. А дальше? Выбраться, конечно, можно, но как оторваться от самолета? Во-первых, можно угодить в сопло. Во-вторых, разбиться о стабилизатор. В чем же тогда он видел шанс на спасение?

Анохин оставался верен своему убеждению: ничтожно малый шанс несоизмеримо более велик, чем ничто. Натренированное сознание Анохина, его нервная система, познавшая любые человеческие эмоции и чувства, кроме паники, выработали план использования этого единственного шанса. План: он выбирается из кабины лицом к стабилизатору, берется за шлейфовую антенну и старается с ее помощью хотя бы как-то изменить направление своего полета.

...Любое занятие, требующее постоянных усилий, особым родом вознаграждает человека крепостью и верой в собственные силы. Это происходит незаметно, как рост кристаллов. Сила и счастье — утверждают самые сильные и самые счастливые — в преодолении и борьбе,

в долгих, осознанных усилиях. Курс на безмятежную, легкую и потому счастливую жизнь бездумен или лжив. Что такое пожизненный покой? Это абсурд.

Он стал действовать. Он снова подкатил сиденье, взялся за штурвал и постарался убавить скорость. Затем он ввел самолет в спираль, чтобы хоть какое-то время машина крутилась над заданной точкой земли, выключил двигатели, отсоединил от борта фал автоматического открытия парашюта и, упершись ногами в приборную доску, вылез наружу через фонарь второго пилота. Рев и свист ветра оглушили его, однако внимание Анохина уже было приковано к антенне. Он ухватился за нее обеими руками, подтянулся, и в тот же момент скоростной напор воздуха сорвал его с зеленой поверхности самолета — спасение!

Ни один баллистик мира, вероятно, не смог бы рассчитать траекторию этого полета, длившегося не более нескольких терций, с такой точностью, с какой это сделали ураган и судьба. Анохин пролетел от стабилизатора в нескольких сантиметрах и, разминувшись со своим мечом, оказался в огромном пространстве привычного неба, тихом и неопасном, как луг. В руках Анохина была шлейфовая антенна. Он с нею сросся. В следующее мгновение Анохин увидел, как взорвался самолет. Впервые гибель самолета никак не отозвалась в сердце летчика. Он думал сейчас не о самолете, а об инженере, который мог остаться в хвосте, не услышав анохинских команд. Самым мучительным переживанием Анохина было переживание, связанное с неравенством шансов на спасение у людей, оказавшихся в одинаковом положении. В этом Анохин усматривал высшую несправедливость жизни. Если подобное случалось в его личной практике, он делал все от него зависящее, чтобы уравнять шансы каждого: свои и чужие. Однако в данном случае изменить положение было невозможно. Вот он и переживал. Парашют приближал его к земле. «Скоро узнаю все, — думал он. — Скорее бы».

(В 1942 году Анохин и Снятков были заняты выполнением труднейшей операции — доставкой оружия партизанам, действующим в тылу противника. Доставка осуществлялась над линией фронта в ночное время на планере. На обратном пути, перевозя на планере тяже-

лораненых партизан, оба летчика лишили себя законного, но, с их точки зрения, безнравственного преимущества перед измученными болями людьми: парашюты были сняты прямо на глазах партизан. «Вместе, так во всем»,— сказал Анохин, возможно, и не догадываясь, какие силы жизни способно было вызвать в человеческих сердцах подобное братство.)

Земля! Снова, в который раз, Анохину на помощь пришли незнакомые, славные люди. В деревне он узнал: Захаров приземлился благополучно, инженер — тоже. Правда, об инженере он узнал не сразу, примерно через час, и в течение этого часа он сначала узнал о предположительной гибели, что было драматической ошибкой (с обломками самолета на земле догорали остатки парашюта, однако это оказался тормозной парашют), а в конце часа — о его спасении. Вот почему этот час показался Анохину долгим месяцем.

История испытания нового самолета только начиналась.

(Анохин летал вдохновенно и самоотверженно. Лучшие авиаконструкторы государства — Яковлев, Туполев, Антонов, Поликарпов, Ильюшин, Лавочкин, Микоян с самым глубоким вниманием прислушивались к замечаниям, наблюдениям, советам и выводам Анохина. С годами это сотрудничество перерастало в прочную творческую дружбу. Анохин гордился дружбой с лучшими летчиками-испытателями страны, такими, как Ахмет Хан Султан, Гриничик, Галлай, Мосолов, Гарнаев, Щербаков, Шелест, Расторгуев, Шунейко, Бурцев, Комаров, и другими. Всем тем, что он знал и чем владел, он делился с молодыми летчиками, пополнявшими семью испытателей. Кстати, в его собственной семье он был не единственным авиатором. Например, его жена Маргарита Карловна — заслуженный мастер спорта СССР — не только сама отлично овладела авиационным штурвалом, но и обучила летному мастерству ставшего впоследствии знаменитым летчиком-испытателем, Героем Советского Союза Георгия Мосолова! Дочь Анохина Наташа тоже увлекалась авиационным спортом — летала на «ЯКе». Наверняка, если бы не несчастье — тяжелая болезнь, перенесенная в Турции,— дело отца продолжил бы и сын, хотя его земное занятие также связано с авиа-

цией... Длились трудные, яркие, неодинаковые будни Анохина. Но здесь говорится не о буднях, как, впрочем, и не о сущности работы летчиков-испытателей. Хотя, конечно же, как и у каждого испытателя, у каждого человека, независимо от его профессии, жизнь Анохина состояла не из одних ЧП, а состояла из будней, но в отличие от будней многих других людей будни Анохина и его друзей летчиков-испытателей готовили их к новым и новым неожиданностям, — испытаниям высшего порядка.)

* * *

В кабине нового истребителя было темно от дыма, дышать было нечем, ноги Анохина жгло пламя — комбинезон уже горел. «В кабине пожар, иду на посадку!» — передал Анохин по радио и тут же добавил: «Садиться буду рядом с полосой, на землю».

Бороться за свою жизнь человека заставляет, наверное, прежде всего инстинкт самосохранения, воля к жизни, но не только это. Для летчика-испытателя борьба за собственную жизнь, как правило, означает борьбу за жизнь тех, кто, не зная причин аварии, поднимется в небо вслед за ним, кто полетит после него, а борьба за сохранение нового самолета — это борьба за результат огромных усилий сотен и тысяч людей, вложивших свой труд в создание новой машины. Таковы слагаемые долга. Анохин, как и любой другой настоящий испытатель, опирался на этот долг постоянно, всегда, в любом из своих полетов, но особо в полетах сложных, опасных, в моменты ЧП. Отсюда и внимание именно к этим полетам, секундам и минутам испытания, когда бессознательность могучего инстинкта и осознанность своего долга соединялись в одну необоримую силу и помогали человеку выжить, а выжив, помогали выполнить свой долг перед живыми. Иначе как бы человек покорил небо? И пространство? И скорость? И наконец, космос? Никак — этот путь единственный. Иного пути нет — только через испытание техники и себя самого.

Решив любой ценой сохранить самолет, Анохин должен был решить и многое другое. Но главной трудностью был выбор: открывать или не открывать фонарь.

Аиохин хорошо зиал: открой ои фоиарь, ветер тут же очистит кабиину от удушающего дыма, можио будет вдохиуть свежий воздух. Открой он фоиарь, тут же понизится температура в кабиие — кожа иа лице разве что не трещит. Но — зиал Аиохии — тот же ветер уже через иесколько секунд превратит иизкий огоиь в пылающее, бушующее пламя, и пламя тут же охватит весь самолет — все будет покоичеио в одио мгновение. Так что выход один: терпеть.

До земли — 150 метров. 100. 80. 70. 50. Терпи! Скорость еще велика, ветер урагаииый. 30! Ои видит полосу, встречающих его людей, автомашииы, отводит самолет от полосы — ему известио, как он поступит через иесколько секуид,— терпи! 10 метров, 5, 3, 1. Точиое приземлеиие, самолет бежит по земле — терпи, скорость еще велика, иоги — в открытом пламеии, ио терпи.

Вот! Скорость — 70 километров в час, 60, 50 — это уже ие скорость, самое время действовать. Он иакоиец срывает фоиарь, хватает раскрытым ртом воздух, подтягивается иа руках, переваливается из кабииы иа плоскость крыла, напрягает каждую мышцу тела и скатывается по плоскости веретеиом иа мелькающую сбоку землю и катится по земле, как живая дымовая шашка, вслед за убегающим, спасенным самолетом. Все! Скорость равиа иулю. V = 0. И ои и самолет замерли. «Ну вот, живы оба».

А так бы оба погибли.

* * *

По миеиию авторитетиых авиационных специалистов, С. Н. Анохии шесть раз попадал в положение, характеризующееся, как безвыходное. За время своей испытательиой работы он облетал 200 типов самолетов и плаиеров. Прописью — двести!

Когда-то иа заре жизии брат Анохииа выиграл по лотерее лыжи. За выигрышем послал Сергея. Сергей узиал, что выигрыш был с вариаитами: или лыжи, или полет иад Москвой. «Полет иад Москвой»,— решил он. И тогда же впервые поднялся в иебо. «Так состоялся самый крупиый выигрыш в истории всех иаших лотерей: советская авиация выиграла Сергея Аиохииа»,— написал об этом эпизоде когда-то Ярослав Головаиов.

Однако иаступило время и последнего анохииского полета: возраст. Точка — 1964 год. Чего он только не предпрннимал! Он не мог поиять, почему его снлы оказались вдруг никому ие нужиыми, почему оказалнсь НИЧЕМ перед формальиым признаком — чнслом лет. «Хоть опыт-то мой кому-то иужеи? — иедоумевал он. — Или каждый учится сам?»

В этот трудиый период жнзнн Анохни был готов прнзнать, что человек может все, кроме двух вещей: он не может создать машину времеин н не может разрушнть бюрократическую машину. А все остальное может. Но, разумеется, ие все считали, что опыт и силы Анохнна — это его личиый багаж. Не все считали, что достойные людн появляются сами по себе, а иедостойиых формируют обстоятельства. Сергей Павлович Королев так не счнтал. Ои зиал: иичего ие требует таких усилнй, как воспитаиие, «выращиваиие» иастоящего человека. И воспитывают его иа достойиых прнмерах, иа честиом н трудном опыте другого достойиого человека. Не нначе! Для этого-то н подходнл, как иельзя лучше, опыт Аиохииа, сам Аиохии. И подошел — Королев пригласил его в свою «фирму» ие раздумывая. С тех пор — с 1964 года — опыт Аиохииа н служнт новейшему делу иовейшей истории: делу освоеиия космического простраиства. Спроснте, например, у Николая Рукавишиикова, пережившего один нз самых драматнческих моментов в космосе — отказ двигателя, — чей ои учеинк? Рукавишинков ответит: Сергея Николаевича Аиохниа. Спросите об этом же у Олега Макарова. Ответит: я учеиик Аиохнна. Спроснте у Гречко, у Иваиченкова, у Кубасова, у миогнх других космоиавтов — ответ будет тот же. Добавят: «Аиохин скромеи, как подлиниый герой. Честеи, как коммуинст. Доброжелателен, как иастоящий учитель. Миогоопытен, как мастер».

В чем урок этой жизнн? В более чем очевндиых вещах: трудолюбни н вериостн одиажды избранному делу. Это главная броия, делавшая его иеуязвимым в опасиые момеиты, о которых здесь рассказаио нлн только упомяиуто. Однако вряд лн это полный ответ. Полиый ответ всегда в другом — у подобиых жизией нет отдельиых уроков. Подобиая жизнь — это всегда еднный урок.

Аиохии продолжает трудиться.

ЛИДЕР

I

С тех пор, как это произошло, их лагерь принял скорбный вид. Ждали, что будет дальше.

Лагерь располагался на дне ущелья, рядом с бесшумным ручьем. Вдоль ручья громоздились камни, дальше росли кусты шиповника.

Перед рассветом поняли: улучшений не будет. Самый сильный из них — это было видно — окончательно потерял силы. Он лежал на земле, поверх спального мешка, сраженный внезапной болезнью, а они ходили вокруг. Каждый понимал: нужно что-то предпринимать, действовать. Но как — не знал никто.

Он был единственным, кто знал, но он не действовал. Вернее, действовал, но не так, как этого требовали обстоятельства. Он продолжал надеяться на свои силы. Пытался согнуть и разогнуть отказавшие ноги — боли при этом были невероятные, но он продолжал попытки.

Вскоре он обнаружил: теряет и руки.

— Меня кто-то связал, — сказал он тем, кто был рядом. — Но я разрублю узлы, — и попытался улыбнуться. Он и в этом положении понимал: поддержка нужна не ему. Он лидер. И при любых обстоятельствах должен был им оставаться. А они ведомые. Все, что он уже знал о земле, им только предстояло узнать — и в значительной мере от него самого, с его помощью. А годы жизни, которые он прожил, — 49, им только предстояло прожить. Он был их руководителем, но и другом. Кроме того, он олицетворял собой силу. Он мог, казалось, все.

Отличало их бесконечно многое: зрелый человек и дети. Однако главным отличием было это: он еще никогда не терпел поражений, а они еще никогда не побеждали самостоятельно.

Но вот он на земле. Беспомощен, и неподвижен. Они подвижны, но не сильнее.

— Подойдите ко мне, — проговорил он. Они подошли.

— Я буду стараться встать, — сказал он, глядя с земли на их испуганные лица. — Но то, что со мною про-

изошло, — серьезно. Идите за пастухом, за курдом. Я объясню ему все сам.

— Мы думали об этом, — сказал один из них.

— Хорошо, идите.

Они отобрали тех, кто повыносливей. Те, кого они отобрали, тут же ушли.

Они ушли, а он снова принялся за упражнения. Ноги, обутые в пыльные, огромные ботинки «вибрам», почти не шевелились. Он пытался заставить их двигаться — они не двигались. Мягкое пламя боли, возникавшее в коленях, заливало их до самых ступней. Пробовал он, конечно, и рывками. Бесполезно.

Те, кто остался в ущелье, не могли смотреть на его мучения. Они пересаживались с камня на камень и старались не смотреть. Но смотрели. Он заговаривал с ними и пытался смешить. От этого им, любившим его, становилось еще хуже.

Его руки лежали на мешке. Руки были похожи на тяжелые корабельные канаты. Пальцы, правда, еще работали. Он постоянно шевелил ими, стараясь удержать ощущение власти над некогда сильным, почти двухметровым телом.

Затем снова брался за ноги.

Курд, к которому пришли ранние гонцы, уже не спал. Он встретил их у входа в кош, выслушал. За его спиной, в полумгле рассвета, плакал ребенок. Над утрамбованной овцами землей кружились последние ночные бабочки.

— Мы покорили четыре вершины Арагаца, — добавил один из гонцов.

Пастух, для которого покорение горных вершин являлось, по-видимому, ярчайшим примером иллюзорности человеческих побед, пропустил это сообщение мимо ушей. Он сказал: «Посадим его на лошадь. Повезем через перевал».

В загоне стояли две лошади. Он взял под уздечку одну, крикнул: «Пошли!» — и направился в сторону лагеря.

В лагере все было по-прежнему. Больной был измотан попытками вернуть силы. Он лежал на спине, голова — набок, и смотрел на осколок мира, сверкающий в

первых лучах рассвета. Он видел склоны ущелья, усеянные светло-желтыми, как местное, варденисское золото, валунами и далекие вершины Арагаца.

Мир рядом был попроще: полынь, мелкие камни, овечий помет.

Курд остановил лошадь, спросил:

— Меня помнишь?

— Ты угощал нас молоком, — ответил больной.

— Хорошо, что помнишь, — сказал курд.

— А ты рассказывал о своей реке. Говорил — Днепр. Так?

Светский разговор был коротким. Курд осмотрел его лицо, крупные, красивые черты которого еще более укрупнились от боли. Покачал головой. Плохо. Больной негромко проговорил: «Дети сами с гор не спустятся. Я тебя и позвал». Курд поправил шапку, сказал: «Надо ехать в амбулаторию. Далеко. Все пойдем вместе».

Его подняли, усадили в потертое седло. Привязали к седлу. Несколько раз пропустили веревку под животом лошади. Было около шести часов утра.

— Поехал, — сказал курд.

Шли молча. Курд молчал — шли без тропы. Всякий раз, когда начинался подъем, он брал лошадь под узду.

Всадник молчал. Терпел боль: ноги и руки отекли, позвоночник горел, будто в него вмонтировали бикфордов шнур многоразового пользования.

Дети молчали — видели: тот, кого им так щедро послала судьба, — доброе сердце, надежные руки, тот, кто хотел научить их всему, что умел сам, с кем совершено первое потрясающее восхождение на все четыре вершины горного узла Арагац, что удавалось до этого лишь взрослым, — страдал все больше.

Шли цепочкой. Друг за другом. Солнце поднялось над всеми девятистами вершинами Армении. Зазвонили колокола зноя. Всадник раскачивался в седле, как в некой абсурдной колыбели, одинаково пригодной и для новорожденного, и для уходящего. Жизнь вытеснялась болью. Но не той, которую он привык терпеть, новой. Той, которая оставляла после себя мертвые хрящи. В небе парил сокол — конвоировал печальную процессию. В расщелинах резвились ящерицы. Рос шиповник. Шла лошадь. Как всегда, у природы было много жизней.

У человека, как всегда, — одиа. Бесполезиое, в сущиости, ощущеиие сходило иа иет, созиаиие покидало его.
Он еще жил, ио уже ие зиал этого.

II

Курд первым почувствовал близкий коиец. Ои остаиовил лошадь, ухватился за пыльиый ботинок «вибрам» и рваиул иогу всадиика. Тот даже ие застоиал. Пастух прокричал что-то иа своем языке, словио угрожая кому-то, и стал раскачивать всадника в седле. Когда подтянулись учеиики, курд сказал: «Он умирает. Посмотрите».

Оии видели.

— Как его зовут? — впервые спросил пастух.

— Леоиид Леоитьевич, — ответили пятиадцать голосов.

Курд прокричал: «Леоиид!». Ни одии звук ие проиик в созиаиие всадиика. «Леоиид!» — прокричал курд сиова.

Точиыми движеииями, ие торопясь, развязал веревку. Сказал: «Надо сиимать с лошади».

Помогли, усадили иа землю, прислоиили к камию.

— Ты умираешь! — прокричал курд в опустошеииое болями лицо. — В тебе яд! — Больиой не шелохиулся. Но веки дрогиули. Через иесколько секуид открылись глаза. Посмотрел иа учеииков, иа пастуха. Пастух сплюиул в горячую пыль, сказал: «Надо идти. На лошади ты умрешь. Ехать на лошади у тебя уже нет сил».

— А-а-а, — промычал тот, так как губы были деревяииыми.

— Идти, — терпеливо, словио овце, повторил пастух. — Надо делать свой шаг.

— Да, — более виятио произиес больиой.

— Мы поможем тебе встать.

Ои был ие против.

— Помогите ему встать, — сказал пастух.

Оии помогли, подияли иа иоги.

— Будешь идти, — сказал пастух.

— Ои не может идти, — сказал кто-то в отчаяиии. — Разве ие видио?

— Надо, — сказал курд.

— У него не сгибаются ноги,— сказали сразу несколько человек.

— А надо,— несокрушимо повторил пастух.

Из группы выступил хрупкий мальчик, сказал:

— Мы его понесем.

Курд сощурил глаза, положил ладонь на круп лошади, спросил:

— А лошадь не может?

— Пусть она везет рюкзаки, а мы понесем его.

— Не понимаешь, что надо,— сказал пастух.— Надо идти. Лошадь поможет идти.

Солнце и ветер придали лицу пастуха неуязвимую неизменяемость — на все время зрелости. Никто бы не мог сказать, сколько ему лет. Но был он уже немолод. Постояв без движений пару секунд, он повернулся на каблуках и снял с седла бухту веревки, которой недавно привязывали всадника.

— Поднимите его руку,— сказал он и кивнул на правую. «Так»,— сказал он и крепко затянул узел повыше кисти.

— Теперь эту,— и кивнул на левую. «Хорошо»,— и проделал то же самое с левой. Затем свел обе кисти вместе и крепко стянул общим узлом. Длинный конец веревки привязал к седлу лошади.

— Отпустите его,— обратился он к ученикам, поддерживающим больного. Будем идти.— Те не знали, как поступить. Тон пастуха был непреклонен. «Отпустите»,— повторил он.

Поступили так, как сказал курд: отпустили. Больной остался на ногах и как будто понял, что от него хотят.

— Пошли,— повторил пастух.

Лошадь сделала два шага, и веревка натянулась. Потеряв равновесие, больной упал на колени. Лошадь остановилась. Курд сказал: «Я сам»,— и помог ему подняться. «Иди, ничего»,— снова напутствовал он. Больной мотнул головой. Он хотел бы утереть пот со лба. Ага, помогли.

— Иди, умрешь,— сказал курд и снова тронул круп лошади. Лошадь чутко помедлила, шагнула. Веревка натянулась, и в этот момент недавний всадник вновь потерял сознание. Курд не заметил этого. Оглянувшись, он лишь увидел: тот на ногах, похоже, готов шагнуть. Но, когда веревка вновь натянулась, пастух увидел: че-

ловек с закрытыми глазами валится на камни. Курд моментально оказался рядом. С ходу, со всей силы он ударил падающего кулаком в грудь: «Иди!!!» Тот очнулся, словно от ласки, и неосознанно, по-звериному сделал сразу несколько шагов. Лошадь потянула дальше. Однако произошел сбой: человек все же упал. По подбородку потекла кровь. Пастух обрадовался: губа закушена от боли. Боль могла означать только одно — возвращение к жизни. Да, через несколько секунд больной попытался подняться. Курд помог.

— Иди!

Нарастающий гнев и страдание в глазах учеников пастух игнорировал: «Иди».

Теперь еще до того, как веревка натянулась, больной сделал шаг. А когда веревка натянулась и его связанные руки оказались параллельны земле, он шагнул снова. Пошел. На этот раз он одолел чуть ли не двадцать метров. И хотя потом снова упал, поднялся самостоятельно.

Шел!

Шел, спотыкался, падал, но шел. Курд видел: в глазах человека появился свет боли. Шаг становился осознанной необходимостью. Проклятая жара. Проклятые острые камни. Проклятые кусты шиповника — жизнь!

Шли полчаса, час. Под копытами у лошади трещали тонкие плоские камни. Лошадь хорошо знала свое дело: острые камни она обходила привычно, копыта опускала мягко, дорогу выбирала самую правильную. Что ж, родилась-то она в горах, и трудилась в горах, и успокоится здесь. Тянулись под знойным, иссушенным небом. Впереди громоздились вечные скалы, голые склоны с трещинами, залитыми солнцем. От яркого света горы казались еще более безутешными, безжизненными и неестественными. Хотя что же могло быть более естественно, логично и вечно в этом мире камня, кроме самих камней? Сердце, что ли? Иногда он еще падал, но это было редкостью. Если падал, испытывал уже не только боль. Испытывал стыд перед учениками. Типичный комплекс сильного человека — смертельная боязнь показаться слабым.

Они шли позади. Они несли рюкзаки — свой и его — самый тяжелый, так как обычно он забирал в свой рюкзак все самое тяжелое и нес сам. Теперь несли они.

Плюс к этому онн несли ледорубы, веревкн, палатку, коврик, альпинистскне карабнны, спальные мешкн, продукты, карты, скальные крючья, фонарики, лнчные вещи.

Онн были его ученнкамн. И хотя они еще не умелн многое из того, что умел он,— они учнлнсь.

А он действнтельно умел многое. Миллноны людей ие могут и не умеют того, что было под снлу ему. Он, городской житель, мог, напрнмер, одной-двумя спнчкамн разжечь костер, когда на землю низвергался лнвень, а ветер ломал ветки деревьев. Ои мог переноснть огромные тяжестн на огромные расстояния в песках, горах, тундре — закалка. Он умел быстро и надежно иавестн переправу через гремящую гориую речку. Ои мог иайти брод через самое опасное болото. Мог подняться на отвесную скалу н спустнться вннз, что вряд лн легче. Он мог добыть огонь, когда вокруг не было нн искры. Он знал, какимн ягодамн н кореньями можно прокормнться в трудные времена. Он умел воднть автомобнль н мотоцикл. Он умел езднть иа верблюде н езднл иа собачьнх н оленьих упряжках. Он гонял на моторной лодке. Мог прицельио стрелять из мелкокалибериой вннтовкн, охотничьего ружья, карабнна. Он умел работать с кинокамерой и, разумеется, с фотоаппаратом. Он мог орнентнроваться на любой самой сложной местностн. Он, конечно же, мог оказать первую меднцннскую помощь пострадавшему. Ои и сейчас, прнвязанный к лошадн, все это мог, но мог н главное — ндтн.

— Хочешь пнть? — спрашивал пастух.

Если он кнвал головой — «да»,— оии останавливалнсь и пастух подноснл к его черно-кровавым губам кружку с водой.

Еслн кнвал — «нет»,— шлн дальше.

Он много знал н многое помнил. Память не только друг человека. И не только его враг. И не только возмутитель сознання.

Память — это кладовая опыта. В ее внешнем поверхностном круговороте не все устойчиво, не все объясннмо. Но у нее есть глубнна. В этом все дело. Все, что в жизии человека когда-то было, все, что было преодолено в каждодневных деяннях, обрабатывается глубннной памятью особым образом н откладывается в кладовую опыта. Этот опыт неуязвнм. Он может быть большнм нли

меньшим, чрезмерным или ничтожным — в зависимости от судьбы человека, но он неуязвим. Он защищен самой идеей жизни. Из этой кладовой человек и черпает, в сущности, все, но главное — силы для борьбы.

Огромную роль играла боль. В Сибири он однажды был вынужден лишить себя сознания, чтобы защитить от боли сердце,— желанный шок не наступал. Он сделал это: натянул на голову войлочную шапочку и ударил себя по голове короткой, тяжелой палкой. Результат: все то время, пока его несли к речному теплоходу — привязанного к двум жердям, с поврежденным позвоночником,— он не чувствовал боли. Он, можно сказать, набирался сил. Там боль вынудила его лишить себя сознания. Здесь — вернула сознание. Воистину ничто не однозначно в жизни — даже боль.

Пастух не подгонял лошадь: тянула сама. Веревка не ослабевала.

Он шел.

Он жил достойной жизнью. Никто бы не мог упрекнуть его в чем-то. Выпускник педагогического института, мастер спорта, он освоил в жизни множество самых разных дел. Освоив, стал делиться приобретенным с детьми.

Те, кто попадал к нему,— попадали на Тянь-Шань и Чукотку, на Байкал и на Памир, на Кавказ и на Камчатку, в Крым и в Карпаты — прекрасных мест в стране много. Сложился и окреп честный круг: ему доверяли детей, он доверял детям, а дети доверяли ему. Большие статьи в «Известиях» и в «Комсомольском знамени» — мешок писем, сотни просьб: возьмите на лето ребенка, помогите стать сильным, выносливым. Первое место в совершенно новом деле: трудовом туризме — вымпел ЦК ВЛКСМ «Лучшему трудовому отряду старшеклассников», первые школьники страны, удостоенные этой награды. Торжественная встреча в Москве в Голубом зале «Комсомольской правды», снимок на первой полосе газеты — он и юная, победившая рать. Новые маршруты. Новые дети. Прежние устремления: закалить начинающих жить. Увеличить число тех, кто и умеет, и может, а не только знает.

t +30°. Шли. Чем не Каракумы? Неустойчивые приметы настоящего опрокидывались реализмом прошлого. Зной гор смыкался со зноем пустынь, в которых он

впервые узнал лживость миражей и вызывающее однообразие природы. Они тащили тогда на себе тяжелые мотоциклы, тащили по глубокому песку, мотоциклы, из картеров которых вытекал огненный сизо-голубой автол, сверкающий на солнце, как ликер, и миллионы песчинок забивались между ребрами охлаждения, а выхлопные трубы раскалялись, словно стволы боевых зениток. занятых делом, и, казалось, конца этой долгой дороги не будет. Казалось, Красноводск, к которому они тащились тогда, не покажется на горизонте вообще и ничто не ждет их за горизонтом, пережженная нить которого недосягаема во веки веков, ни один город не даст им ни воды, ни прохлады, ни приюта. Но уже через несколько минут после этих воспоминаний, после новых и новых шагов под солнцем, палящим сейчас и здесь, а не тогда и там, он подумал о том, что изматывающая дорога от Чарджоу до Красноводска была все же легче той, которая изматывала его сейчас. Да и само беспримерное путешествие на мотоциклах от берегов Днепра до берегов Тихого океана и обратно — свыше 20 тысяч километров — представилось ему теперь невинной прогулкой, несравнимой ни с одним километром пути, по которому приходилось тащиться здесь, в горах Армении.

Он шел и падал, поднимался и спотыкался, тянулся за лошадью, шел за пастухом, хранившим вековой опыт народа, не сравнимый ни с каким личным опытом отдельного человека — пусть даже очень сильного, шел и был в пыли, в колючках, колени — в крови, локти — в крови, спотыкался и шел — третий час — шел, и если спотыкался, вершины гор разлетались в разные стороны, как от бесшумного взрыва, и вслед за вершинами гор, в бесцветное знойное небо улетали и круп лошади, и иссеченные острыми камнями сапоги пастуха, но он снова шел и спотыкался, и шел — четвертый час — и кусал искусанные губы, дышал огненным воздухом гор, настоянным на редких цветах и мертвом тепле камней, шел через трагическую бессмыслицу зноя — пятый час, — шел, спотыкался, разбивался о землю праотца Ноя, на которой когда-то, конечно же, пребывал рай, и думал о том, что каждый, кто пройдет через этот рай, наверняка выстоит и в аду, шел, спотыкался — шестой час, — связанный с лошадью одной трясущейся, натянутой веревкой, увлекавшей его вперед, вверх и вниз, но

всегда — вперед, подальше от немощи бессилия, и все сильнее, заметнее нарастал в нем ток крови, тяжелее и чувствительнее становились связанные, вытянутые вперед руки, и в сердце, отзывчивом на жизнь, зарождалась новая сила, и постепенно — шаг за шагом — он возвращался к тому состоянию человека, когда вновь все возможно, когда все — знакомо, ведомо по прежней жизни: и борьба, и честность поединка, и уверенность в победе. И сама победа — таким был этот долгий путь, марш, поединок.

Больше четырнадцати часов — к перевалу, через перевал, вниз, мимо скал, кустарников, валунов, мимо древних мемориальных камней хачкар с их крестами и гениальной резьбой, мимо таких же древних каменных драконов — вишапов, стерегущих воду гремящих ручьев, вниз, к озеру Кари — без привалов, без остановок.

Все это время — минута в минуту, вслед за курдом — лидером их лидера, шли они, его ученики, помощники, соратники.

Все это время вершилось неосознанное усвоение одного из главных уроков человеческого бытия: гибнет не тот, кто изможден и разрушен, а тот, кто прекращает борьбу.

* * *

«Запорожье тчк Директору областной станции юных туристов Коротун тчк Ваш заместитель Аравский находится Аштараке критическом состоянии».

III

— Вы живы, поздравляю, — сказал местный врач спустя некоторое время.

— Спасибо, хорошо вернуться на свет, — ответил он.

— Курд знал, как выгнать яд, — проговорил врач. — У вас ведь было сильнейшее отравление. Он принял точное решение.

— Опыт народа.

— Вернее всего. Плюс медицина.

— Да, — сказал он. — Медицина — это сила. — У меня сын — студент-медик.

— Хорошо, — улыбнулся врач.

— А где мои ребята?

— Все в порядке. Они молодцы. Скоро вы их увидите.

— А где пастух?

— В горах. Он сдал вас на руки и уехал обратно. Когда мы вас принимали, по привычке спросили фамилию. Знаете, как это у нас бывает. Пастух возмутился, закричал: «Вы что, не видите, как он себя чувствует? Не видите? Его фамилия — Больной!»

— Молодец.

— Да, — согласился врач. — Молодец. Лошадь он, кстати, оставлял с вашими детьми у Кари, а сюда сопровождал вас от озера на случайной машине.

— Мне бы его разыскать.

— Тут мы бессильны.

— До свидания, спасибо.

— Не стоит. Не обидитесь, если я вам кое-что покажу?

— Что вы? — сказал он, — буду рад.

— Ну. уж рады-то вы будете вряд ли. Но пошли.

Они прошли в прохладное помещеиие, в полумраке которого струились легкие, мерцающие искры света. Здесь они увидели то, что здесь было, — цинковый гроб.

— За что же обижаться? — спросил он.

— Да, пожалуй, не за что, — сказал врач. — Но гроб-то для вас. Была жара, дело было плохо. Вы ведь не местный...

— В конце концов, — проговорил он, — так, видимо, положено. Правила есть правила.

С этими словами он шагнул от серебристого цинкового бруса в сторону и ступил на четкую полоску белого солнечного света, падавшего через приоткрытую дверь, и сделал шаг по солнечному лучу, видимо, надеясь, что луч-то уж наверняка выведет его на прежний простор жизни, а жизнь подхватит и понесет дальше, к последней боли и последнему бессилию, обусловленному природой, но еще до того, как это произойдет, в награду за недавний марш судьба, возможно, вознаградит его новыми силами и упорством, и поможет забыть то короткое бессилие, которое он испытал и которое — надо признать — в бесконечном движении истоптал в прах.

Но много ли у человека путей к победе, кроме этого?

ОДИННАДЦАТЬ ПУЛЬ В ОДНОГО

Он лежал в высокой пыльной ржи и смотрел на низкие облака. Три плоских облака скользили над ним, как три белых листа бумаги, подхваченные горячим июльским ветром. Когда он закрывал глаза и открывал снова, облака оказывались на прежнем месте, когда он всматривался в них, они начинали скользить. Он не мог сообразить, как попал в эту странную жизнь, где так тихо, пусто и никто никуда не бежит, и не стреляет, и не ругается. Самое главное, и сам он никуда не бежал и не нажимал на курок, а лежал на поломанных стеблях ржи и смотрел на облака.

Когда его нашли, он был без сознания.

Его привезли в полевой госпиталь. Хирург отказался его оперировать, честно сказал:

— Я с ним не справлюсь.

Осколок снаряда пробил каску, вошел в голову, но вошел не весь: рваный широкий край торчал, как кусок коры, снаружи, не давая возможности снять каску.

Его вернули в самолет, отправили дальше. Самолет приземлился на аэродроме в Полтаве. Хирурги и здесь не смогли снять каску и удалить осколок.

Он пришел в себя уже в новом полете, когда его везли в Уфу, в новый госпиталь. Он лежал на носилках в скрипучем, душном фюзеляже и при самой малой тряске самолета ощущал металл каски, скрепленной с его головой теперь, кажется, навеки.

Человек, о котором я рассказываю, начал жизнь с больших потерь: в один день и почти в один час он лишился отца и матери. Это было еще до войны.

В войну он лишился родной сестры. Так он остался один. Без родных и без родственников. Никому из его близких не суждено было узнать о его судьбе. Судьбе, в которой испытания следовали одно за другим, словно жизнь на примере одного человека стремилась показать остальным, как много человек может вынести.

Он не ждал признаний и наград. Награды им принимались с крайним, искренним недоумением. Ему вруча-

ли высшие ордена Отчизны, президент Соединенных Штатов Америки отметил его мужество и благородство особым указом. Но он считал это недоразумением. И считает так до сих пор. Трудно понять? Некоторым, думаю, даже невозможно. Но он на самом деле считает оценки завышенными. Подобные люди как раз этим и отличаются от тех, кто после первой же победы в бою или успеха в мирной жизни устраивает привал, и ждет наград, и в ожидании нервничает.

Он живет в небольшом украинском городе Глухове. Работает на небольшом предприятии, окруженном березами, чистым, глубоким снегом зимой и зелеными лугами летом.

Я пригласил его в Москву.

— Хотелось бы, — ответил Николай Иванович. — Спасибо.

...Это был невероятный бой. И финал его был тем более невероятным.

Как только они увидели, что фашисты пересекли реку по понтонной переправе, а уничтожить ее не успели, две их самоходки тут же влетели на переправу. Огонь накрыл их широко и плотно, но они как-то прошли и начали бить в ответ.

От металла поднимались фонтаны воды, река текла, а металл оседал на дно.

Николай Жужома и пять его товарищей понимали: если они удержат переправу и потреплют отступающих фашистов до прихода наших основных частей и, может быть, даже не дадут укрепиться на том берегу — польза от их операции будет большая. Они смогут ускорить все наступление.

Бой завязался отчаянный и неравный. Гитлеровцам удалось установить пулеметы, и огонь велся в лоб.

Николай был самым молодым в экипаже самоходной пушки, хотя пламя передовой уже обожгло его со всех сторон. Его уже таскали на самолете по госпиталям с ранением в голову и пробитой осколком каске, которую удалось снять с головы только в Уфе. После возвращения на фронт он был ранен через несколько месяцев снова.

Пули попали в грудь и руку. Его отправили в полевой госпиталь, он не помнит боли и самой дороги, но как будто дорога была недолгой. Лечение было тоже недолгим, и после лечения его без лишних разговоров отпустили из госпиталя, и он вернулся на фронт в свою часть. Через неделю пуля снова вернула его в госпиталь, на этот раз, правда, ранение было полегче, и он даже помнит лица санитаров, перекладывающих его на носилки у входа в палатку из брезента.

В момент боя на понтонной переправе у него было четыре ранения.

Он взял связку гранат и под прикрытием своей пушки пополз к берегу.

У человека, ползущего навстречу собственной смерти, не следует спрашивать, что он чувствовал и о чем размышлял все эти длинные метры. Ни после боя, когда человек еще не уверен в своем спасении, ни спустя тридцать лет, когда факт жизни уже бесспорен.

Он полз навстречу огню и крепко держал гранаты.

Когда первая пуля попала в него, он был близок к черте, с которой можно было попытаться швырнуть связку, но без стопроцентной гарантии. Он пополз дальше и сделал правильно, так как ранение было слабым, и больше ни одна пуля в него не попала, они бились рядом, а над его головой с тугим гулом неслись снаряды из ствола его пушки. Пять товарищей старались прикрыть его. Впереди была черта, с которой наверняка можно бить без промаха.

Черта, безусловно, последняя! Он поднялся во весь рост, размахнулся и всем корпусом послал вперед тяжелую связку гранат. Прежде чем взрыв исковеркал пулеметы, цепь пуль пересекла его пополам, и он свалился на землю. С земли он увидел взрыв, черный конус, и комья грязи, и тряпки. Увидел рывок самоходок к берегу и понял, что врубил в цель.

Он почувствовал тошноту и слабость.

— Ах ты черт,— проговорил он и свернулся, подтянув колени к груди. Он никогда не ругался матом, но теперь поискал опоры в твердых словах, —не помогло. Потерял сознание.

Экипажи двух самоходок, которым он открыл путь, начали близкий бой с ходу. Бой был цепкий, тяжелый, изнурительный. Когда случилась пауза, кто-то из членов экипажа оттянул раненого Николая к береговым кустам, и бой продолжался дальше, до наступления темноты.

Сейчас невозможно восстановить его дальнейший ход. Известно: переправу держали до вечера. А потом подошло подкрепление. Но бой продолжался уже дальше, немцам наступали на пятки.

Он очнулся ночью и понял, что жив. Было тихо, и он был один. В сущности, с первых минут сознания ему стало ясно, что он снова ранен, и ранен тяжело: ноги не двигались. Однако голова была легкой и не болела. Он от кого-то слышал, что раненные на поле боя наверняка доживают до рассвета, если ночь темная, безлунная, а в лунные ночи потеря крови увеличивается, до утра дотягивают немногие. Он поискал глазами на небе луну и тихо порадовался, что луны нет, горизонт темен и над ним небо черное, даже нет звезд.

Получив пятое, тяжелейшее ранение, он тем не менее не расстался с заблуждением о неуязвимости человека перед маленькой, крохотной пулей. Это веселое и прочное заблуждение он принес на фронт из детского дома, с порога которого шагнул в бой, и развеять его не могло даже пятое ранение. «Какая маленькая пуля и какой я, — думал он и верил в собственную неуязвимость... — Ну, пусть она куда-нибудь попадет, но не во всего же меня сразу!»

Сознание он потерял надолго и внезапно.

Когда товарищи вернулись за ним, на месте его не оказалось. Его подобрали санитары других частей, идущих в наступление.

Он осознал себя и свое новое тыловое положение не скоро. На этот раз он попал в ташкентский госпиталь.

В госпитале было тихо и светло. В окна тянуло легким дымом тлеющего саксаула. Во дворе госпиталя в любое время суток и даже в пять часов утра, например, два старых узбека кипятили на саксауле чай, и тут же пили его, и посматривали на окна госпиталя. Когда в ка-

ком-нибудь окне появлялся раненый, они улыбались ему и прикладывали ладонь к груди. Здесь был другой мир. Но другим этот мир казался лишь в первые два-три дня. Потом мир оказывался таким же военным, как и фронт, и даже пострашней, потому что на фронте солдата окружали здоровые люди, не искалеченные до неузнаваемости, как здесь. Нигде, кроме глубокого тылового госпиталя, Николай не видел столько искалеченных людей вместе — по 20—30—70 человек рядом, в одних палатах, в одном дворе, окруженном азиатскими тополями, в одной столовой.

Была еще, конечно, тишина — это отличало нынешний мир от фронта сильно. Но лучше бы тишины не было, когда стонали и кричали тяжелые. Лучше бы грохот и канонада.

Однажды к Николаю подошел главврач и развернул бумажный плакат. Спросил:

— Это вы тут на фотографии?

Он присмотрелся к снимку, увидел себя, лицо закопченное, рядом самоходка, товарищи — на каком-то привале кто-то щелкнул.

— Ну, кажется, я, — сказал он и еще раз посмотрел на фотографию.

— А что здесь написано, видите? — спросил врач.

Он перевел глаза со снимка на текст и прочитал, что он погиб смертью храбрых и что за бой на днепровском направлении ему присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Он прочитал эти строки несколько раз, рассчитывая найти несовпадение, но все совпадало: и Николай Иванович Жужома, и комсомолец, и огневой взвод 130-го отдельного истребительного дивизиона 254-й стрелковой дивизии 52-й армии... Все совпадало, кроме факта смерти, и он растерянно подтвердил врачу: да, видно, это я.

В Ташкенте, так же как и в других городах, после выздоровления его оставляли в местных училищах. «Вы будете очень полезны курсантам, ваш фронтовой опыт им просто необходим, — говорили ему. — Вы уже навоевались».

Кого просили остаться в тылу, возвращался на фронт, на передовую. Оставались в тылу те, кого не просили, кто просился сам.

Он курил крепкий азиатский табак и читал военные сводки.

По рассказанному выше можно предположить, что это был человек взрослый и солидный. Нет, ему было в то время лишь двадцать лет.

Наконец его отправили на фронт.

Каждый раз, возвращаясь на фронт, он наблюдал разбитые и сожженные деревни, искалеченные вокзалы, если проезжали через крупные города, и почти всюду видел детей. Николай на них смотрел и вспоминал свой детский дом и своих друзей и, вспоминая, думал о том, куда же теперь их позаносило, на каких фронтах они дерутся. Странно, думал он, нас было немало, и почти все ушли на фронт, а встретиться ни с кем до сих пор не пришлось. Вот это фронт!

Зато на этот раз Жужома быстро, а по фронтовым условиям — мгновенно нашел свою часть и своих фронтовых друзей. Многих уже не было, остались позади. Николай втянул дым махорки и сырую сумрачность блиндажа, узнал, что ожидается крупное наступление, начал к нему привычно и охотно готовиться, выбросив из головы и далекий теплый Ташкент, и долгую дорогу, и прошлую жизнь.

Он никогда не любил вспоминать прошлое. А после пятого ранения и вовсе не любил говорить и думать о вчерашнем дне. Он предпочитал заботы сегодняшнего дня, в крайнем случае — завтрашнего.

Все шло обычным ходом.

Перед сигналом к атаке они сидели в длинном узком окопе, сосед справа тихо матерился и говорил, что вполне мог бы докурить свою последнюю козью ножку, но вот не дали. «А теперь сидим без дела,— ругался он,— ждем».

Сидеть без дела, в ожидании сигнала всегда паршиво, а тут сидеть было паршивей вдвойне, так как моро-

сил дождь. Глина со стенок окопа сползала комьями, медленно и тягуче. Чем медленней она отваливалась и сползала, тем медленнее тянулось время и тем злее матерился сосед Николая. Бам! — и их подняли в атаку, они вскочили на прямые ноги и повыпрыгивали из залитого водой, вонючего окопа и рванулись длинной цепью по грязи, траве и круглым высоким кочкам.

Вот когда он почувствовал и осознал, как ослаб за время лечения. Вот когда стало ясно, что силы не те, что были когда-то, нечем дышать, воздух мокрый от ветра, дождя и тумана, а в груди пожар, и сердце, как камень, как свинец, как гиря. Но он бежал ничуть не медленней других, и когда над головой засвистели пули и понадобилось не просто бежать, но и стрелять, и когда силы, казалось, его покинут, он ощутил вдруг какой-то перелом — в мгновение, когда отвлекся от собственной слабости и, придя в себя, обнаружил, что силы вернулись к нему, что бежит он и стреляет как надо, и как всегда, и как все. Бой был тяжелым и долгим. Но Николай уже не чувствовал усталости. Он забыл о бессилии и своем тяжелом сердце и не вспоминал об этом до той секунды, пока пуля не заставила его упасть, в грязь, на всем ходу — на колени, а потом и лицом в лужу с холодной, сладкой водой — вот не повезло так не повезло!

Лечили его недолго, разговоры велись вокруг привычные, и дорога на фронт была тоже привычной. Через два месяца его ранило снова. Что он помнил особенно ясно — это дождь. Как и в прошлый раз.

Когда его ранило, его тянули на каком-то брезентовом клочке. Грязь была мягкой и глубокой. Он ощущал ее мягкость спиной и даже головой, хотя голова была приподнята над землей, но иногда брезент отпускали, и тогда он касался головой грязи. Он не видел, кто его тянул, так как тянули его головой вперед. У самого затылка он ощущал чавканье сапог — их вытаскивали из глубокой грязи, чувствовалось, с трудом. Он несколько раз терял сознание, проваливался сквозь эту грязь в пустоту, где нет ни чистоты, ни грязи. Потом он приходил в себя, соображал каждый раз снова: «Ранен, меня тянут по грязи».

Госпиталь в этот раз был мощный, с большим и могучим потоком раненых, громкими, незамотанными врачами, и Николай обрадовался: отсюда всегда полегче отправиться назад. Здесь, где много народа, не так придираются к ранам и сердцу, не так доискиваются осложнений.

Все так и было.

Утром он должен был уезжать из госпиталя, из этого города, и настроение у него было хорошее. Оставалось хорошо выспаться перед дорогой — как-никак последняя ночь на белых простынях.

Выспаться не пришлось. Перед отбоем его нашло долго блуждавшее письмо, и в письме его сосед по их донецкой жизни сообщал, что его, Николая, родная сестра скончалась, и успокаивал — ничего не поделаешь.

С этим известием Николай провел ночь. Сестра — после гибели отца и смерти матери — была последним родным человеком. Теперь он потерял последнего родного человека на земле, и у него остались разбросанные войной знакомые, остались товарищи по фронту и осталась Родина.

Ее он и отправился защищать снова.

Его приняли в партию, он стал коммунистом. Он не знал и не думал, что каждое его действие в бою строго и объективно фиксировалось в документах. Но такой учет велся. «16.II.43 года, наступая на село Дохновка, уничтожил 5 огневых точек...» «21.II.43 г. при танковой контратаке расстреливал в упор танки противника, уничтожил взводом 50 немецких солдат и офицеров...» «Действующим в районе хутора Крещатик взводом подбито и сожжено 2 немецких танка, уничтожено 5 огневых точек и 63 немецких солдата и офицера». «22.II. 43 г., отражая атаку силой до батальона из орудия, в упор расстреливал немцев... Лично на счету Жужомы 48 уничтоженных гитлеровцев...»

Он бежал по опушке леса, и автоматная очередь подсекла его чисто и точно. Надо же, удивился он, словно был ранен не в восьмой, а в первый раз.

В такой ясный, солнечный день он попался возле такого ярко-зеленого леса! Его стошнило от этого зеленого цвета деревьев, кустов и травы. Потом ему так и казалось — от цвета. От раны — конечно, от пули, но чувство осталось, что от цвета. И в госпитале он говорил врачам: как вспомню зеленый цвет — выкручивает.

Вернувшись на фронт, он уже не встретил никого из однополчан. Но он тут же завел себе новых товарищей и, не переживая за собственные неудачи и не рассказывая о ранениях — все попадаются, — продолжал воевать.

— Господи, — проговорил хирург нового госпиталя, изучив нового пациента. — Я тебя помню!

Николай, получивший девятое ранение, лежал на узкой койке и смотрел в лицо хирурга: он хирурга не помнил.

На фронт он вернулся не скоро. А вернувшись, взялся за привычную работу.

Пять контузий за несколько месяцев. Полевые госпитали — возвращение на фронт. Полевые госпитали были не страшны. Они были рядом с фронтом, в них все было фронтовое, до них даже доносилась канонада, и иногда над зелено-серыми палатками свистели тяжелые снаряды, и почти все время гудели самолеты. Люди были пожестче и попривычней.

Он был старшиной, командиром самоходной установки СУ-76. Он преображался в бою, действовал тщательно, но рассеянно, безразлично к собственному телу. К себе самому. Он не мог ощущать своего величия, ибо был по-настоящему велик и прост, как солдат и защитник своей земли.

После шестой контузии он снова вернулся на фронт. Это случилось уже за границей.

В нескольких сотнях километров от места их дислокации, в лесу, в немецком кольце, находился то ли американский десант, то ли просто группировка. У американцев кончились боеприпасы, продукты, медикаменты. Немцы рассчитали уничтожение десанта с большой точностью. Было очевидно, что американцы погибнут от бо-

лезней и от голода в ближайшее время. Советское командование откликнулось на просьбу американцев. Специальная танковая группа вышла на помощь союзникам.

Принимая курс по рации, они приближались к цели. Однажды ночью, вернее, перед рассветом, они захватили в плен немца. Он подтвердил: в лесу, километрах в двадцати, есть люди, кажется, американцы, их охраняют гитлеровские части.

На танковую немецкую часть они налетели неожиданно. Танки стояли рядом с несколькими домами. В одном доме горел яркий свет, окно было раскрыто, можно было увидеть полураздетых пьяных фашистов, играющих в карты. Они сняли часовых, подошли к дому. Гранаты, неожиданно брошенные в раскрытое окно, уравняли шансы игроков.

Они вышли к измученным, голодным американцам.

Оборванные, недоверчивые парни маячили за стволами деревьев, некоторые лежали на земле без движений. После трудных объяснений американцы бросились обнимать танкистов. Жужома протягивал десантникам папиросы, они их ломали, рвали на клочья, а хлеб разносили на крохи, а он смотрел на них и удивлялся, понимая, что перед ним доведенные до отчаяния люди, потерявшие вообще надежду выжить, понимая это, он все же удивлялся, какую свалку они устраивают. Но он, забыв детали и подробный ход самой операции, до сих пор помнит главное — радость этих парней, когда они узнали в солдатах без опознавательных знаков русских.

Группировку выводили в безопасные места с боями, с потерями. Марш был трудным. Наши летчики сбрасывали продукты, американцы, когда это стало возможным, стали приземляться рядом с группировкой, забирать на борт земляков, перебрасывать к стационарным частям.

Это он все помнит. И последнюю деталь помнит: взрывной волной перевернуло танк, ставили на гусеницы тросом. И последнее ощущение помнит: светлый, как утро, вечер, оглушительный взрыв и свет в глазах, и потом уже без перехода и связи со всей предыдущей

жизнью — стены комнаты и привычный, как запах пороха, запах йода.

Его снова разлучили с передовой. Взрывная волна фронта систематически отбрасывала его в тыл, а он снова с головой бросался в нее и старался успеть ввязаться в бой и помочь продвинуться вперед.

Он попал далеко в тыл, где еще недавно воевал на передовой. Тут его стали поднимать на ноги в десятый раз.

Выздоровление совпало с трудной для него процедурой очередного награждения. В этот раз все выглядело особенно сложно.

Его выписали из госпиталя и направили в Москву. Он рассуждал: в Москве формируют новые части. В Москве собирают таких, как я, с разных фронтов, думал он, после госпиталей и сколачивают новые роты и батальоны. Времени на это уйдет немного, прикидывал он. Но, как вскоре выяснилось, в Москву его вызвали для награждения.

Орден Красной Звезды (второй) ему вручал Михаил Иванович Калинин. Николай привык к работе на фронте, будни фронта сглаживали и выравнивали пики удач (подвигов) и отчаяние горьких пропастей, в которых исчезали друзья, в которые проваливалось его собственное обескровленное сознание. Он никак не мог постичь шкалу оценок, выставляемых ему за его работу на фронте. Он сражался рядом с такими же, как и он, солдатами, был солдатом, которого воспитала справедливая война за свободу. Он был солдатом закаленной в крови и невиданных битвах армии и никак не мог понять, почему его за естественное, нормальное поведение в бою отмечают такими наградами!

Он не помнит, ответил ли на поздравления М. И. Калинина. В состоянии полной растерянности он услышал свою фамилию снова. Представитель американского командования вручил ему орден Серебряной Звезды США — за операцию по спасению солдат союзников. В удостоверении значилось: «Всем, кто увидит эту награду, — приветствовать!» «...Президент США в соответ-

ствии с решением конгресса... наградил Серебряной Звездой Николая Ивановича Жужому (СССР) за храбрость в бою».

Он ходил вечером по Москве, заглядывал в незнакомые переулки и дворы, рассматривал людей, стоял перед памятниками. «А ведь времени прошло немало, — думал он, подходя к Красной площади. — Немало времени позади. А кажется, вчера здесь шли. Кажется, даже сегодня днем здесь шли!»

Он постоял на краю Красной площади, у спуска к Манежу, повспоминал подробней, как они по площади тогда шли, как маршировали на параде в 41-м, 7 ноября, и как вместе со всеми остальными участниками парада он отправился после парада на фронт. Когда он вспомнил эти дни, вспомнил и все остальные свои возвращения на фронт — возвращения после госпиталей. Он подумал, что зря он поехал в Москву, не узнав, что и как. «Я бы был уже точно на фронте, — говорил он себе. — Уже воевал бы».

Он вернулся на фронт и ввязался в бой естественно и привычно. Они шли по венгерской земле, продирались сквозь крупные и мелкие сражения, и здесь, на земле Венгрии, его контузило седьмой раз — сильно и оглушительно. Слабый свет сознания сохранил тупое чувство страха перед очередной отправкой в тыл. Однако его откачали на месте, под грохот близких боев. Контузия — не ранение!

В горах Югославии он провел свое последнее, прекрасное сражение. Память хранит его гарь, неровный свет, тени людей на склонах гор. Память устанавливает чистые линзы, и он видит стволы деревьев, и лица друзей, и лицо врага. Он может нарисовать на листе бумаги линию их марша, может вспомнить, как они прорывались сквозь цепи пехотинцев, они, а вместе с ними летчики без самолетов, танкисты без танков — непонятно откуда появившиеся рядом, как они вместе пробивались на соединение с партизанами и как в тот день, самый жаркий день рукопашной, он, старательно и отчаянно сражаясь, почувствовал удар пули с близкого расстояния, в упор,

и впервые ощутил ее смертельную, убойную силу. «Ух и влип!!!» — простоиал он и, падая под ноги бегущих солдат, выронил оружне. Это было одиннадцатое, последнее раиение.

В дымящемся гулком Белграде после операцин в госпнтале и поправкн он был вызван в штаб. Состоялось вручение очередной награды — югославской, высшей награды этой страны.

И еще раз старшина Николай Ивановнч Жужома взял в руки оружне: в День Победы. Он и его друзья и все солдаты, выжнвшне иа протяженни всех окровавленных, тысячекнлометровых, отгремевших фронтов, салютовали Победе и миру. Он выпустнл в небо Чехословакни обойму нз ППШ и бросил автомат на молодую траву, чтобы освободнть наконец рукн для мириых дел, для которых он, русскнй человек, был рожден и которые ждалн его на освобожденной Родине.

Прошло больше трндцати лет. Ни разу за все эти годы не слышал никто от него даже малейших просьб. Ни разу не дал он повода упрекнуть себя в вымогательстве, нескромностн, зазнайстве н других качествах, перечень которых, увы, весьма велик.

Нн разу не отказал он н в помощн тому, кто в ней нуждался. Ни разу не дал в обнду того, кто был прав.

В Глухове его знают, любят. Он бессменный парторг маленького предприятия.

К одному испытанию он так и не может привыкнуть — к испытанню награждениями. Вот снова: на виду у людей, его земляков, Алексей Петрович Маресьев в канун 30-летия Победы над гнтлеровской Германней прикрепнл к его кнтелю, тяжелому от семн боевых орденов и шестнадцати медалей, рядом со Звездой Героя Советского Союза Почетный знак Советского комнтета ветеранов войны...

Он стоял на клубной сцене — среднего роста, аккуратный, хрупкнй, совершенно седой, смущенный, не похожий на солдата и воина, и это было бы странно, если бы он был иа воина до сих пор похож, ведь в войне они победили миого лет назад, когда были молоды и когда воинами их вынудила стать сама война, навязанная Отчизне.

Юрий ГРИБОВ

ЯРКИЙ ОГОНЕК В ОКНЕ

Очерки

ТИХИЕ ОСТРОВА...

Рыбешка крохотная, всего с мизинец, и невзрачная вроде с виду, но стоит ее подсушить да ошпарить потом кипятком, луком зеленым заправить, помаслить немного, и, размякшая вскоре, раздобревшая, она так остро и вкусно запахнет, такой густой рыбный дух пойдет от нее, что рука сама так и потянется к вилке. И в картофельной похлебке снеток хорош, и в окрошке, в пирогах — с десяток блюд, должно быть, готовят из него в рыбацких селениях на севере Псковщины, называя эту рыбку снетами.

— А вот снеты свежие, вчерась только и сушили,— предложит хозяйка, накрывая на стол.

И не только снеток, а вообще вся, пожалуй, речная и озерная рыба ни в чем не уступит рыбе морской, океанской.

— Да что тут сравнивать-то? — не дослушав меня, обидчиво говорит Юрий Иванович Кочевин.— Рыбу желательно есть там, где она поймана, чтобы из сетей да сразу и в котел. А заморозь ее, поваляй по холодильникам, за тыщи верст привези, она, извините, как деревяшка сделается. Соленую рыбу и консервы разные я не беру, это другое дело. Речь о свежей идет. Из морской рыбы разве сваришь такую уху, как из нашей самой мелкой рыбешки? Ни за что не сваришь! Одни уж эти морские названия лично у меня аппетит отбивают: бельдюга, простипома, мерлуза...

Может, в чем-то и не прав Кочевин, перегибает малость, но я не вступаю с ним в спор. Он коренной рыбак, председатель знаменитого рыболовецкого колхоза имени Залиты, и, конечно, ему милее своя прес-

новодная рыба, особенно снеток, на котором тут, в поозерье, вся жизнь, можно сказать, исстари держалась.

— Сейчас хвалиться особо-то нечем, мало рыбки берем,— вздыхает Кочевин, выравнивая свой быстроходный катер, на котором мы плывем к устью реки Великой, к островам, где и расположен колхоз имени Залиты.

Денек сегодня серенький, облачное небо висит низко, но все равно захватывает и чарует здешняя природная красота, какая, пожалуй, всегда бывает у большой и чистой воды. А воды на Псковской земле хоть отбавляй: одних только озер около трех тысяч. Есть и крупные озера, такие, как Чудское и Псковское, много средних, с километр или два шириной, и совсем уж маленьких, словно чаша, с песчаными берегами, с елями и соснами вокруг. А рек и речек сколько? Когда смотришь на карту области, то вся она голубая от воды и зеленая от лесов. И невольно приходит в голову мысль: вот уж, поди, где рыбы-то, любую выбирай. И верно, была рыба. Лет пятнадцать назад я жил в Пскове, и рядом с нашим домом продавали и снетка, и налима, ерша, окуня, даже сиги бывали, раки. Местные раки всегда славились, тоннами их Париж заказывал, Стокгольм. Почти в каждой столовой суп со снетком подавали, а в ресторане при гостинице была даже фирменная закуска: «Снеток по-псковски». Ничего особенного не представляло это простенькое, так называемое фирменное блюдо, но, увидя его в меню, приезжие обязательно просили:

— О, снеток есть? Наслышан о нем, а пробовать не приходилось. Две порции, пожалуйста!

Особого выбора и изобилия и тогда, конечно, не было, но все-таки пресной рыбкой баловали частенько. А сейчас в «водяном» Пскове, кроме скромных даров моря, я ничего не увидел: ни ряпушки, ни снетка, ни зубастой щуки, ни подлещиков. Рыбой торгуют только весной и осенью, и «выбрасывают» ее так мало, что никто, кажется, и не помнит, бывает ли она вообще. Интересуясь в областных учреждениях уловами, я заметил, что слушают меня больше из-за вежливости, вполуха, как бы давая понять: да отстань ты с этой рыбой, тут кривая по молоку падает, хлеба опаздывают к уборке, картошка, лен. И этим «вниманием» мно-

гое объяснялось. Повсюду строятся огромные животноводческие комплексы, для земляного гектара везут удобрения, новые машины, а гектар водный, это необозримое озерное зеркало, созданное «бесплатно», природой подаренное, остается полузабытым, запущенным. Поговорят о рыбе на заседаниях, обяжут, в протокол запишут и отпустят рыбацких руководителей с миром, ничем материально свои слова не подкрепив. А у приозерных колхозов слаба техническая база, давно надо бы пересмотреть заготовительные цены, которые порождают низкие заработки...

Труд рыбака тяжелый, временами опасный, а основной продукт его ценится на копейки, особенно ерш, окунь, уклейка — вся эта мелочь, которую называют сорной. А этим «сором» порядком подзабиты все озера, потому что разведением ценных рыб занимаются в области плохо: по существу, нет настоящих питомников, не хватает специалистов, толковых, серьезных работников. Поэтому и убыточна рыба. Колхозы основной доход берут от чего угодно, только не от уловов.

— А вы на чем держитесь? — спрашиваю я Кочевина.— Как концы с концами сводите?

— Рукавицы шьем да авоськи вяжем,— нехотя отвечает Юрий Иванович и еще ниже склоняется к рулю катера: не очень-то, видно, хочется ему, известному, опытному рыбаку, говорить об авоськах и рукавицах.

С каждой минутой река становится все шире и шире. Слева замаячила маковка древней церквушки, открылась широкая луговина за ивняком. Сладко запахло подсыхающей травой, клеверами.

Совсем рядом безбоязненно вспархивали утки и стремительно уносились в камышовые заросли. Я не заметил, как вошли мы в Псковское озеро. Здесь гуляла приличная волна, и Юрий Иванович стал прижиматься к берегу, к стороне Жидилова Бора, небольшой рыбацкой деревни. Много раз приходилось мне бывать здесь, и всегда при виде этих мест охватывает волнение: у Жидилова Бора похоронен сержант Илья Коровин, повторивший подвиг Александра Матросова.

— Их батальон наши острова освобождал,— говорит Кочевин, как бы читая мои мысли.— На Гдовском большаке недавно памятник ему поставлен. Герой Со-

ветского Союза... Какой пареиь был! Мы цветы ему приносим... А вон и островок наш, через десяток минут причалим.

Мне вспомнился последний приезд сюда. Это было лет десять назад. Я тогда засек время и не торопясь обошел этот остров за сорок минут. Севериый берег его обрывист, из темных расщелин сочится родниковая вода, а внизу валуны, белая кромка песка, перламутровый отблеск ракушек. Сверху видно, как дети, купаясь, далеко заходят по отмели, подплывают к соймам и лодкам. Эти широкие соймы, разнокалиберные суденышки, плоскодонки, долбленые самодельные челны, стреловидные дюралевые катера чериой лентой опоясывают островок, теснятся и трутся друг о друга, покачиваясь на тихой волне.

Так же тесно, как многочисленный флот, стоят на острове и дома: земли мало, каждый клочок ее дорог. И всюду, где только можно: у дворов, в палисадниках, вдоль заборов — зеленеют лук, картошка, кусты сирени, цветы, все ухоженное, политое, прополотое до идеальной чистоты. И царствует иад всем запах свежести, чистой воды, рыбы, сохнущих на солнце сетей. Сети на стенках, на крыльце, растянуты меж тополей, лежат вместо половичков у порогов.

Стоит остров в юго-восточной стороне Псковского озера, километрах в пятнадцати от устья Великой, и называют его островом имени Залиты.

Раньше у него было другое имя—Талабск. А еще раньше—Александровский посад. Последнее наименование острову дали в честь Ивана Яковлевича Залиты, учителя и боевого коммуниста, устанавливавшего здесь Советскую власть и погибшего от рук беляков.

Рядом с островом Залита возвышается другой остров, Таловец, куда по причине его безлюдности заплывают иногда с материка косяками лоси и пасутся здесь, спасаясь от комарья и слепней.

А за Таловцем вытянулся формой кувшина последний островок, по старому Верхний, а теперь имени Белова. Это имя дали ему в память об Иване Сидоровиче Белове, верном друге Залиты. Как и Залита, Белов, не дрогнув, не отказавшись от большевистской идеи, принял мученическую смерть от белых банд Пермикина и Булак-Балаховича.

На острове Белова есть две крохотные лесные гривы, в основном сосны, немного елок. Но называют эти гривы громко: борами. Что ж, по здешним масштабам, когда землю мерят, как дорогое сукно в магазине, и сто деревьев — роща. Жители, а их на острове немного, всего одна бригада рыбаков, берегут свой лес, холят каждую сосенку.

За леском, если подняться на высокий выступ, хорошо кругом видно. Туманная линия материкового берега, петляя, круто забирает влево и где-то у самого горизонта как бы образует «гирло». Там Псковское озеро постепенно переходит в Чудское. Не так уж далеко от Залиты и Белова до Вороньего камня, где Александр Невский семь веков назад разбил закованных в латы немецких псов-рыцарей. В ясную погоду на моторной лодке туда несколько часов ходу.

Из трех этих островов центральным считается остров Залита. Здесь находятся все местные учреждения: колхозная контора, школа, аптека, сельсовет, больница на десять коек, клуб, библиотека и почта.

Николай Алексеевич Хохлов, председатель здешнего сельсовета, дал мне справку, из которой явствовало, что «на острове Залита живет 804 человека, из них 745 — поголовные вековые рыбаки, 58 — рабочие и служащие и 1 — прочие».

К числу «прочие» Хохлов относит отца Николая, священника островной церквушки, бородатого старца в заштопанной рясе. Отец Николай умен и хитер, с властями ладит, сажает на острове деревья, в чистоте содержит кладбище, а проповеди к немногочисленной своей старушечьей пастве заканчивает в нужный момент призывами, что «план у колхоза, миряне, зело велик и его надо выполнить, предостеречь мужиков и особливо с Нижней улицы, чтобы до времени не глотали ее, окаянную».

Хохлов рассказывает об этом серьезно, вроде бы даже с некоторой гордостью за своего «прогрессивного» попа, а мне смешно и грустно. Смешно за проповедь, похожую скорее на речь агитатора, а грустно оттого, что местные пропагандисты рано сложили свое оружие, направленное против церкви, и не замечают, как отец Николай гибко, меняя тактику, внушает от-

сталым людям невольное уважение к вере, капает и капает ядом...

— Чудно, конечно,— оправдывается Хохлов,— действующая церквуха на таком островке. Оно хоть и молятся-то три с половиной старухи, но чудно. Все как-то некогда, понимаешь ли, религией этой, будь она неладна, заняться, как следует, рыба нас заела. Смирились мы с церковью, забыли про нее. А так, ежели другое что брать, то острова наши тихие, мало кто и знает про них. На большой карте они не обозначены, от мира как бы, понимаешь, в стороне стоят. Я вот в Ленинграде разговаривал недавно с одним шофером, и, когда он услышал, что дом мой на острове, удивился: «Какие еще могут быть там острова?» Видал? Обидно. Мы его снетком снабжаем, а он «какие такие острова». Да ты и сам знаешь все, не впервой ведь у нас?

— Четвертый раз уже,— отвечаю я.

Мы ходим с Хохловым вдоль западного берега, ищем, где проходили раньше окопы и траншеи, и любуемся закатом. Озеро спокойно, и по его темно-лакированной глади от самого горизонта пролегла золотая полоса. И необычная для материковых деревень стоит на острове тишина. Здесь нет ни одного автомобиля, нет стада и пастухов с кнутами. Коровы, а их всего несколько десятков, понуро застыли у плетней и смотрят куда-то вдаль, где есть луга, простор, мягкие сочные травы. И собаки молчат, не на кого им, бедным, полаять: кругом все свои, островные, по десять раз за день перенюханные. Только ребятишки со смехом брызгаются в мелкой воде да поет радиола в клубе, зазывая девушек на танцы.

— Вот она, родимая, где проходила,— останавливается Хохлов.— Тут как раз сорокопятка у меня стояла, а там два пулемета и ружье ПТР. Да, да, точно вот тут. В траншее только и спасались...

В войну Хохлов был комендантом этого острова. Со своим усиленым взводом он освободил его в марте сорок четвертого, подобравшись ночью по мокрому льду. И держал здесь оборону до июля, отражая яростные атаки врага. Фашисты били из орудий, посылали бронированные катера с десантами, но каждый раз откатывались к эстонскому берегу, неся большие потери.

Остров был совершенно пустынен. Отступая, немцы сожгли все дома. Казалось, что жизни здесь больше не будет. И уже на западе, заканчивая войну, Хохлов часто думал об острове, а, демобилизовавшись, решил съездить туда, посмотреть как и что.

Деревенский парень за пачку махорки переправил его через пролив, и, сойдя на берег, Хохлов испугался: тишина, домов нет, по взгорью петляют змеи траншей. Он хотел было крикнуть парню, чтобы забрал его обратно, и тут за стеной лебеды увидел девушку. Она была босая, в руке держала ведро и смотрела на пришельца бездонно-синими глазами.

— А я уж думал, тут и нет никого,— улыбнулся Хохлов, не отрывая от синих глаз своего удивленного взгляда.

— А вы в землю глядите, в земле мы живем,— сказала девушка и пошла по тропе.

Минут через пять Хохлов сидел в землянке, отвинчивал немецкую флягу, наливая, рассказывал, как был здесь комендантом, чистил вяленого леща, чокался со стариком и с этой робкой синеглазой девушкой, которую только что встретил, и все спрашивал, удивлялся и радовался, что они, столько пережив, приехали именно сюда, на остров, хотя могли бы, конечно, пристроиться где-то на материке, на лесных хуторах.

— А как же?— вскидывал седые брови старик.— Куда же нам? Мы, чай, русские, рыбаки, тут наши деды лежат, могилки ихние, родина тут наша...

Гостил, гостил на острове Хохлов да и загостился. Справил свадьбу, остался здесь насовсем, променяв на островок свое пензенское яблочное село. И теперь у него пятеро детей: один сын в армии служит, второй на службу собирается, третий в колхозе рыбачит, две дочки учатся. А жена его, как и многие, рыбачка, и сам он поначалу рыбу ловил, а теперь вот «мэр» острова.

Как и тогда, в молодые годы, он встает по-крестьянски рано, обходит своих депутатов, заседает, достает что-то, хлопочет, и во всех этих новых домах с телевизионными антеннами, в клубе, в перевыполненных планах по ловле рыбы, в школе-восьмилетке, в больнице на десять коек, в аптеке и магазине, в чистоте и зелени улиц есть, конечно, и его пот и кровь, его немалые заботы.

— Поработали вроде немало, — говорит Хохлов, — а строить еще всего — конца нет. Детсад хлопотать надо? Надо! Столовую надо? Надо! В пятницу исполком у меня, заходи, вопросы решать будем, послушаешь...

Мы договариваемся, что завтра посмотрим площадку, где возводится памятник, и я попрощавшись, иду к тетке Дуне, куда определен на «постой» сельсоветом.

Евдокия Дмитриевна Трошанова, или тетка Дуня, родилась и выросла на острове. Все типичное для местных жителей вобрала она в свою простую и нелегкую биографию. На финской ее муж был тяжело ранен, а с последней войны не пришел совсем. С двумя дочерьми и сыном, еще малолетками, угнали ее фашисты в рабство, и там она такого повидала, что долго снились ей потом кошмары.

Вернувшись на остров, по бревнышку, по колышку, до мозолей сбивая руки, с помощью соседей построила она домик на том же месте, где он и стоял раньше. Дочери вышли замуж, а сын женился. И родни у ней появилось много: невестка Нина, два зятя, и оба Ивана, здоровые, грубовато-ласковые, добрые. А внуков так и не пересчитать: Колька, Саня, Яшка, Таня, Лена. Это от дочерей. А от сына — Витька с Сережкой. Соберутся в праздник — стульев не хватает.

У дочерей свои хозяйства, свои дома, а Евдокия Дмитриевна жила с сыном Николаем, невесткой Ниной, с Витькой и Сережкой. Мужа тетки Дуни звали тоже Николаем, и она как-то особенно была довольна этим: вроде бы и не погибал ее милый хозяин, вон он во дворе топориком постукивает, точно такой же с ног до головы вылитый батя...

Хорошо она зажила, покойно, но рыбаков всегда подстерегает горе: утонул Николай. Разыгралась буря, перевернула судно, ударило по голове, и нет Николая Трошанова, русского парня двадцати пяти годков от роду. Овдовела молоденькая Нина, как бы второй раз приняла вдовство и тетка Дуня, Витька с Сережкой остались без отца...

После похорон сына тетка Дуня слегла и думала, что уже не встанет, а внуки теребят за подол:

— Ба-бу-ня, а когда мамка с рыбалки приедет?

Нет, не время еще ей, видно, умирать, вот уж этих парней до женихов поднимет, тогда разве... И все свои силы, всю свою любовь стала Евдокия Дмитриевна отдавать Сереге и Витьке и их матери, работящей ласковой Нине.

Когда я, расставшись с Хохловым, вошел в избу, бабушка Дуня, оттирала ребятам керосином руки, а Нина ставила самовар. Нинин брат катал мальцов на лодке, возил их аж к Жидилову Бору, и где-то там, на причале, угораздило их переляпаться в мазуте. Время уже позднее, и ребята сомлели, отказались от супа со снетками и, вымытые, переодетые, ткнулись в подушки и тут же заснули.

А мы сидим и пьем чай, говорим о погоде, о рыбе, о последних известиях, переданных по радио. Этой весной, сообщает бабка, «гораздо хорошо ловили, снетов было — рисцы всплывали», и Нина за одну путину заработала триста девять рублей. Сам снеток густо шел, да и рыбаки старались. План у колхоза — семнадцать с половиной тысяч центнеров, а наловили уже пятнадцать. И это только в разлив, по большой воде. А ведь еще будет осенняя путина, соймы пойдут в Чудское озеро за ряпушкой, за сигом, за судаками, лещом и окунем.

— Ничего, жить можно, — говорит бабка Дуня, — такой жизни, как сейчас, не было на острове. Вот только бы тихо да мирно, а так что же не жить, жить можно... Сама еще видишь, работаю, в сельсовете прибираюсь, то да се...

И бабка и Нина отлично разбираются в лове, в снастях, в рыбе, и, слушая их, я представляю, с каким нетерпением и радостью ожидают настоящего лова рыбаки. Лед еще не растаял, а на берегу уже толпы, горят костры, пахнет смолой, мужики, покуривая, рассуждают, что нынче у Козлова берега должна бы хорошо идти рыба или в омуте, в городском устье, в Красных горах. В центре внимания ветераны: Митин, Писарев, Гришанов, Дарьин. Но вот появляется Татьяна Ивановна Кочевина, молодая, быстрая, и все смолкают, слушают только ее. И не потому, что Кочевина — председатель здешнего островного колхоза. А потому еще, что по рыбацкой части она, как гово-

рится, любого заткнет за пояс, не боится ни бури, ни бога, ни черта, дело по-настоящему знает, строга, правдива, умна, учена, из старинной рыбацкой семьи Кочевных. Она всех насквозь видит, словцо скажет — любой ухарь поубавит прыти, замолкая, отойдет в сторонку.

Но вот лед растаял, и озеро, как бы обрадовавшись, играет бликами, весело плещет волной. Рыбаки уже в сборе, в робах, в высоких сапогах, выпаренные накануне в бане, одетые в чистое, побритые. У причала смех, шутки, провожания. Витька с Серегой держатся за свою маму, толкутся у воды, а бабка Дуня сует Нине узелок, повторяет тысячу раз сказанные слова. Взлетают весла, гудят моторы, на катерке уезжают на базу Кочевина, Хохлов и бухгалтер, представитель «Рыбакколхозсоюза». Остров пустеет, погружается в ожидание, считает дни и часы.

И эти часы наконец приходят. Первыми замечают рыбаков мальчишки. Они видят еще никому не видимые точки на сером горизонте, истошно орут. Рыбаки сходят на берег грязные, заросшие, с красными от недосыпания глазами, но улыбчивые, довольные.

— Дя-а-дя-а Ва-а-ня-а! — кричат Серега и Витька. — А мама где? Где наша мама?

— На моторке она! Сейчас подъедет! — перебивая друг друга и размахивая руками, отвечают оба Ивана. Они не ждут, когда нос баркаса ткнется в белый песок, прыгают прямо с кормы и, похожие на мушкетеров в длинных своих рыбацких сапогах, горланя, идут к берегу. Не ожидая их приближения, бросаются в чистую волну и ребята, и такой гвалт, такой визг поднимается у причала. Каждый рыбак почему-то считает своим долгом потискать и подбросить вверх обалдевших от радости Нининых мальцов, сказать им теплое слово, взъерошить огрубевшей ладонью их белесые волосенки. Подъезжая следом за баркасами, Нина видит с моторки эту сцену, и теплая волна обдает ее сердце...

А по всему берегу уже собирают дрова, несут щепки, разводят на старой теплине огромный костер. Улов сдан на приемном пункте, но оставили рыбаки с ведро ершишек, окуньков, несколько судаков и подлещиков — как раз то, что и надо для общей традиционной ухи. Рыбаки вообще-то не так уж и голодны, и уха

эта нужна им, собственно, не столько для еды, а больше, конечно, для дружеской беседы, для завершающего, как говорит звеньевой Малышев, «антуража».

Петр Никитич Малышев еще сравнительно молод, но удал, не кого-нибудь, а именно его наградили за умелую ловлю рыбы орденом Ленина, и сейчас он возле костра, как и на озере, по праву верховодит или, вернее, больше других работает: подбрасывает щепки, расстилает на траве газеты, кладет на них соль, деревянные щербатые ложки. Малышев живет на острове Белова, и это дает повод залитским рыбакам отпускать в его адрес разные шуточки. Никаких раздоров, конечно, между островами нет, и стрелы юмора направлены в основном на известные всем смешные привычки людей или на географические особенности острова.

— Эй, Петро! — шумят залитские. — Ты бы, парнища, дровец-то из своих королевских боров привез, очень уж дремучи у вас на Белове боры!

— А и впрямь, мужики, дремучи у них боры. Генка Чашкин да из Гавриловых кто-то заблудились надысь в бору-то...

— Так шли-то откуда? Из сельпо, чай, шли. А несли чего? А несли это самое, как оно говорится...

Смех, взорвавшись у костра, катится по берегу, подхватывают его вышедшие встречать своих мужей женщины, старики, пенсионеры и дети, стайкой воробьев облепившие причал. Но вот уха готова, кто-нибудь из стариков, шаркая по траве валенками, подходит к котлу и по заведенному обычаю снимает пробу. Заметно дрожит в руках деда ложка, но варева не прольет он ни капли, подует сначала, пошамкает губами, отхлебнет, закатывая глаза, и обязательно сделает какое-то замечание:

— Сольцы бы самую малость...

Может, и не нуждается уха в соли, но деда уважат, бросят щепотку и посадят его потом, как и других ветеранов, поближе к костру, плеснут в граненый стакан несколько глотков водки. Эти глотки дед, задрав бороду, тянет долго и еще дольше нюхает хлеб, кашляет и крутит головой. А рыбаки, прежде чем выпить, чокаются с Ниной, которую они не отпускают от себя, подают ей огурец на вилке, ухаживают. И Нина

держится просто. Не отказывается пригубить немного, зная, что тост не столько за иее, хотя и хорошую рыбачку, а за Николая, мужа ее покойного, которого так все любили...

После короткой паузы, когда слышно лишь позвякивание ложек, кто-нибудь скажет, как Нина, выбирая иевод, слава богу, вовремя заметила плывущую под виит корягу. И иачнутся после этого воспомииания, каждый рассказывает какой-то случай. И все эти случаи, рядовые и в общем-то будиичные, наполняются сейчас глубоким, зиачительиым смыслом. Каждый как бы заиово переживает урагаииый ветер напротив Изменки, когда унесло брезент, перевериуло лодку и три смельчака искупались в ледяной воде. Или вот еще оказия: заглох в решающую мииуту мотор в одном звене у беловцев, и поиесло их под кручу, где свисали над бушующей водой толстые кориевища сосеи. В кровь изодрали тогда рыбаки себе руки о просмоленный каиат, ио баркасы удержали. Да мало ли за путину всего бывает — и ничего, помощь приходит вовремя, один, как говорится, за всех, все за одиого. Сейчас хоть сети сплошь иовенькие, капроиовые, катера мощные, а раньше, когда колхоз после воеииой разрухи только на иоги вставал, когда вся иадежда на весло да парус была, куда трудиее порой приходилось.

Посидев еще с час на берегу, пересказав все истории, рыбаки расходятся иаконец по домам.

А вечером снова собираются вместе. Но теперь уже в клубе, одетые в чистое, побритые, с женами и ребятами.

Еще утром у клуба подмели дорожки, выставили на подокоииик радиолу, и оиа поет, заливается вальсами, слышиа ее музыка аж у эстонских берегов. Васюха Писарев, заведующий клубом, молодой еще пареиь, недавний рыбак, певец и таицор, «любимец публики», покрикивает на девчоиок из хора, разгоняет любителей бильярда, уставляет сцеиу.

Но вот все успокоились, растаял последиий аккорд колхозиого духового оркестра, подмеиявшего радиолу, и торжества иачииаются. В президиуме, иа второй скамейке, рядом со зиатиыми рыбаками, сидит и Нина Трошаиова. Оиа в голубом платье, в два ряда свисают

по груди крупные белые бусы, н это новое платье, белизиа украшений еще ярче подчеркивают ее темиокоричневое обветренное лицо. Нина стесняется, не знает, куда деть свои руки, прячется за широкую спину Петра Малышева, сидящего впереди.

— Вступительное слово о весеииеи путиие, — объявляет Николай Алексеевич Хохлов, — имеет председатель иашего колхоза товарищ Кочевина!

Татьяна Иваиовиа говорит эиергично, без бумажки, иазывает фамилии отличившихся на лове рыбаков, тонны рыбы, катера, звеиья, прибыль в рублях. Почти в каждой ее фразе слышится знакомое слово — «снеты».

После короткого доклада Татьяиа Иваиовна иачинает вручать премии и подарки передовым рыбакам. В зале становится шумно. Каждого премироваииого от сцены и до места провожают аплодисмеиты, яростиые всплески духового оркестра, выкрики:

— Разверии, Ваня, бумагу-то, покажи иаграду!

— Обмыть надо, а то заржавеет!

Получила подарок и Нииа Трошанова. Обеими руками взяла оиа сверток, не подиимая глаз, быстро прошла иа свое место и положила его иа колени. Ей не терпелось поскорее узнать, что там, под бумагой, да неудобио было в президиуме разворачивать стяиутый веревочкой сверток. Но вот оиа увидела нз-за спины Малышева тетку Дуию, свекровку свою, н ребят, сидящих с ией рядом, и осмелела, иадорвала уголок. Отрез цветастой тоикой материи — вот что вручили рыбачке Ниие Трошановой.

Этот отрез она виимательио рассмотрела уже после торжественного собраиия вместе с бабкой Дуней н сыиовьями. Оии пересели ближе к сцене, чтобы получше видеть концерт или, как говорит бабка Дуия, представлеиие.

— Хорошее, Нииа, платье выйдет. И голубеиькие эти цветочки как раз к твоим глазам. Ну как раз...

— Да иу тебя! Скажешь тоже! Мие светлое больше подходит...

— А мы воротиичок белый иашьем. И бусы у тебя модиые...

— Мам, а ружье, как у Федьки, купишь? — дергает за рукав Серега.

— А мне шоколадку и наган, который водой стреляет, — просит Витька. — И еще губную гармонь.

— Куплю, куплю, — обещает Нина и сажает Витьку к себе.

— Внимание, внимание! — кричит со сцены Василий Писарев. — Я па-а-а-прасил бы, — ударяя на «а» и несколько рисуясь, продолжает он, — я папрасил бы, граждане рыбаки, абсолютного внимания, поскольку наша труппа, если рассматривать ее с точки зрения районного смотра, где мы, как вам известно, заняли хотя и не первое место, но...

— Кончай болтать, Васька! Аркадия Райкина все равно из тебя не выйдет! Начинай дело! — шумят в зале.

Медленно раздвигается занавес, и перед зрителями предстает хор — гордость колхоза. Женщины в длинных платьях, мужчины при галстуках, на лицах — строгость, сознание ответственности.

— Ишь ты, мать честная! — шепчет, покачивая головой, бабка Дуня. — Верку-то и не узнать! А Митрий-то наш — артист, фу-ты ну-ты!

Бабка Дуня очень любит представления в клубе, и каждый раз удивляют ее и радуют местные артисты. Вот только в полдень смолил лодку сосед по дому, а сейчас он, простой мужик, изображает купца первой гильдии, гладит приклеенную бороду, сердито стучит палкой, и если бы не знакомый голос да пулевой шрам на лбу, ни за что бы не узнать его. Самодеятельность на островах славится массовостью, среди рыбаков много и певцов, и баянистов, и танцоров, декламаторов, балалаечников. Недаром на путине, когда соймы заходят для ночлега в тихие заливы, подолгу не смолкают песни. Покачивает суденышко легкая волна, тлеют в чугунной печурке угли, а рыбаки, поужинав, слаженно тянут старинные «страдания», и плывет над водой их грустная песня, растворяется в белой северной ночи...

Сегодня артисты в особенном ударе. Сцена содрогается от топота ног, заливается баян, колесом ходят плясуны, сменяют друг друга певцы, и бабка Дуня, прижимая к себе внука, чувствует на щеках теплые слезы, лезет в карман за платочком. Притихла, задумалась и Нина, сошлись у переносья ее белесые бро-

ви. А молодеиькая певица, стараясь изо всех снл, выводит «Рязаиские мадоииы», «Ивушку», «Куда ведешь, тропиика милая...».

— Эй, Дуия! Где твой постоялец? — стучит в окошко Хохлов. — Зови его, к памятиику пойдем!..

Еще в первый деиь моего приезда обещал Николай Алексеевич показать памятник, ио времеии у иего ие было, и вот только сегодия идем мы с ним к тому священиому месту, о котором миого говорят иа островах.

— Проблемы, поиимаешь ли, замучили, — жалуется Хохлов, уступая мие тропиику, петляющую в зарослях иваи-чая. — Уйду, иаверное, я с этого поста... Годы, поиимаешь, ие те, иет уж той прытн...

— А какие проблемы-то?

— Да мало лн! Сейчас вот безвремеиье иаступает, рыбу до коица лета ловить ие будем. Надо сеио заготовлять, дрова. Опять же крыш худых много, а кровли по разнарядке отпускают — иервотрепка одиа. Телевизоров, поннмаешь лн, машии стиральиых иакупили, есть оии в магазиие, а шифера иесчастиого — дием с огнем не сыщешь. Миогим делать абсолютно иечего. И заиять иечем. Хотя бы мастерскую какую-то открыть, артель оргаиизовать. Дело зто, коиечио, колхозиое, ио ведь болнт сердце, прндумывать что-то надо, решать в комплексе. Да вот еще милиция.

— А милнцня при чем?

— Как огия боятся милициоиера, хотя ои к этому делу касаиия вроде бы не имеет. Из-за сиетов все пошло, нз-за рыбоваркн. Колхоз каждому, если плаи выполиеи, отпускает по сто килограммов сиетка в год. Вот эти-то сто килограммов и иазывают здесь рыбоваркой. Нельзя же, живя у воды, рыбы ие видеть. Что это будет за рыбак, если у него дома нет иа суп горсти сиетков? И колхоз дает рыбу. Это по закону положеио. Но в этом же закоие есть, поинмаешь ли, малеиькая оговорочка: «без права продажн». Хоть лопин, но сам весь сиеток съешь илн выброси. А на базар — не смей. А как же без базара той же, скажем, Ниие Трошановой? Надо н это купить и то. И вот идут рыбаки иа базар, а их там ловят — н в милнцню.

Таких конфликтов — десятки. Я как представитель Советской власти ставлю вопрос категорически: неправильно это. Мы уже в Москву бумагу написали. Областные власти, понимаешь, палку гнут...

Недоволен Хохлов был и планированием, которое позволяло вылавливать иногда нерестовую ряпушку, жаловался на районный исполком: мало внимания островам уделяют, особенно торговле и быту. В его голосе, правда, не было того «критического металла», говорил он в общем-то довольно добродушно, и я, зная крестьянскую прижимистость «мэра», хорошо понимал его психологию: не прибеднишься, не разжалобишь, не попросишь — не получишь, под лежачий камень вода не течет.

— Проблемы всегда будут, — как бы читая мои мысли, говорит Хохлов. — Обидно только, когда, понимаешь, в лень да головотяпство упирается дело. Левее давай, левее, тут поближе и крапивы нет...

Мы подходим к памятнику. Его пока еще, собственно, нет, но все так говорят — памятник. Он скоро будет. Вот на этой заваленной кирпичами площадке взметнется ввысь серый обелиск, а на обелиске загорится красная звезда. Звезда уже готова, ее привез из Москвы земляк рыбаков генерал Матаев. Красный огонь будет виден за десятки километров, он будет служить маяком проходящим судам. Поплывут туристы в Тарту, вспомнят Ивана Яковлевича Залиту, Ивана Сидоровича Белова, Александра Васильевича Шляпникова, Осипа Ивановича Хорева, Ивана Ивановича Галахова... Пойдут рыбаки к Вороньему камню за лещом и сигом, поклонятся геройским землякам своим...

Хохлов на моторке возил меня к тому месту, где были расстреляны и сброшены в воду островные большевики. Их взяли ночью воровским путем. Это было в первых числах октября восемнадцатого года. На псковской земле бродили тогда банды Булак-Балаховича. Отряд Пермикина, куда входило немало купеческих сынков с островов, в том числе и Федоров, злобный белогвардеец, на рассвете под прикрытием тумана подкрались к Талабску на бронированном пароходе и открыли пулеметный огонь. Часовые Николай Прусов и Василий Екимов были тут же срезаны очередя-

ми. Белогвардейцы цепью, стреляя на ходу, побежали по улицам. Они торопились к домам большевиков Хорева, Галахова, Шляпникова, Залиты и Белова. Они знали здесь каждую тропинку. За каких-то полчаса все коммунисты, за исключением Белова и Залиты, были арестованы.

— А где же основные главари? — стучал маузером Пермякин. — Сыскать немедленно!

— Белов, ваше благородие, находится сейчас на острове Верхний, — услужливо сообщили местные кулаки, — а Залита, самый-то вождь ихний, в Толбице ночует, в крайней избе. Это точно, ваше благородие, наши сказывали, что из Торошина он возвращался и остался на день в Толбице, чтобы, значица, большевистскую ересь среди крестьянства пущать. Можем показать, ежели что, сопроводить...

— А ну, живо! Взять всех — и ко мне!

К вечеру все пятеро большевиков были заперты в сыром, темном трюме парохода. Иван Яковлевич Залита уже не мог двигаться: его сильно избили при аресте. Товарищи как могли ухаживали за ним. Они любили своего вожака. Иван Яковлевич приехал на остров еще в шестнадцатом году и заведовал пятиклассной школой. С аккуратной профессорской бородой, в пенсне, он казался спокойным, безвредным интеллигентом. Царские власти и не подозревали, что этот хрупкий учитель создал на крохотном острове, где все на виду, подпольную большевистскую организацию. Под видом рыбалки революционеры выезжали на лодках к нижней протоке и проводили там собрания, читали ленинские книги. И все чаще и чаще рыбаки, настроенные коммунистами, высказывали недовольство.

— До каких это пор кучка богатеев всех нас в кулаке будет держать? У них и сети, и соймы, и деньги, а у нас ничего! Когда справедливость наступит?

Справедливость наступила после Октябрьской революции. Иван Яковлевич Залита побывал у Ленина, потом возглавил Советскую власть на Талабске. На острове Верхнем единогласно был избран в Совет Белов. Осипа Ивановича Хорева партия назначила комиссаром красноармейского островного отряда. Галахов и Шляпников возглавили комитет бедноты.

Опасное и голодное тогда было время. Коммунисты не спали ночами, недоедали, ходили в чем попало, но не унывали, верили в ленинскую правду. Они были настоящими, верными бойцами, и сколько раз видели люди, как Иван Яковлевич Залита или Белов, выбивая для рыбаков снасти, хлеб, керосин, одежду и обувь, буквально падали от истощения и усталости. Жителям запомнился случай, когда Залита нес на своих худых плечах моток снетковой сети, четыре буханки хлеба, полпуда соли и где-то на пути к Толбице упал на дороге. Узнала его старуха из Жидилова Бора, всплеснула руками:

— Сердешный, да в чем у тебя душа-то держится? Ведь ты же учителем был, а теперь, говорят, самый большой начальник на Талабске. Что же это ты, милый, хлеб несешь, а сам с голоду валишься.

— Дети у нас, мать, пухнут, двадцать детей...

— Святой ты человек, соколик, хоть и антихристова печать на тебе. Когда это, господи, такие-то начальники бывали? Держи-ка, родимый, вот ситничка кусок. Да и пойдем, я помогу тебе...

Вот такими они были, коммунисты с рыбацких островов. Немного успели они сделать. Но ничего. Доделают другие. Теперь уж наверняка доделают. По-человечески заживут рыбаки. Хотелось бы увидеть ту жизнь своими глазами. Но, видно, не судьба. Не оставят в живых беляки. Не за этим ловили...

Бурлит за железной стенкой вода. Через тусклый иллюминатор виден лесистый берег. И вдруг звон замка, резкая команда:

— По одному на палубу, подымайсь!

Вышел из трюма Шляпников. Белов и Галахов вывели Залиту. Встал рядом с ними Хорев. Стоят коммунисты, смотрят на палачей. Где-то слева, в пяти — семи километрах, их семьи. У Ивана Яковлевича Залиты два сына. У Галахова десять ребят — мал мала меньше.

— На-а-а-чинай! — орет Пермикин.

Для устрашения коммунистов расстреливали по одному и, привязав к ногам груз, сбрасывали в озеро. Умирая, никто из них не дрогнул.

Об этой трагедии долго никто ничего не знал. Потом пошел слух, идущий от команды парохода и от

белых солдат. А затем и тела убитых нашли. Ивана Яковлевича Залиту отнесло к деревням Молгово и Жидилов Вор. Его опознали по профессорской бородке и по истертой тужурке, в которой он последнее время ходил. На своем кладбище крестьяне и похоронили его.

А Шляпникова, Хорева и Галахова прибило ближе к своему острову, к дому. У Хорева были отрублены кисти рук и ноги по колено. Следы шашек зияли на телах и его товарищей.

Место захоронения Белова неизвестно. Старики говорят, что его якобы выловили эстонцы и зарыли у себя.

— Вот тут примерно сбрасывали их в воду, — показывал мне Хохлов, когда приплыли мы с ним на моторке к месту казни. — Рыбаки наши, проходя здесь, шапки снимают...

Мы долго молчали тогда. Берега были еще видны. Белела колокольня на острове. Тяжелые капли воды мягко падали за бортом. Озеро лежало покойно. Утки рядом с нами снимались с воды и летели в сторону отмели, к травянистой камышовой луговине. Подсвеченные солнцем, красновато, точно подтеки крови, шевелились придонные растения...

— Мы никогда их не забудем, — сказал Хохлов, вздыхая. — Я сынов своих возил сюда, рассказывал...

Эти слова насчет сынов он повторяет и здесь, возле будущего памятника.

— Молодежь у нас крепкая, — говорит Николай Алексеевич, раскрывая папиросную пачку. — Традиции хранит свято. Вот хоть Галахова взять. Он ведь, как я говорил, десятерых детей оставил. И все стойкостью в отца пошли. Жену его тоже к виселице за связь с красными уже подводили. Чудом спаслась, жители заступились. Все это старший сынок их видел, Саша. Он стал таким же бойцом, как отец. Юнцом еще комсомольскую ячейку возглавил, братьев своих и друзей на борьбу поднял. Смерть и над его головой не раз стояла, но выстоял парень. Военкомом был потом. И погиб на границе в первом бою с фашистами. Его имя вместе с отцовским на памятнике выбьем. И братьев его, отдавших жизнь за Родину...

Хохлов поднимает осколок гранита, отколовшийся от плиты, гладит его пальцами и бережно убирает в карман.

— И в эту, последнюю войну тоже был случай,— продолжает он после некоторого раздумья.—Когда освободили мы остров и народ постепенно вернулся сюда, мальчишки пришли к нашему офицеру и зовут его с собой, что-то показать хотят. Только, говорят, пусть солдаты с лопатами еще пойдут, что-то раскапывать надо. Раскопали солдаты землю возле одного пепелища и видят какой-то предмет, завернутый в одеяло. Развернули—а это Ленин. Бюст Ильича бронзовый. Возле школы он на постаменте стоял. Фашисты его сбили и закрыли в сарае на берегу вместе с цветным ломом. Ребята ночью подкрались и унесли этот бюст из-под носа часового. На второй день, когда баржу грузили, толстый фельдфебель из хозяйственной команды обнаружил пропажу. Долго лютовали немцы, разыскивая бюст. Шомполами били, расстрелы имитировали—никто ни звука. Их, фашистов, видно, не так сам бюст задел, как упорство, стойкость рыбаков. В школе теперь этот памятник, в пионерской комнате...

— А где те ребята, которые прятали его?

— Теперь они уж не ребята. Ты видел их, когда уху-то варили. Соловьев, Капкин и Анашкин. Передовые рыбаки. У самих уже сыны в армии служат. Да мало ли у нас крепких людей! Острова наши хоть маленькие, а народ здесь стойкий, любой ветер открытой грудью встретит...

В воскресенье в полдень, попрощавшись со всеми, я уезжаю на «Ракете», идущей из Тарту на Псков. «Ракета» останавливается в некотором отдалении, и мы, пассажиры, подплываем к ней на лодке. День сегодня как по заказу: тихо, на бледно-голубом небе ни облачка. На берегу, возле правления, Татьяна Ивановна что-то говорит Хохлову, а тот, размахивая тощей дерматиновой папочкой, с которой он обычно ходит на сессии, видимо, возражает ей, с чем-то не соглашается. Рыбаки волокут в заливчик старую сойму. Нина Трошанова, стоя по колено в воде, чистит песком ведро. Серега и Витька гладят соседского Джека. Два Ивана, зятья бабки Дуни, несут по улице доски. Путаясь в рясе, куда-то спешит отец Николай.

— А-а-ня! Анюта! — кричат с берега. — Будешь в городу-то, дак дрожжей не забудь и батарею Андрюшке для «Спидолы»!

Мы перебираемся из лодки на палубу, и «Ракета» срывается с места. Я вижу, как Нина, Серега и Витька машут рукой. Я отвечаю им до тех пор, пока белый бурун, разрастающийся за кормой, не скрывает меня из вида...

И вот я снова на рыбацких островах. Как и тогда, ярко светит солнце. И так же мальчишки, закатав по колено штаны, стоят на песчаной отмели с удочками. Весь берег оживлен, суденышки загружались сетями и провиантом, шла проверка моторов, прицепных барок и палубных надстроек.

— Завтра на ряпушку идем, — пояснил Кочевин, ловко притирая катер к дощатому настилу. — Пока девять бригад нарядили. Потом еще пять отправим. До конца августа будем ряпушку ловить, леща и сига, а в сентябре снетковая страда начнется. На Чудское озеро двинем, к Подборовью, к Кобыльему городищу и дальше...

Многих я узнаю в толпе, здороваюсь с радостью. Вот Нина Трошанова, передовая рыбачка. А это бабка Дуня, у которой мне приходилось ночевать. В высоких резиновых сапогах стоит возле лодки Николай Григорьевич Великопольский, звено которого уже выполнило план этого года: восемьдесят пять тонн взяли снетка рыбаки за весеннюю путину. Подходит Татьяна Ивановна, жена Кочевина. Когда Юрий Иванович учился в партийной школе, она его замещала на председательском посту: так собрание постановило. Она тогда неплохо справлялась с председательскими обязанностями, это я сам видел...

Заметны на острове Залита изменения к лучшему: домов новых порядочно поприбавилось, водопровод появился, газ баллонный. Люди стали жить богаче и культурнее. Но Кочевин недоволен работой: рыбы мало. Лет десять назад одного только снетка вылавливали больше двух тысяч тонн, а в семьдесят девятом году и пятисот тонн не взяли. План нынешнего сезона — полторы тысячи тонн. Это всей рыбы. За весну

только одна треть плана покрыта. А где еще тысячу тонн брать? Снеток одно время совсем исчез, года четыре его не было. Говорили, что жара повлияла или же сказывается слабая биологическая очистка воды. Пришлось побочные промыслы вводить. А какие промыслы? Не мастер Кочевин на это, он рыбак. Сначала ошибся маленько, поддался на предложение хваткнх жулнковатых ребят, выговор схлопотал. А потом вот рукавицы стал шить, авоськи вязать. Около сотни коров колхоз на материке держит, сорок лошадей, картошку сажает, овощи, травы сеет. Это, конечно, отвлекает от основного дела. Вон эстонцы, рукой до них подать, одно озеро тех и других омывает, а дело по-иному ведут: занимаются только рыболовством, на это все силы бросают, молодежь у них держится, доходы большие. Есть у них хозяйства, где и переработка рыбы поставлена на месте, заводы свои. Они ни от каких трестов и контор не зависят, всю прибыль сами считают...

— Проблемы у нас те же, что и в других псковских рыбацких колхозах,— говорит Кочевин, сбрасывая пальцами костяшки счетов.— Как вот ни прикидывай, а получается, что рыбу ловить не очень выгодно. Выгоднее рукавицы шить. А рыба есть. И если с умом ее вылавливать, по науке, то озера не оскудеют. Надо дело так поставить, чтобы и нам, рыбакам, было выгодно и государству тоже...

На второй день, вернувшись с острова Залита, я решил еще раз заглянуть в учреждения, но уже только в специальные, в рыбацкие. Теперь их, кажется, три: «Псковрыбпром», «Псковрыба», «Рыбакколхозсоюз». А раньше поменьше контор было. Но, может, и необходимы они, коли создали. Важно, чтобы у рыбы настоящий хозяин был, все в одном кулаке держал. Говорят, что этого пока не получается. Рыбацким колхозам данные учреждения помогают мало. Колхозы ловят рыбу, а они «осуществляют ее движение в нужном русле»...

Зашел я в «Псковрыбпром» к Ивану Стефановичу Тишину. Он генеральный директор объединения, в данной должности третий год, а до этого возглавлял «Ры-

бакколхозсоюз», все тонкости рыбьих проблем знает досконально. Рассказываю ему об острове Залита, о заботах и печалях Кочевина, и Иван Стефанович, во многом соглашаясь, говорит:

— Будем поправлять положение. В одиннадцатой пятилетке вылов из прудов планируем увеличить в полтора раза, а из озер — почти в три раза...

— А рыба появится? Живая? В магазинах?

Тишин улыбается, уверяет, что положительные изменения обязательно наступят. И сейчас уже можно было бы брать снетка, скажем, не тысячу с небольшим тонн на всю область, как в прошлом году, а раз в шесть больше, другой рыбы не пять тысяч тонн, а за двадцать и тридцать тысяч тонн, если бы оснащение бригад и звеньев было на современном уровне. Ко многим озерам так просто не подступишься, заболочены они, кустарником поросли, камышом, кое-где коряг много, хлама разного, еще войной оставленного, и нужна специальная техника, чтобы пробиться к воде и забросить сети. Появилось у невельских рыбаков несколько списанных амфибий, и сразу же оживилось дело: Виктор Долголанко забирался на двух машинах в самые глухие места и закидным неводом много выловил хорошей рыбы. Нет даже летних вагончиков, где бы люди могли отдохнуть, переночевать, пообедать, переодеться, укрыться от кровососущего ненасытного гнуса. А ведь и зимой рыбу ловить можно, изподо льда. Без теплых передвижных домиков никак не обойтись. В общем, быт не наладишь, последняя молодежь уйдет из рыбацких звеньев, люди сейчас везде нужны...

Немало недостатков и в ведении прудового хозяйства: кормов нужных не поставляют, удобрений, техники. Да и сами пруды в некоторых районах находятся в жалком состоянии, с тридцатых годов не ремонтированы, мелководья заросли жесткой травой, образовались плавни, общая их площадь сократилась почти на одну треть. И ведь есть у кого поучиться прудовому делу, опыт ценный накоплен. Поехали бы псковичи хотя бы в Узбекистан и посмотрели, как в безводной, жаркой республике рыбу выращивают. В миллионном Ташкенте можно свободно, без очередей, купить живого мясистого карпа, толстолобика. И жареная есть,

копченая, заливная. На любой вкус! А тут у такой большой воды и без рыбы...

Старые знакомые пригласили меня на природу под Струги Красные. Есть там большое красивое озеро. Широко раскинулось оно за деревней, издалека смотреть на него — не насмотришься. А вблизи, на лесистых берегах — черт ногу сломит: валяются сломанные сучья, головешки, банки, стекла от бутылок.

— Дед, послушай-ка? — обратился я к старику, идущему с веником от бани. — Это чье озеро?

— Как — чье? Ежели по-людски, то богово, а по бумагам, слышь, колхозное. А что, порыбачить хочешь? Ловн, рыбы тут много и раков полно!

— А почему так грязно?

— Так все они охальничают, туристы. И сейчас вон на острове, поди, буянят. Спасу нет, машины, мотоциклы, с ленинградскими и даже московскими номерами, мужики все справные, в теле, в штанах узких, с ружьями, со спиннингами, а то с сетями. И баб с собой привозят. Нам не жалко, лови, но не хулигань...

Таких «боговых» водоемов немало в отдаленных местах. Охраняются они неважно. И Кочевин, и Тишкин говорили мне, что браконьеры на озерах урон немалый приносят. И на прудах тоже...

Мы за какой-то час надергали десятка четыре увесистых окуней, поймали два щуренка. И сварили уху. Даже на улице разливалась она неповторимым ароматом. Я вспомнил Кочевина, его подковырки насчет морской рыбы. Конечно, никакого сравнения. Живая пресная рыба — это же чудо из чудес. И хорошо, когда она доступна каждому. И сельскому жителю, и городскому. Это нетрудно сделать. Особенно у такой большой чистой воды.

СЕЛЬСКИЙ ДВОР

— А вот уж годов десять такой-то жары у нас вроде и не бывало. Травы сухие, даже росы по утрам нет, скотину слепни жалят...

Разговорчивый пастух зачерпнул в родничке берестяной посудинкой, напоил нас, а потом и сам отпил несколько глотков, специально проливая холодную воду на свой щетинистый рыжий подбородок. Сильно по-местному окая, он принялся пересказывать народные приметы о погоде, и Назаров с живым участием слушал его, как будто важнее этих примет и не было для него сейчас другого дела...

Владимир Григорьевич Назаров — первый секретарь Костромского райкома партии. Мы едем с ним в старинное село Сандогору, где он хочет познакомить меня с крестьянской династией Егоровых, показать сельский двор, который, по его мнению, для пользы дела надо всячески пропагандировать.

— Золотые мужики эти Егоровы, — восхищенно говорит Назаров. — Три брата их, и все механизаторы. Детей у каждого по двое да по трое, и те тоже все при машинах, при своей колхозной земле. И во всем у них, понимаешь, порядок, этакая крестьянская солидность, устойчивость...

Давненько я знаю Назарова и помню, что всегда он был жаден до нового человека. А это для партийного работника — основа основ. Еще в знаменитом колхозе у Прасковьи Андреевны Малининой, где Назаров был секретарем парткома, его отличала эта ценная черта. Он любил людей, знал о них все, имел на них влияние. Нетороплив и негромок, несколько застенчив и мешковат с виду, он неизвестно чем и брал. Да и не так уж важно, чем именно. Важно, что был он вожаком. Вожаком и сейчас остался. За эти четырнадцать лет, что ходит Назаров в первых секретарях, район заметно вырос. Из деревень теперь почти никто не уходит. Одна треть всех работающих — это молодежь комсомольского возраста. Не так-то просто это было сделать, когда в самом центре района промышленная растущая Кострома.

С пятого класса уже всех школьников окружали особым вниманием, беседовали с родителями и с самими ребятами, приучали их к крестьянскому делу, создавали славу лучшим семейным династиям, заботились о бытовых условиях... Доходить до каждого человека — с этим Назаров встает и ложится. И райкомовских своих работников учит искусству воспитания людей. Сейчас

это на первый план выходит. Нравственные проблемы, они самые сложные. И машин в ином колхозе, смотришь, с избытком, в домах достаток, надбавок разных много, премий, а хозяйство топчется на одном месте, годами пробуксовывают какие-то шестеренки...

— Партийная работа никогда не была легкой, а сейчас усложнилась еще больше, — говорит Назаров. — Надо постоянно новые формы искать...

Время уже к полудню движется, а мы и полпути не проехали. Повсюду Назарову надо остановиться, с кем-то поговорить. То вот с пастухом у реки, то с горожанами, убирающими клевер, с бригадиром возле силосной ямы, с продавцом сельской лавки, куда не завезли вчера хлеб. Сегодня воскресенье, но никто не отдыхает, все в поле и на лугах. Вот-вот жатва начнется, сухие, горячие дни приблизили ее, а сенокосы еще не закончены, не завершена заготовка кормов. Последние три года буквально в воде плавали, картофельных борозд не было видно, а сейчас вот неимоверно сушит, желтеет все на корню. Но на погоду все трудности не свалишь, в мелиорацию денег вложено много, на полив и осушение, и жители городов, зная это, хотят не объяснений, а изобилия разных продуктов в магазинах и на рынке. Работать надо лучше, подтягивать все отрасли до уровня передовых хозяйств — вот в чем дело. А то у одного в любой год хлеба густые, а у другого — смотреть стыдно...

— Продовольственная программа, по-моему, должна начинаться с каждого сельского двора, — говорит Назаров. — Сельский двор, приусадебный участок — это немалый довесок к общему колхозному караваю.

— Но не все дворы этот довесок дают. В иной деревне стакана молока не найдешь...

— Только не в нашем районе. У нас почти повсюду угостят по-деревенски: и молоком, и яблоками, соленьями разными, и медку к чаю подадут. В той же Сандогоре коров уже за двести перевалило. Сейчас уточню...

Владимир Григорьевич вынимает из кармана блокнотик, листает его:

— Так, колхоз «Сандогорский»... Двести тридцать пять коров на триста сорок хозяйств. Не густо, конечно, но ведь, кроме коров, люди поросят выращивают,

телок, гусей, кур. Пять лет назад в этих местах всего по одной корове на двадцать дворов было, а теперь дело на поправку идет...

— А как рынок в Костроме? Богат ли?

— Рынок? — Назаров медлит с ответом, хмурится, как бы что-то вспоминая, и я чувствую некоторую неловкость: зря задал такой вопрос, не может же первый секретарь райкома всего охватить. Приехал я как-то в Гдов, в небольшой городишко на Псковщине, и с утра не мог не то что позавтракать, а даже чашки чаю выпить: в одной столовой повара были пьяные, в другой — амбарный замок висел на двери. Стал я жаловаться в райкоме партии: так, мол, и так, дорогие товарищи, приезжему человеку перекусить негде. Ну, думаю, сейчас возмутятся, начнут звонить, вызывать общепитовцев, «стружку снимать» с них. Но этого не произошло. Спокойно так отвечают мне райкомовцы, что обедают они дома, в столовых этих бывают редко, и вообще у них забот и без общепита, слава богу, хватает: силосование, надои, привесы, заготовка картошки. Вот и Назаров мог бы сослаться на то, что по рынкам не ходит, не до рынков ему. И был бы в какой-то степени прав. Но не таков Владимир Григорьевич. Он все знал о костромском рынке. А хмурился и медлил с ответом потому, что цены его настораживали.

— Вчера прошелся я по всем рыночным рядам, — говорит Назаров, — и расстроился: дорого, черт возьми! За пучок укропа просят двадцать копеек. При старых деньгах десять копеек брали, а теперь двадцать. Это же во сколько раз увеличение-то? Ужас! «Бабка, — говорю, — ты что же такую цену ломишь? Это же травка, укроп какой-то». А она мне, не моргнув глазом, отвечает: «А ты, касатик, поди-ка эту травку вырасти! Никто не хочет теперь в земле копаться. Одна я на всю Татарскую слободу осталась, у кого грядки есть»... Вот так. Никто не хочет. Ну а мяса вообще у нас мало. Привезет кто тушу, так еще у машины очередь выстраивается, даже о цене не спрашивают, лишь бы кусочек купить, не уйти с пустыми руками...

— Цены сам рынок устанавливает, волевые решения в этом деле мало помогали...

— Это верно. Больше продуктов — ниже цены... А когда-то городской рынок славился. И не так уж

давно это было, лет двадцать пять—трндцать иазад. Я в те годы жнл и работал в Костроме. Едешь, бывало, иа местиом тихом пароходнке через Волгу, с правого берега, застроенного новыми домами, и по палубе ступить негде: повсюду сидят женщины с бндоиами молока, с корзинамн, где, завернутые в белые чистые тряпицы, лежат куски сливочного масла, свежайшего, запашнстого, с капелькамн росинок. А молоко возили не только в бидонах, но и в бутылках, в «четвертях». Выбирай любую бутылку: хоть поллитровую, хоть литровую илн «четверть»—это зиачит трн литра. Начнешь вылнвать его в свою посудину, а оно из горлышка не выливается—жиру много, загусло, на стекле пленка остается. Молока особенно много было. Продавали его прямо у прнстанн, в сквериках, на улице, на маленьких базарчнках, которые были в каждом районном центре. В Заволжском районе, возле старого деревянного вокзала, стоялн крытые деревянные ряды, и с утра здесь толпилнсь хозяйкн, выбнрая деревенскую снедь. А снеди было в достатке, н самой разной: тут тебе и молоко, и ряженка с пенкой в глнняных горшках, редиска, охапки зеленого лука, морковь, репа. Из всех блнжннх деревень — Буднхнна, Корякова, Пантусова, Селнща, Козелина, Говядиинова, Паиова — сносилась на базарчнк вкусная продукцня. Даже свежая рыба не переводилась. Помню, что торговать ею особенно-то не разрешали, пернодически были какне-то запреты, но даже и в днн запретов можно было купнть подлещнков, окуней, щуку. Стонт возле ларька какой-нибудь невзрачный мужичонка с потрепанной дерматнновой сумкой н таннственно так, тнхо предлагает:

— Рыба есть. На рассвете нзловнл... Еще трепещется...

— Да хорошо бы иа ушнцу-то... Почем просишь? С весу али иа штуки?

— Какой там вес! Тут у меня четыре леща осталось да два щуренка. Давай трояк.

— На Костромском море, что лн, ловнл?

— Да поблнже. Рыба в Волге есть, куда ей деться-то? Раньше в Слободе Бнльгнльдеевы жнлн, три брата, да сам старнк, нз татар оии, так всю Кострому завалнвалн рыбой-то. А сейчас в магазине такая рыба,

что и не выговоришь: бельдюга и эта, как ее... простипома, мерлуза. Килька, в общем...

Мужик довольно смеется, показывая прокуренные зубы, и, комкая в ладони рубли, идет к «железке» — так называли здесь почему-то маленький магазинчик, обшитый узкой вагонкой.

И почти круглый год много было на всех костромских базарах грибов и ягод. Еще лед по оврагам лежит, а уже, смотришь, сморчками старуха торгует, букетиками подснежников. А потом маслята пойдут, подберезовики, сыроежки, грузди и рыжики, боровики. И тут же вместе с грибами продавались лесная малина, земляника, ежевика, брусника, клюква. Целые корзины! А зимой все эти лесные дары предлагались в сушеном, моченом и соленом виде. Связки белых грибов, называемые пленками, висели и над прилавками и на плечах торговок. И цены на них были небольшие, по теперешним временам так просто копеечные. И люди еще торговались, выбирали, пробовали, как засолен рыжик, не маловато ли рассолу в груздях, соку в бруснике...

— Эх, не хочется, понимаешь, расстраивать себя! — говорю я, заглядывая в хмурое лицо Назарова.

— А чего, расстройство полезное, — отвечает Владимир Григорьевич после некоторого раздумья. — Грибы, ягоды, травка-морковка — это тоже немалая гирька на весах Продовольственной программы.

— Немалая, конечно, если эту гирьку положить на чашу весов. Но только кто ее класть будет? Люди где?

— Люди найдутся, если все с умом организовано будет. Здесь одним сельским двором не обойтись. Сельский двор и без того загружен. Пенсионеры, ребятишки, городские жители, отпускники — вот некоторый реальный резерв. В грибную и ягодную пору можно бы организовать какой-то лагерь на природе. Отдыхай и грибы-ягоды собирай.

— Утопия, товарищ секретарь райкома! Пустое дело с трудом двигается.

— Ну, знаешь! Эхо в лесу не отзовется, если на опушке погромче не крикнешь.

За серьезной, живой беседой мы не заметили, как машина выскочила из лесного коридора. Впереди показалась высокая Сандогорская колокольня.

— А церковь здесь действует?

— Держится пока, — вздохнул Назаров и опять нахмурился. — Ходят еще отдельные старушки, молятся... Бывает, что и детишек окрестят. Вот тоже, понимаешь, проблема. И сугубо личная, делнкатная, семейная. Каждая семья и каждый сельскнй двор должны быть под иашнм умным вниманнем. В семье ведь все хорошее-то зарождается. И плохое, между прочнм, тоже.

— А священннк сандогорскнй, он, что же, не дремлет, выходит, ведет работу?

— Опасиости, конечио, никакой нет, настоящнх верующих почти совсем в иаших краях не осталось, но факт есть факт: церковь пока держится. Подзапустили мы этот участок, а зря. Придется пошевелнть сандогорскнх коммуиистов н комсомольцев. Идеологня застоев не любнт. А релнгня, все эти церковные обряды — это ндеология. Верить в бога запретнть нельзя — закон есть. А вот разъясиять людям о вреде релнгии — можно н нужио. Постояино нужио.

* * *

Егоровы живут не в Сандогоре, а в деревне Колесово. Эти места мне хорошо зиакомы, и помннтся, как мы до этого самого Колесова нн на каких колесах не моглн проехать даже в сухой день.

— А когда это было? — впивается в меня глазами Аиатолий Александрович Андрианов, колхозный председатель.

— Да года два назад.

— Ха, два года! По теперешним временам — это срок! Да у нас теперь асфальт!

Я вопросительно смотрю иа Назарова, и тот улыбается, согласно кнвает головой: асфальт, мол, точно. Аидрианов, горячась, тут же прокатнл меня по новой дороге, которая огибала несколько деревень, а заодно уж показал иовую школу, новые дома. Слово «новая» часто срывалось с его языка...

Оставил он меия возле колхозного асфальтового заводика, где работал на бульдозере Александр Николаевнч Егоров, а сам заторопнлся в контору к Назарову — у них там свон были дела. Крохотный заводнк ужасно дымнл, но, судя по всему, никто на это густое

черное облако не обижался: в кои-то веки вместо непролазной грязи асфальт будет.

— Строимся помаленьку, — показывая на горы дорожного гравия, сказал по-хозяйски Егоров. — Нам еще много всего надо, колхоз большой. Меня вот с сена сюда перебросили. И правильно, до осени надо закончить прокладку асфальта.

Егорову чуть-чуть за пятьдесят, он невысок и плотен, лицо у него круглое, голубоглазое, совсем молодое, приклей ему льняные усы — и вылитый Теркин, хоть в кино снимай.

— А мне уж говорили, что я на Теркина похож, — смеется Егоров, вытирая паклей руки. — Сейчас, ежели не возражаете, пешочком пройдемся, подворье наше — вон оно, рядом...

Колесово длинно растянулось в два порядка, и егоровский дом заметно выделяется на всей улице: крупный, выкрашен в зеленоватый цвет, окна обрамлены резными наличниками, и перед ним аккуратный палисадник с рябинами и кленами, с кустами сирени, с клумбой алых цветов. А на просторном травянистом дворе свой колодец, удобные скамейки для отдыха, в правом углу огорода — баня; рядом с ней молодые яблоньки, малина, черная смородина, грядки с морковью и огурцами, с укропом, полоска картошки. И все это ухоженное, обработанное с любовью, со знанием дела. И в самом доме, начиная с веранды, идеальная чистота, вкусно пахнет в сенях малосольными огурцами, полынным веником, хлебом и вообще устоявшимся крестьянским уютом, который поднимает настроение...

— Сам все срубил, — говорит Александр Николаевич. — Проходите в горницу, я сейчас чего-нибудь соображу закусить. Евдокия моя в больнице, сердце прихватило, и мы вот уж вторую неделю с дочкой Леной вдвоем хозяйничаем. Она и корову доит, и поросенка кормит, кур. Недавно десятилетку окончила, в колхозе осталась, год уже стажа у нее. Мы все из колхоза — никуда, вся родня наша...

Александра Николаевича в деревнях уважительно зовут Сашей. И не только старики и одногодки, а и те, кто помоложе. Уж очень его все любят. Добрый он, работящий, честный. Недаром много лет уже в колхозном правлении заседает. Туда кого попало не изберут. Он

коренной, колесовский. Здесь Егоровых много. Отец его был трактористом и погиб на фронте в самом начале войны. Саша сел на его трактор. Было ему тогда лет тринадцать. Заводить ручкой потрепанный колесник сам еще не мог: силенки не хватало. Заводила ему трактор бригадирша тетя Устинья. А управлял он машиной лихо, борозду держал ровно. Вот только под осень трудно ему приходилось: одежонка легкая, старая, а кабины у трактора нет, сиденье железное, как у конной косилки, холодное, ветер до костей пронизывает. Прибежит домой, зуб на зуб не попадает. Мать прижмет его к себе и еле слезы сдерживает. Начни плакать, тут же младшие Сашкины братья, Васька с Иваном, разревутся, сестра Нина...

Все теперь выросли, как и старший брат, по стопам отца пошли. Василий механизатор, сын его, Саша, прямо из поля, с машины, в армию ушел. Скоро вернется, Андрианов ему уже новый трактор готовит. Наташка, дочка Василия, получив аттестат зрелости, осталась в колхозе, как и Лена Александра Николаевича. Не нарушили отцовской клятвы и в семьях Ивана и сестры Нины: все они хлеборобы, все колхозники.

Помимо Лены, у Александра Николаевича есть еще два сына: Николай и Михаил. Николая, первенца, именем деда назвали. Замечательные ребята, лучшие в колхозе механизаторы. Пока оба в армии были, от командиров письма приходили благодарственные, что Егоровы, мол, службу несут по-гвардейски. Александр Николаевич показывал военные письма и фотографии соседям, дружкам своим деревенским, а в субботу топил баню, жена готовила что-нибудь вкусненькое, и сидели мужики во дворе за столиком, вспоминали свои армейские годы, говорили о детях и о работе. Теперь уже оба сына живут своими семьями. Николаю колхоз кирпичный новый дом выделил, получит скоро просторное жилье и Михаил. Внучка уже есть у Александра Николаевича, почти каждый день приносят ее молодые. И вообще двери дома всегда открыты: идут к Саше и по делу и просто так, пообщаться, поучиться чему-то. У Егоровых и косу можно пробить, навострить на крутящемся точиле топор, помидорной рассады одолжить, посоветоваться насчет рыбалки. Рядом с деревней река, водохранилище, которое зовут Костромским морем.

И вода здесь чистая, рыбная, на маленькой своей лодочке Александр Николаевич спускается вниз аж до Жарков, до Мискова и Ведерок, до тех мест, где когда-то дед Мазай спасал своих зайцев. Когда ребята маленькими были, он их с собой брал, оставались они иной раз до утра, варили уху, слушали, как в зарослях гомонят птицы. Из армии в письмах сыновья потом писали: «Батя, рыбалка и вообще места наши по ночам снятся»...

Есть у Александра Николаевича и ружье и собака Туман, но на охоту он почти не ходит: некогда, дел в колхозе много. Как опытнейшего специалиста, посылают его на самые важные участки, как говорит Андрианов, на прорыв. Этой весной он больше всех посеял, косил луга, а в уборку придется и на комбайне поработать. И хозяйство свое немало времени требует, сыновьям надо помогать, ученикам молодым, которых у Александра Николаевича всегда много.

Возвращается он вечером из конторы, с позднего заседания или из гаража, и заглянет на огонек то к Николаю, то к Михаилу: не надо ли чего, может, подсобить, посоветовать в чем. Сельский двор не городская квартира, он забот требует, труда и старания. Нельзя же в деревне жить кое-как, земля любит людей основательных, верных. Надо, чтобы у тебя в доме все свое было: и овощ разный, и ягода, и молочко, мясо, да не только свинина или баранина, но и гусь, утка, и сам дом должен быть светлым и теплым, таким родным и уютным, что оставить его, бросить и заколотить окна и в мыслях не было. Бросают только то, что не жалко, что не нужно. А хорошее, годами самим по бревнышку, по кирпичику созданное, разве такое бросишь? Александр Николаевич не понимает тех людей, которые сейчас уходят из деревни. Ну раньше, когда на трудодень не доставалось ни хлеба, ни денег, еще можно было как-то объяснить бегство с родной земли. А сейчас? Сейчас все условия создаются, только не ленись, работай, живи. Выступая в школах, как член правления, Александр Николаевич всегда нажимает на то, что только любимый труд, забота о земле, о семье своей и доме дают радость и счастье.

— Надо гордиться своей фамилией, отчим домом своим,— говорит он ребятам.— Надо свою фамилию

подинимать все выше и выше. И стариков надо помнить, отцов своих, матерей и дедов. И почитать их надо...

Как-то на общем колхозиом собрании Александр Николаевич взял слово и раскритиковал сельсоветовскую комиссию, которая занимается озелеиеиием и благоустройством села.

— Тут я, это самое, справку в коиторе взял перед собраиием,— сказал ои, чувствуя, как потеют у иего ладони: иа трибуне он всегда робел, «тушевался»,— так вот, граждаие дорогие, согласио этой справке, у нас триста сорок пеисиоиеров, комсомольцев почти девяносто, ребятишек-школьииков немало, а чистоты и уюта в деревнях иет. Почииком вчера иду и вижу, как одиа молодуха, фамилию иеловко иазывать, ведро помоев с крыльца — бух!

— Так это, поди, Настёика? — крикиули из зала.

— Сами себя узиают! Я вот что предлагаю: надо иавалиться всем миром и взяться за благоустройство!

Так получилось, что Александру Николаевичу самому и пришлось стать закоперщиком благоустройства и озелеиеиия деревеиь. И дело сдвииулось. Его трудолюбие, личный пример и добрый, мягкий характер сплачивали людей. Куда Саша Егоров — туда и вся улица. Саша Егоров клумбу вскапывает — и другие лопаты в руки берут...

В эти дии Александр Николаевич домой приходит позже. С асфальтового заводика, иавозив там песку, идет ои выкашивать каиавки, ставить стожок сеиа для своей коровы. Шагает потом с косой по улице, здоровается с одиосельчанами, остаиавливается у калиток, перебрасывается шуткой, беседует. Леиа уже полила грядки, вытрясла половики, подкопала свежей картошки. Стоит париое молоко в глииявом кувшиие, светятся капельками помытые перья лука, редиски, первые огурчики, маияще краснеет клубиника, доверху иасыпаииая в блюдо, булькает на газовой плитке кипящая вода. Подогиув иоги, Леиа сидит иа диваие и смотрит телевизор.

— Надо бы творожку поставить,— говорит Александр Николаевич.— Я завтра в больиицу поеду, свежий творожок мать очеиь любит.

— Я уже поставила. Мишка заходил, апельсииов вот прииес. Отиеси, говорит, маме.

— Ишь ты, молодец. А где он достал?

— Московские студенты ему дали. Пап, а ты завтра, может, один поужинаешь?

— А что? Могу, конечно.

— Да кино в Сандогору привезли, говорят, французское, с песнями Мирэй Матье. Я ее так люблю...

— Так иди, чего ж... Французское, оно, конечно... Разве дома усидишь?..

* * *

Ночевал я в Заозерье, на крохотном хуторке, где живет одна Аннушка, пенсионерка, да три семьи дачников из города. Спать не хотелось. Я долго любовался здешними красотами. За рекой, на Ярославской стороне, мягко плюхнулся в травы последний вечерний самолетик и покатился в сторону Карганова. Через разлив пролетали утки. Две цапли, тяжело махая крыльями, кружились над мелководьем. Из лугов доносился тракторный гул. Колхоз «Сандогорский» вывозил к фермам сено. Тянулись вдоль берега деревни: Орлово, Починок-Чапков, Колесово, Сандогора, Дворище, Бугры, Пустынь...

— Эй, парень! Скажи Гущиным, пусть лодку посылают! — кричали из-за Костромки. — К ним гости из Ленинграда прилетели!

Постепенно гасли в домах огоньки. На светлом небе выступила луна. Комары зазвенели над бочажком, стало немножко прохладнее. Я ходил по тропке и думал о сельском подворье. Великое это дело — устроенность, достаток, любовь и мир в доме. Человек всегда лучше работает, когда у него быт налажен, ясность и покой на душе...

Эти мысли я утром высказываю Назарову, и он загорается мгновенно, держит целую речь. Райком партии будет и впредь вести работу вокруг семейных династий, поощрять таких людей, как Александр Николаевич Егоров, его сыновья и братья, ставить в пример их дворы и образ жизни. Поощрять таких, которые редко произносят слово «дай», а многое сами делают...

— У нас во всей области крестьянские устои сейчас оберегаются, — говорит Назаров. — В этом же сколько силы всякой, красоты и нравственности! Мы не торо-

пимся снести дальние деревни, поддерживаем тех, кто сам себе дом строит. Новые-то поселки быстро не поставишь...

Назаров ночевал где-то в лугах, на ночной косьбе. Он проверил состав уборочных отрядов, хранилищ под картошку, проинструктировал Шитикова, колхозного партийного секретаря, сердечно и серьезно побеседовал с Андриановым, который малость было подрастерялся после прошлогодних неудач...

Обратно мы ехали побыстрее. Я внимательно всматривался в каждый сельский двор, который попадался нам по пути. Дома были разные, красивые и не очень, под железной и шиферной крышей, под дранкой, пятистенки, старые дедовские избы с соломенными сараями...

Не так уж важно, какое подворье с виду. Придет время, все села помолодеют. Важно, какая семья в доме живет, люди какие...

* * *

Недавно мне вновь удалось побывать в Костроме. Захотелось встретиться с Назаровым, обменяться мнениями, узнать, как дела в районе.

Повсюду уже лежал снег, было тихо, как бы загустевший от утреннего морозца воздух казался осязаемым, дышалось легко и приятно.

— Хорошо, что застал,—сказал Назаров, протягивая руку.—Собрался я до обеда в Сущеве у Леонида Михайловича Малкова побывать. Люблю к нему ездить. Настроение поднимается.

— Как у него нынче дела?

— Наивный вопрос. У Малкова всегда порядок. Все эти ненормальности с погодой его только закаляют. И в дождь у него хлеб есть, и в жару он впереди идет. Тридцать пять—сорок центнеров зерновых с гектара—меньше сущевцы не собирают.

Я знаком с Леонидом Михайловичем Малковым, бывал у него неоднократно. Он местный, Герой Социалистического Труда, талантлив, земле предан, как родной матери, строг и добр одновременно. Проблему сельского двора, семейных династий он решил давно. Деревни этого колхоза—образец для подражания.

— Вот хочу посоветоваться с Леонидом Михайловичем, — продолжил Назаров. — Продовольственная программа — это общий вопрос. А сколько из этого огромного вопроса разных подвопросиков возникает? Уйма! Надо бы нам в следующем году повыше подняться. Повыше всех планов, что мы себе составили и что нам сверху отпустили. Мы ожидаем попутного ветерка, который поможет нам...

— Ветерок полезен тем, у кого паруса повыше.

— Это уж само собой. Задел имеем. Эту осень закрываем сносно, несмотря на засуху. Кормов заготовили вдоволь. И сено, и сенаж, силос. Зерновых в среднем по району — за пятнадцать центнеров с гектара, картошки — сто пятнадцать, молока — около трех тысяч килограммов на корову возьмем или за три тысячи перевалим. Впереди еще почти месяц, надо держаться...

— А Сандогора как?

— В норме. Дела там пойдут. Между прочим, Андриянову мы на днях пятидесятилетие справили. Колхоз он ведет уверенно. А Егоров, сыновья его и братья по-прежнему служат примером...

Назаров стал перечислять мне новые семейные династии, десятки сельских дворов, где от отца и деда крестьянский корень идет. Он так увлеченно и образно рассказывал о стариках и молодых парнях, знал такие подробности, что, слушая его, я думал с радостью: «Вот почему район и идет в гору. Партийная работа — это знание людей. А люди, слитые воедино, проникнутые любовью к родной своей земле, — это сила, которую ничего не устрашит».

РЯЗАНСКИЕ ЯБЛОКИ

Почти по всему центру и северо-западу России в том году уродились яблоки. Поедешь, бывало, в любую сторону от Москвы, и где-то уже за окружной дорогой то и дело глаз начинали радовать фруктовые деревья, манящие яркой красотой, разносортные, как бы присевшие под тяжестью своих плодов. В каждом селении, а то и просто в открытом поле, на перегонах, у самых обочин, стоят женщины с корзинами и ведрами, наполненными яблоками, помидорами и картошкой. Но боль-

ше всего — яблоками, полосатым штрифелем и ранней антоновкой, грушовкой и анисом. Остановишься где-нибудь на повороте, спросишь для начала разговора, что это за сорт такой, и женщина в белом платочке, ответив на приветствие, скажет улыбчиво:

— А ты пробуй! Сам и определишь...

И протянет для пробы не крохотный ломтик, как это делают закоренелые рыночные торговки, а целое яблоко или два на выбор, заставит их съесть и будет ждать похвалы, дополнит и без того уже полное ведерко, расскажет, что сад у них еще от деда, и на «рупь» насыплет столько, что все пакеты и карманы заполнятся, помашет рукой на прощание. И в кабине сразу запахнет яблоками, брызнет на зубах сладкий сок, сохранивший прохладу первых сентябрьских ночей...

В ту осень мы ехали на Оку, в есенинские места, и под самой Рязанью увидели яблоневый сад необычных размеров, сад как лес, высокий и молодой, с тугими литыми яблоками.

— Вот это да! — невольно вырвалось у каждого. А с нами еще был городской мальчик с редким именем Максим, который так весь и засиял от восторга. Увидя плескавшуюся в его глазах радость, я подумал о том высоком и благородном воздействии природы на душу человека, природы и дикой, и такой вот рукотворной, как эти бесконечные сады...

Мы решили тут задержаться. Один из наших попутчиков знал здешние места. Он сказал, что земля вокруг принадлежит плодово-ягодному совхозу «Рязанский» и что все эти сады — творение, жизнь и труд Ивана Тимофеевича Малеева, главного агронома совхоза, известного на Рязанщине садовода и хозяйственника. На тракторной тележке проезжали мимо шумливые девушки, и мы спросили их, где найти Ивана Тимофеевича.

— Он там где-то, за теми березками! — закричали девушки, указывая на лесную полосу, разделяющую сад на две половины. Мы пошли по дерновой кромке вдоль вспаханной борозды. Солнышко уже не палило, а ласково грело. В синеве неба появилась та самая бесконечно чистая глубина, какая бывает только в первые дни бабьего лета. Паутинок еще не было, но все в природе как бы застыло в мудрой задумчивости: и дальние сосняки, и черные стога клеверного сена, и сам воздух,

сгустившийся почти до осязания. Крепкий яблочный аромат, запах земли, первых листочков, уже тронутых тленом, пьянящe кружили голову, и в памяти сами собой оживали хрестоматийиые строчки, заученные еще в детстве:

Ласточки пропали,
А вчера зарей
Все грачи летали
Да, как сеть, мелькали
Вон над той горой...

Ивана Тимофеевича мы увидели на укатаниой дорожке, которая уходила в глубь сада. Ои отдавал какие-то распоряжения группе рабочих и при этом сильно жестикулировал, кого-то, видимо, ругал, показывая сухим длинным пальцем на поломанные ветки ближией яблони.

— Ну, берите, уж коль в сад забрались! — говорил он с обидой. — Объедайтесь! Но зачем же разбой устраивать? Зачем дерево-то губить?

— Мальчишки, что ли? — улучив момент, спросил я тихо.

— Как бы ие так! — сказал Иван Тимофеевич. — Мальчишки иочью сюда не ходят. Видите, след мотоцикла? А тут — второй, а там — третий. Целая армада! Как только стемнеет, так со всех сторон и лезут. С ружьями, с мешками. На сторожа цыкиут, тот и носа из шалаша не показывает. Сегодия вынужден патруль вот назначить, на машине ребята курсировать будут, с зажжениыми фарами. Суббота, деиь выходной, а жуликоватого иарода еще хватает, еще ие перевелся ои, черти бы его взяли...

Иван Тимофеевич в темиом ворсистом костюме, при старомодиом плетеном галстуке, шерстяная серая шляпа, заломленная на самый затылок, открывает его широкую незагоревшую лысину. Ои разрешил нам погулять по саду, а Максима угостил боровинкой, сам сорвав несколько отбориых яблок.

— В этом году такая сухмеиь стояла, что, пожалуй, недоберем малость до желаемого-то! — сказал он, вздыхая. — Нет, недоберем...

— А с виду вроде густо яблок...

— Это только с виду. Часть урожая яблони еще в

июне сбросили. Питать все плоды нечем, вот и сбросили. Жалко было глядеть...

Я иду с ним на левый участок, где он хочет посмотреть антоновку и синап северный, определить срок уборки. В этот совхоз Иван Тимофеевич приехал шестнадцать лет назад. Можно сказать, сам попросился. Не сюда именно просился, а в хозяйство плодово-ягодного профиля. Это его кровное дело. Ведь почти полвека назад окончил он специальный техникум и до войны разводил сады и ягодники. Тяга к этой работе пошла у него с детства, от отца и от матери, от родных своих. У них в деревне Любовниково, где Иван Тимофеевич вырос, очень почитались сады, каждый хозяин старался какой-то новый сорт яблок или груш заиметь, за саженцами аж на Дон и в Мичуринск ездили. Иван Тимофеевич помнит, как в доме у них вся деревня яблоками разговлялась, как до самой зимы в углах, в сундуках, в ящиках, в опилках и в сене, переложенные и россыпью, лежали и анисы, и грушовка, и антоновка, и какой-то неизвестный теперь царский шип. Отец, бывало, соберет зимой ребятню со всего Любовникова, принесет из подвала ведерную миску желтых запашистых кубанок и скажет:

— А ну-ка, похрустите, мужички!..

В сорок шестом году, когда Иван Тимофеевич вернулся на родную Рязанщину сразу с двух войн, с германской и японской, его, как человека опытного, офицера запаса и коммуниста со стажем, послали директором овощесушильного завода, а потом, в числе тридцатитысячников, в колхоз председателем. Везде он работал на совесть и по-крестьянски — от темна и до темна. И везде, пожалуй, где жил, оставил после себя небольшие садочки из яблонь и груш. Без садов он не мог. Они ему и по ночам снились. Или едет, бывало, куда-нибудь в поезде, увидит пустырь за селом и тут же начинает прикидывать в уме, какой тут сад или ягодник можно разбить, какие сорта посадить по солнечному склону, а какие в долинке, в тени...

Сейчас в своем совхозе «Рязанский» Иван Тимофеевич, как главный агроном, отвечает, конечно, за все земли: за зерновые и за травы, за овощи и за картошку. Но его старая любовь к садам заметно сказывается. Он сторонник той мысли, что все крупные города дол-

жны быть окружены широкими зонами садов. Вдоль всех дорог он хочет видеть яблоки в два-три ряда. В беседах и лекциях, на районных совещаниях он проводит эту полезную мысль, по мере своих сил старается воплотить ее в жизнь. Больше семисот гектаров занимают яблони в совхозе, сорок пять — ягодники. И сорта все отменные. Иван Тимофеевич не хотел закладывать что попало — он упорно искал, ездил, «пробивал» самое лучшее. Вишня у него только владимирка, черная смородина — голубка, крупная, сладкая, вся кисть созревает одновременно. Крыжовник, земляника виктория, не говоря уже о яблоках, — чего только не зреет на пригородных рязанских землях, которые почти пустовали когда-то! В прошлом году совхоз поставил в детские сады и магазины сто тонн ягод и тысячу шестьсот тонн яблок. В этом сезоне тоже немало будет продано разных вкусных ягод и фруктов...

За яблоками и ягодами ухода требуется побольше, чем, к примеру, за зерновыми. Деревья надо вовремя обработать, подкормить, опрыскать, окопать. Тысячи врагов подстерегают сад: плодожорка, парша, моль разная, мыши. Даже зайчишки, если не пугнуть их, за одну ночь с десяток яблонь обгложут. Глаз да глаз за всем нужен. Поэтому Иван Тимофеевич в садоводческие бригады подбирает самых лучших людей. Надежда Яковлевна Голицына, Нина Кулагина, Григорий Слабушев, Николай Савин, Анатолий Лушин — на этих механизаторов и садоводов Иван Тимофеевич, как на самого себя, надеется. Ну и сам он, конечно, буквально пропадает в садах. Даже отдыхать сюда ходил. И один, и вместе с женой Клавдией Григорьевной. Особенно в пору цветения и в конце августа, когда ночи звездные и такие тихие, что издалека слышно, как падают на землю созревшие яблоки...

Недавно он схоронил свою Клавдию Григорьевну. Не думал, что переживет ее, а вот пережил. Без малого семьдесят уже за плечами. Но силы еще есть. И планов много. Яблоки — ради них он сейчас и живет. Дать побольше людям яблок, порадовать их — нет, кажется, другого счастья для Ивана Тимофеевича...

— Яблоко, если хотите знать, это еще с древних времен — эликсир жизни, — говорит он мне. — Вот хоть это попробуйте. Разновидность аниса. Будем культиви-

ровать, я на него возлагаю надежды. По содержанию железа сорт далеко пойдет. А вкус, какой вкус! И освежает как!

Иван Тимофеевич и сам надкусывает яблоко, помолодому звонко хрустит зубами. Мы уже обошли две делянки и возвращаемся обратно. Сбор антоновки на левом участке он назначил на среду. А синап северный пока оставил.

— Пусть его холодком хватит, росами утренними, — говорит он. — Синап это любит, он окрепнет, соку наберет, лежать дольше будет...

Мои попутчики нагулялись досыта. Максим сидит уже в машине и держит в каждой руке по яблоку. Он устал, надышался ароматами, глаза у него слипаются. Пора ехать.

— А то так на ночь оставайтесь, — предлагает Иван Тимофеевич. — Ночевать в саду — всю жизнь не забудешь...

— Спасибо, Иван Тимофеевич! За все спасибо!

Мы выезжаем на просеку. Я вижу в боковое стекло, как Иван Тимофеевич шерстяной своей шляпой обмахивает пиджак. Плетеный старомодный галстук совсем съехал у него набок. А лицо улыбчивое. Он смотрит на нас, что-то говорит, но мы ничего уже не слышим из-за шума мотора. Мы только видим его улыбку и добрый прищур глаз.

НЕВЕСТА СОЛДАТА

Всю ночь за окном шумел ветер. А рано утром, просыпаясь, Люся Барсукова слышала, как ее мама собирает в ведро опавшую антоновку, кормит поросенка и сгребает веником кленовые листья. «Как бы не сорвало с буртов брезенты», — думает Люся и быстро вскакивает, надевает сапоги, фуфайку и толкает на крыльцо велосипед.

— Лю-ю-юська-а! — стонет Анна Никандровна. — Молока хоть попей, оглашенная!

— Я забегу, мама. Наряд дам и забегу. А вы с тетей Клавой запрягайте Пулю и возите корма...

Немногим за двадцать Люсе Барсуковой, а она уже бригадир. В ее «царстве» четыре деревни: Раско-

вякино, Лутково, Пруссы и Антаново. Деревни большие, каждая жила когда-то самостоятельно, а теперь это одна из бригад мощного колхоза «Россия». На прямую по карте от Луткова до Расковякина километров пять, а если пойдешь по здешней дороге после дождя, то насчитаешь все десять. Люся ездит в деревни на велосипеде по известным ей тропкам и косогорам.

Сегодня прохладно. Над сырыми полями ветер гонит рваные тучи. Горько пахнет дымом. Стреноженные кони застыли у стога и в утреннем полумраке смахивают на высеченных из камня чудовищ. А деревня еще спит. Лишь кое-где топятся печи, в проулке звенит колодезная цепь да сторож, дед Фугин, завернутый в тулуп, топчется за амбарами.

— Эй, Иваныч! — кричит Люся, слезая с велосипеда. — Брезенты не сорвало на току?

— Отчего их сорвет, коли я каменюки по краям положил, — недовольно ворчит дед.

— Не сердись, Илья Иванович.

— Мне сердиться некогда. В поясницу вон третий день стегает, значит, надолго теперь эта хмарь. И ты это учитывай, бригадир...

— Учитываю, дедушка. Из Антанова Валька с девчонками пойдет — скажи, чтобы на горох. Почти сто га гороха, с ума сойти можно...

Люся жмет на педали, торопится. Ей уже жарко. Она расстегнула пуговицы, сбила на самый затылок платок, и ветер бьет ей в грудь, раздувает русые пряди, гладит тугие горячие щеки. Остановившись у дома, она стучит в наличники, зовет хозяина. Обычно уговаривать никого не надо, на работу идут все охотно, но сегодня изменилась обстановка, и надо объяснить, надо спасать колхозное добро.

— Тетка Анна! Анна Ивановна! На горох!

— Да зайди ты в избу-то, — высовывается тетка Анна из окна. — Слово есть!

Прислонив к завалинке велосипед, Люся проходит в переднюю, садится на лавку у стола. Анна тут же ставит перед ней сметану, сковороду блинов и говорит певуче:

— Спасибо тебе, родимая, дай бог...

— Это за что же? — перебивает Люся.

— Да ведь как же! Дров-то мне привезли! И без всякого якова...

— Без какого еще Якова?

— Ну, без этого самого, без пол-литры, значит. При старом-то бригадире пол-литру бы надо. А тебе хоть шоколадку надо купить...

— Знаешь что, тетка Анна! — Люся поднялась и стала застегивать фуфайку. — Если бы не была ты пенсионеркой...

— Да сиди ты! Ешь блины-то, остынут. От души я, от чувств...

— Блинов я поем, но ты гляди у меня, пережиточки бросай.

В бригаде Люсю слушаются, уважают, а некоторые, особенно любители выпить, побаиваются не меньше, чем председателя. Бойкая и голосистая, она ни за что не отстанет от нарушителя, будет клевать его и на собрании, и в сатирической газете «Еж», и перед всем народом осрамит на разводе. Виновник, краснея, почешет в затылке и буркнет, отводя глаза:

— Свалил на нашу голову господь бригадира. Ругнуться всласть и то нельзя стало...

— На твою голову, Васюха, и не то бы надо свалить, — вступал в разговор дед Фугин. — А бригадир у нас — огонь! Талант ей даден. От самой природы. Горит у нее все в руках...

Это верно, что в Люсиных руках любая деревенская работа горела. И коров доить, и лошадей запрягать, и пчелиные рои приваживать, и машинами управлять — все Люся умела, все делала с лихостью, с песней, обгоняя одногодков-парней.

Вот и сейчас она, приехав на поле, сбросила фуфайку, схватила косу и вместе со всеми стала косить полегший горох. Она заметно вырывалась вперед, словно какая-то дополнительная сила толкала ее, наполняла озорной бодростью. В деревне недолго держатся тайны, и многие знали, конечно, что имя этой силе — любовь...

Вот это самое поле пахал он когда-то — белокурая Люсина любовь. В тот вечер Люся возвращалась с птичника, где тогда работала, и он, увидя ее белое платьице, остановил трактор и, кажется, спросил, куда,

мол, шагаешь, цыпленок. Да, так он и сказал: цыпленок...

А потом его в армию проводили, и Люся на конвертах воинский адрес выводила. Дома по воскресеньям, когда была солдатская передача, она не отрывалась от телевизора, смотрела, как шагают они, молодые парни, в строю, как переплывают реки, бегут с автоматами по зеленому лугу и кричат «ура». Ей казалось, что не сегодня, так завтра покажется иа экраие и он, такой же стройный, в ремнях, в каске, опаленный ярким южным солнышком.

Но ои так и не показался. Ои пришел сам, получив отпуск за отличную службу. Было это в начале лета. На крутых берегах Шелони еще не опали черемухи и соловьи не давали спать. Всех парней, видимо, меняет армия, и он поразительно изменился: стал вроде бы выше, красивее, иа груди знаки, лицо, познавшее бритву, к вечеру приятио колется, если провести по иему ладонью, а от мундира исходит незнакомый запах. Только руки у иего остались такими же мозолистыми, жесткими. Видимо, и там, в армии, он имел дело с железом.

Они гуляли у реки, приходили в новеиький просториый Дом культуры, и, когда начинал греметь колхозный духовой оркестр и на скользкий паркет вылетали парочки, он, смущаясь, жался к стене, звал ее на улицу, боясь, что она намекиет ему о танцах. Ей нравилось это его неуклюжее смущение, почему-то радовало, что в этом он нисколечко ие изменился, оставив в душе прежнюю робость и угловатость.

Луниой теплой ночью возвращались они домой, сидели потом в саду, и ои, рассказывая о службе, смотрел на нее расширенными от темноты глазами. Вот эти глаза с отблеском лунного света и запомиила Люся при последией встрече и сейчас, взмахивая косой, все это видела и как бы заново все переживала...

Женщины далеко от нее отстали, и поле уже кончалось, а оиа все шла, выхватывая из знакомой песеики отдельиые строки и чувствуя, как по ресницам неизвестно почему текут теплые слезы:

У иас во дворе листопад,
Рябины в окошко стучатся.
Я жду твоих писем, солдат,
А письма приходят нечасто.

Как тебе служится,
С кем тебе дружится,
В дальнем твоем далеке?

* * *

Прошел месяц. Горох Люся спасла. Часть его уже была обмолочена, часть ждала очереди на вешалах. Надо было поднимать лен, копать картошку. Лен и картошка уродились на славу, на всех участках, во всех звеньях. Самым первым в области колхоз выполнил все планы, а в полях еще всего было много. И как назло опять пошли дожди, по ночам крепко морозило и не ко времени запахло зимой.

Как-то на очередном совещании в правлении, отпустив всех бригадиров, Дмитрий Иванович, председатель, подозвал Люсю и сказал:

— Нынешняя уборка — это твой первый экзамен. Не разбрасывайся, держи в руках главное...

Дмитрий Иванович, подсказывая, частенько и сам приезжал в Лутково, молчаливо посматривал, еле заметно улыбался Люсе, и эту его улыбку дед Фугин потом комментировал так:

— А генерал-то наш тобой, девка, доволен. Наступление на всех флангах ведешь верное. Только одно вы оба прозевали...

— Чего прозевали, Илья Иванович?

— А вот чего: лошадей. Машины, конечно, машинами, на них вся опора, а какого дьявола мы лошадок балуем? Мужик, бывало, от коня все брал, а у нас они, как на курорте...

Люся побежала на конюшню, нашумела на конюха, который чрезмерно лелеял и неохотно доверял женщинам лошадей, и послала тетку Клаву и Марью Григорьеву в Расковякино за трестой.

В бригаде полсотни работников, а мужчин из них только двенадцать, считая и таких, как дед Фугин. Вот тут и крутись, вот и поворачивайся. По утрам, на разводах, Люся не знала, кого куда и послать: всюду людей не хватало. А ведь, помимо уборки, были у бригадира и другие заботы. То пенсионеров надо навестить и распорядиться, чтобы все необходимое им доставили, то какой-нибудь «святой Гаврила» подоспеет, и надо

упредить, разагитировать дедов и бабок, которые уже собираются этого Гаврилу отметить.

Домой Люся возвращается самой последней и тут же садится за стол, читает, положив перед собой фотографию, отвечает на солдатское письмо, составляет конспекты, заполняет бригадные ведомости. Скоро собрание, где Люсю будут принимать в партию, и надо как следует подготовиться к этому. Мать смотрит на нее, покачивает головой и говорит:

— Ложись, ведь завтра опять чуть свет...

Но Люся не ложится. Она думает, что ему там, поди, еще тяжелее стоять ночью в карауле, нести на плече пулемет и подползать по-пластунски к «вражеским» дотам. Была она недавно в Порхове, в райцентре, и видела возле военкомата на щите его портрет. Она сразу узнала его среди других солдат. Значит, он опять чем-то отличился, коль удостоился такой почести на своей родине. «А мне не написал, — думает, улыбаясь, Люся, — ну погоди...»

Она раскрывает книгу, перечитывает страницу и мурлычет себе под нос:

Я вместе с тобою служу
И в слякоть хожу на ученья,
В прицелы, сощурясь, гляжу
И в город прошу увольненья...

А в избе тихо. Ровно дышит мать за перегородкой, поскрипывают у крыльца старые ветлы, еле слышно играет радио.

* * *

Партийное собрание назначили на субботу. Люся долго примеряла платья, бракуя то одно, то другое, и наконец оделась в самое простое, в каком обычно ходила в кино.

В правлении было полно народу, мужики курили в сенях, и Люсе, пока она проходила по коридору, казалось, что на нее как-то необычно все смотрят. И без того взволнованная, от этих взглядов она волновалась еще больше, украдкой поправляла прическу, вздыхала и вздрагивала, словно ей предстояло броситься в холодную воду. «Ну, Люська!» — сказала она сама себе и села на краешек стула у печки.

Сначала выступил Дмитрий Иванович. Речь его, как всегда, была краткой. Он сообщил, что скоро праздник Октября и колхоз, по его расчетам, займет неплохое место. Среди коммунистов послышался легкий шумок. Это оттого, что Дмитрий Иванович скромничал: «Россия», как уже писала местная пресса, в этом году взяла большой рубеж и выйдет на одно из первых мест в области. Дмитрий Иванович махнул рукой, что означало: «Без вас все знаю, но не себя же мне хвалить», стал называть отличившихся колхозников, бригадиров и, когда упоминал Расковякино и Лутково, подмигнул Люсе и этим как бы снял с нее робость. Люся вскинула голову и благодарно посмотрела на этого мудрого пожилого человека, который все-все понимает...

Потом к столу вышел Федор Петрович Макушин, секретарь партийной организации, и, раскрыв тощую зеленую папку, стал читать Люсино заявление и анкетные данные. По заведенному правилу Люсю попросили рассказать свою биографию. Она встала, кашлянула в кулачок и разом, почти в одной фразе, выпалила, что она родилась тогда-то, училась, работала птичницей, руководила льноводным звеном, передала это звено маме и вот теперь бригадир с февраля сего года...

— Негусто,—заметил кто-то у окна, и по комнате покатился смешок. Но тут председательствующий постучал карандашом по графину и призвал к порядку, просил высказываться по существу.

— Такие кандидатуры надо всячески приветствовать!—сказал любивший книжные слова механизатор Иван Гаврилов.—Товарищ Барсукова выдержала осенний экзамен!

Люся слушала выступления, и ей казалось, что это не она, а другая девушка росла без отца, собирала когда-то мерзлую картошку, пилила с мамой сучковатые чурбаны, возила сено...

Как в тумане, она видела поднятые руки, и только дома, у своего стола, поняла как следует, что ее приняли, что голосовали единогласно. Матери в избе не было. На комоде, прикрытое салфеточкой, лежало письмо. Люся взяла его, торопливо вскрыла, развернула листок со знакомым почерком. Он писал, что жив, здоров и, видимо, скоро, может даже перед праздником, встретится с ней...

Она еще раз перечитала письмо. Потом оделась, выскочила на улицу и пошла по дороге на огоньки. Она не знала, куда и к кому идет. Она просто не могла быть одна.

СТЕПАНОВ, СЫН КРЕСТЬЯНСКИЙ

Утром Степанов по привычке поднял оконную занавеску и ахнул: во дворе лежал снег. Он всегда, с детских лет, радовался первой пороше, какие-то секунды удерживалось в нем то мальчишеское ликование и сейчас, а потом, угнетенное заботами, тревожно заныло вдруг сердце: уж очень неожиданно, рано и так некстати заявилась нынче зима. Еще вчера было сравнительно тепло, и по телевизору, кажется, в начале октября не обещали морозов, а оно вон как все за одну ночь перевернуло...

Шел пятый час. Николай Иванович поставил на плиту чайник и, пока он закипал, торопливо брился тут же, на кухне, у холодильника, обжигая губы, пил крепкую заварку и мыслями был уже в поле, за Новосельем, где на днях почат был последний картофельный клин...

Рассвет только занимался. И если бы не белизна снега, совсем еще было бы темно. «Сантиметра три намело, не больше,— оглядываясь, подумал Степанов.— Это еще ничего, только бы мороза сильного не было»...

Нахолодавшая машина завелась с трудом, лениво скрипели «дворники», очищая стекло, в глазах все сливалось, и Степанов включил дальний свет, ехал тихо и как бы не узнавал знакомых окрестностей. За Смоленским большаком начались земли совхоза «Михейковский», которым Степанов руководил. Печально выглядели копны незаскирдованной соломы, гривка недокошенного овса, поникшие листья кормовой свеклы. Ну и год нынче выдался для деревни, будь он неладен! С самой весны все как-то наперекосяк идет: сеять бы надо, а тут грязь непролазная, подошла по срокам пора уборки, а колос не шелушится, зерно влажное, на зубах брызгает мякотью. А когда малость подсохли хлеба и можно было бы брать их выборочно, дожди навалились, сутками, не переставая, нудно капа-

ло с неба. Такой тяжелой жатвы Степанов давно не помнит. Комбайнеры дежурили в поле, чтобы ни одного часа хорошей погоды не прозевать. За Уваровом пшеницу в валки валили, а у Скачкова, где повыше поля, убирали напрямую, групповым методом, пять комбайнов шли плотным строем. Все механизаторы, специалисты да и сам Степанов почернели за эти недели, осунулись, но всё в основном успели подчистить. И показатели вышли такими, что с ними не стыдно показаться не только в Ярцеве, в своем районе, но и в Смоленске: зерновых взяли по тридцать с лишним центнеров на круг, картошки — за двести, льноволокна — девять центнеров, клеверного сена — по пять тонн. А площади в совхозе немалые, всех земель за шесть тысяч гектаров. «Теперь бы оставшуюся картошку поскорее добыть, — вздыхает Степанов, сворачивая на Новосельскую дорогу. — Вся душа изболится, если хоть клок какой под снегом останется. Будто бы сам будешь лежать всю зиму в сугробе... Надо торопиться... Все силы надо бросить...»

На Новосельском поле уже горел костер. Звеньевой Николай Хибаков со своим братом Василием грели в ведрах воду и масло, помогали трактористам Еврасову и Новикову. Были здесь и главный агроном Владимир Петрович Кутьин, инженер Валерий Сахаров.

— На сколько земля промерзла? — спросил Степанов, здороваясь.

— Так, корочку прихватило, — сказал Кутьин, растирая в ладони серые комочки. — До клубней еще далеко. Надо пускать комбайны, бункеры разгружать незамедлительно и сразу в хранилище...

— Правильно. А с другого края пусть картофелекопалками начинают. И всех на подборку. Планерку сегодня проводить не будем. Из конторы пошлем, школьники помогут, шефам позвоню. Даже лопаты и царапки надо в ход пустить. Сколько тут осталось?

— Да гектаров сорок пять еще будет, Николай Иванович, — сказал звеньевой. — И картошка здесь у меня, братцы, ну прямо загляденье, крупная, чистая, под триста центнеров идет...

Участок за участком объезжал Степанов обширные совхозные владения, и радовало его то, что все ответственные люди, бригадиры, механизаторы, зоотехники

были на своих местах, никого ранний снег не застал врасплох, каждый уже принимал какие-то меры и ему не надо было давать особых указаний, не было повода к горячности, к телефонным разносам и к тому бестолковому, одуряющему крику, к суете, за которые нередко хватаются, как за спасение, руководители слабые, отсталые, не сумевшие приучить своих подчиненных думать, полностью отвечать за свой объект и по-хозяйски, с расчетом заглядывать вперед. У Скачкова и Уварова уже таскали волокушами солому, тракторные прицепы возили свеклу, дымились кормокухни, срочно утеплялись помещения. А в садах еще висела антоновка, притаились под снегом крупные кочаны капусты, почти вся листва на деревьях была зеленой. И грачи еще улететь не успели, нахохлившись, промышляли у зернотока...

На животноводческом комплексе Степанов задержался подольше. Бригадир одной из ферм, зоотехник Анатолий Закачурин, еще совсем молодой, холостяк, недавно из Тимирязевки, встретил Степанова с расчетами в руках. Наступили холода, и он уже подсчитал, сколько перевариваемого протеина не хватает в рационах, беспокоился, как бы не упали привесы.

— Кормовой цех завтра пустим, Анатолий... Федорович...— Степанов замедлил произношение отчества Закачурина и улыбнулся. Ему так и хотелось назвать его просто по имени. Хороший он парень, к делу подходит творчески, в аспирантуру готовится, и Степанов, как кандидат наук, помогает ему.

С фермы Николай Иванович решил ехать в контору: там тоже дела поджидали. Тучи рассеялись, выглянуло солнышко, и все сразу повеселело, заиграло искрами. У закраин маленького озерца толкались ребятишки и пробовали ногами свежий лед. Степанов отрывисто посигналил и, высунувшись из кабины, погрозил детворе пальцем. «Зима, крестьянин торжествуя...» — сказал он мысленно, прислушиваясь к гулу мотора.— Торжествуешь тут с такой погодой...

За увалом, справа от дороги, показался обелиск. Увидя его, Степанов почувствовал, как что-то тяжелое и холодное вливается в сердце. Он всегда это испытывал, когда проезжал этим путем. На месте обелиска была деревня Кохановo. В войну фашисты за какой-то

час расстреляли всех ее жителей и сожгли все дома. Восемьдесят человек... Двадцать пять семей... Они тут же и зарыты были потом... Так семьями и клали их в братскую могилу... Дочку к матери, внучонка к деду... И будто бы крики тех людей каждый раз слышит Степанов, когда приближается к обелиску. Треск автоматиых очередей слышит, плач, разиые комаиды, лай овчарок...

* * *

Эти жуткие звуки с детства засели в его голове...

Если ехать от Вязьмы по Бельскому тракту, то иа тридцать пятом километре завиднеется с холма зиаменитое село Хмелита, где Грибоедов когда-то писал третий акт своего «Горя от ума». Каскад озер, стариниый парк, остров с беседкой—редкие по красоте места...

Хмелита—родина Степанова. В сеитябре сорок первого ои пошел в первый класс. Но и иедели ие проучился, как в село ворвались фашисты. Ои их видел близко и долго. Оии жили в их доме. Вечерами мать всех троих—Колю, Аиатолия и Катю—сажала иа колени и пряталась за печкой, а иемцы заводили музыку, орали песии, стреляли, пьяные, в потолок, прямо иа столе, иа спиртовке, разогревали какую-то еду. Он видел, как убивали людей, как казнили его родиого дядю, партизаиа, след которого указал предатель. Ненадолго отбивали Хмелиту иаши, армия геиерала Белова, делавшая рейд по вражеским тылам, и все жители села вместе с красиоармейцами и коиниками отходили в Холм-Жирковский райои. В этом походе малеиького Колю ранило осколком в ногу, и мать везла его иа саиках, несла иа руках, побросав все пожитки. Уйти к своим, за лииию фроита, так и ие удалось, а когда вериулись в Хмелиту, села уже ие было. Исчезли в огие и старинное имение, и клуб, и школа, и все жители поселились на мраморном полу церкви, иатаскав соломы...

А весиой стали землянки рыть. Каждый иа своем пепелище: хоть и пустое, но родиое все-таки место. Выкопали себе пристанище и Степаиовы. Коля еще прихрамывал, ио изо всех сил помогал матери, ходил собирать мерзлую картошку, из которой пекли «тошио-

тики». А когда наши окончательно, насовсем уже освободили село, пришло Вере Осиповне извещение, что муж ее, Иван Степанович Степанов, погиб смертью храбрых. Мать выронила из рук бумажку, повалилась на бок и забилась головой о земляную стенку...

— Мама! — плача, тормошили ее дети. — Вставай, мама!..

Девятилетний Коля несколько недель кормил всю семью. Потом на отца стали давать пособие, в огороде кое-что подросло, грибы пошли, ягоды, щавель, трава разная, и мать стала поправляться. А когда совсем окрепла, сказала как-то Коле:

— Сынок, милый... Батька твой все о саде мечтал. Да не успел вот... Там, за усадьбой, питомник, заброшен он, яблоньки там есть, пойдем, сынок, выкопаем с десяток... Да смородинки куста два. И рябинку бы надо, сгорела у нас рябина...

И заложили они садик за своим пепелищем. И хорошо он прижился, все в рост пошло, а в мае, когда война кончилась, зацвели деревца розовым цветом...

Собирал как-то Коля хворост у речки и слышит голос почтальона, горбатенького дяди Володи:

— Эй, хлопец! Поди-ка сюда! Письмо тут твоей матке. От отца, кажись, письмо-то... Вишь, обозначено: Степанов, полевая почта... А ну-ка открой, сам я таких правов не имею...

Да, это писал отец. Из Берлина писал. Значит, живой он, живой! Домой собирается... Раз домой собирается, значит, живой. Зажав в кулачке конверт, со всех ног, прямо через бурьян, через заросли тальника бросился Коля к матери в поле, где она сеяла из ведра овес. Он бежал и что-то кричал на ходу и своим детским криком перепугал всех женщин, работавших на пашне. Письмо передавали из рук в руки, позвали какую-то Нюрку из эвакуированных, у которой «семилетка», и просили перечитать пограмотнее, чтобы ничего не пропустить. Потом тетка Настя, самая старая из женщин, обняв растерянную от радости Колину мать, сказала со слезами:

— Увидел бог-то... За все твои страдания, Верушка... За доброту твою... Бабы! Ну что же вы стоите? Ищите чего-нибудь, несите! Обмыть надо Ивана-то, из мертвых воскрес мужик!..

В родную свою Хмелиту солдат Иван Степанов вернулся глубокой осенью. Вернулся с наградами на груди, с седыми висками. Прирожденный крестьянин, верный земле, он не отдыхал и трех дней, попарился только в бане и пошел на работу. Был бригадиром сначала, а потом колхоз принял...

Жизнь постепенно налаживалась. Коля видел, как отец не жалеет себя, в делах с утра до ночи, и эта его верность земле, боль за нее передались и ему, определили профессию. Стал он учиться на зоотехника в сельхозтехникуме. Дома бывал часто, потому что техникум был рядом, в селе Высоком. А однажды привез с собой девушку Валерию, сокурсницу. Мать сразу определила, что к чему и, уловив момент, когда Николай был один, сказала улыбчиво:

— Ничего, пригожая. И ты к ней, вижу, по-серьезному...

На последнем семестре Николай и Валерия расписались, чтобы ехать на работу вместе. Тогда все говорили о целине, о Сибири, там разворачивались большие дела, и молодожены Степановы попросились в Кулунду, в степи. Жили они душа в душу, за два года родила Валерия трех сыновей. Одного в Кулунде, а двух сразу, двойню, уже на Смоленщине, куда их потом перевели. Старшего по настоянию Николая назвали Валерием, и он радовался, когда при имени Валера на его зов одновременно вскидывали лучистые глаза и мать и сын. «Милые вы мои Валеры»,—писал он в письмах, когда хоть ненадолго куда-то уезжал...

В разных крупных смоленских хозяйствах работал Степанов главным зоотехником. Работал и заочно учился. Вечерами за контрольными просиживал, а днем на фермах закреплял свои знания. В институте заметили глубину его разработок, самостоятельность, смелость и упорство и предложили поступить в аспирантуру. Сама собой определилась потом и тема диссертации. У него так получилось, что суть диссертации он уже на деле в основном выполнил еще до защиты, оставалось только обобщить свои опыты, изложить на бумаге. «Мясная продуктивность помесей от промышленного скрещивания швицкого и джерсейшвицкого скота с шаролезским»—так называлась его работа. Если выразиться попроще, то это вот что такое: немало отличной

говядины, которой у нас пока недостает, можно получать от одного только такого тройного скрещивания. Пятнадцать процентов добавки дает этот опыт. А если по-научному составлять рационы, улучшить содержание молодняка, то мяса можно брать еще больше. Все это Степанов доказал на практике, на своих фермах...

Защищался он легко. Народ в зале сидел опытный, знающий, все сразу почувствовали, что дело имеют с человеком серьезным, талантливым, у которого все впереди. Профессор Сергей Алексеевич Рузский, который вел Степанова, сказал после аплодисментов:

— Ну, что ж, коллега, сын крестьянский... В добрый путь, как говорится... Теперь за дела. Наука должна работать. Без науки и техники в деревне сейчас и делать нечего. Рад буду услышать имя твое, возгоржусь, ежели надежды наши оправдаешь...

* * *

В год защиты диссертации Степанов уже работал директором совхоза «Михейковский». Занять этот пост он согласился не сразу. Долго думал. Стал с женой советоваться, а та улыбается:

— Ну, чего вздыхаешь? Все равно ведь пойдешь, вижу, что решил. Ты справишься, я верю...

Это тоже очень важно — поддержка близкого человека. А Валерия не просто жена, она ученый, зоотехник, все деревенские дела знает до тонкости.

Приехал Степанов в Михейково в марте. С крыш уже капало, в лужицах купались воробьи. Он слышал, что хозяйство подзапущено, но не до такой степени: все было ниже среднего уровня. Пожилая женщина, убиравшая контору, сказала про Семена Рыжикова, бывшего директора:

— Попивал он маленько...

Начал Степанов с земли. Вместе с агрономами изучил все участки, взял анализы и где только можно стал доставать удобрения, известь. Просил в райкоме, ездил в обком партии, забирал на станциях все то, что лежало годами, подчищал у себя в совхозе. Его уже заприметили во многих учреждениях и чаще отказывали, чем помогали, а он не сдавался, приезжал снова. Надо было хоть немножко напитать изголодавшуюся

землю, обиходить ее, дать ей силу. Каждый гектар должен давать как можно больше зерна, трав, картофеля, без этого не будет высоких привесов, не будет мяса, откормочный совхоз прогорит. А корма никто не даст, их надо производить на месте, на своей земле и производить вволю, даже с запасом, питательных, высококалорийных.

Энергию Степанова, его трезвый, научный подход к делу заметили и свои специалисты, все совхозники. Им стало ясно, что этот молодой ученый пришел сюда не из-за должности, что он не из тех, которого можно на любой профиль «бросить», и потянулись к нему, стали потихоньку исчезать все те пороки, которые так мешали: всепрощенчество, пьянки, семейственность, равнодушие, лень. Даже своим внешним видом Степанов людей воспитывал. Всегда аккуратный, подтянутый, он появлялся раньше всех, никогда не повышал голоса, был прост, доступен, умел доверить и проверить, знал все семьи, опирался на лучших людей, на коммунистов. Но убедительнее, конечно, всего действовали на подчиненных начитанность Степанова, его глубокие знания, тяга к новому, умение разбудить в человеке огонек творчества. Как-то поздно вечером зашел к нему один из ведущих специалистов, сказал, застеснявшись:

— Извините, Николай Иванович, может, неловко как-то прозвучит... Но давно хочу признаться: приятно с вами работать... Цель видна... А ведь я, знаете, это самое... вначале-то... В общем, давно хотел сказать...

Труд, вложенный в землю, сказался сразу же. Раньше зерновых собирали каких-то десять—двенадцать центнеров с гектара. Эта цифра утроилась, и все стало меняться в совхозе: о нем заговорили, люди стали получать награды, пришли переходящие знамена, повысились оклады, повысилось настроение, развернулось строительство. Старались строить только самое новое, современное. Степанов частенько выезжал за опытом в другие области и республики, посылал специалистов и все лучшее внедрял. На руководящих постах появилось много молодежи, совхоз стал сам готовить кадры из своих людей, ввел стипендии, развернулась заочная учеба. И вообще вся жизнь заметно изменилась, как бы помолодела. Все парни, отслужив в армии, возвраща-

лись домой, потому что Михейково стало как бы кварталом города, с уютными домиками со всеми удобствами, и профессии здесь были заводские: слесарь, шофер, электрик, токарь и даже совсем новая должность появилась — механик по трудоемким процессам...

А ведь всего прошло пять лет. Девятая пятилетка прошла. В начале пятилетки и пришел сюда Степанов. За эти свои трудные, «плотные», по его словам, годы он отчитывался в прекрасном Дворце культуры, только что сданном, еще пахнущем свежей краской. Как и всегда элегантный, с волнением поднялся он на трибуну и глянул в зал. Все четыреста мест были заняты. Люди стояли в проходах, приставили стулья с боков. Вырос совхоз, прибавилось в нем народу. Сидели на первых рядах представители «командного состава»: главный агроном Кутьин, семеновод Журавлев, главный зоотехник Клецкин, главный экономист Дворникова, механик Шуленков, бригадир Казаченкова из Скачкова, награжденная орденом Ленина, у которой сын, Авель Николаевич Казаченков, в этом году стал чемпионом Европы по дзюдо. Заметил он электрика Володю Михаленкова, тракториста Сашу Захарова, шофера Олега Казакова, недавних солдат, с полгода как снявших погоны. Сидели рядом с ними комбайнер Печенкин с сыном. Это они при уборке рекорд поставили: намолотили за двадцать один час около ста тонн зерна. В соседнем ряду улыбается механизатор Анатолий Клюев. А что ему не улыбаться — Клюев герой не сезонный, а устойчивый, он один откармливает шестьсот двадцать голов молодняка, суточные привесы дает за килограмм, и зарплата у него в среднем рублей четыреста в месяц. Это они за одну собственно пятилетку сделали совхоз передовым в области, подняли урожайность зерна до тридцати, сорока, а кое-где и до пятидесяти центнеров с гектара, в два с половиной раза повысилась производительность труда, построили зерносушильный комплекс, восемь складов, огромный животноводческий комплекс, два пункта по производству витаминной муки и гранулированных кормов, восемьдесят квартир, магазин, интернат, откормочные площадки, контору, освоили семьсот га заброшенных земель, дороги сделали. В совхозе проведена специализация и концентрация производства. Он стал настоящей фабрикой

по производству говядины. Только за прошлый год сданы одна тысяча двести тонн мяса, по сто восемьдесят центнеров на сто га сельхозугодий, а в целом по району — всего сорок шесть центнеров. Вот что значит специализация! Себестоимость привесов снизилась на семьдесят процентов. Достраивается новый мощный цех по производству амидоконцентрированных добавок. Производительность его — тридцать тонн в сутки. Один механизатор на этих кормах будет откармливать до полторы тысячи голов молодняка. Научились выращивать телят с двухнедельного возраста на заменителе молока...

Трудно все это далось, ох как трудно... Все было: и бессонные ночи, и резкие столкновения, и душевный подъем от чувства понимания тебя товарищами по работе. Валерия вон шутит: «Ну, друг, девятая пятилетка сделала тебя на девять лет старше». Это она просто жалеет его, как и все жены. Работа его закаляет, придает силы. Недаром, когда он появляется у себя в Хмелите и идет по улице вместе с тремя своими парнями, рослыми, стройными, то из каждого окна смотрят им вслед и почти не отличают сыновей от отца...

Но чаще всего в Хмелиту Николай Иванович ездит один. Батя уже на пенсии. Со своей родной земли он ни на один день никуда не отлучался. И мать всю жизнь свинаркой проработала. К приезду сына она старается сделать в доме все так, как раньше было. Приносит миску яблок из «Колиного сада»: так она зовет тот садик, что вместе они когда-то в честь бати садили. Анисы, грушовка и штрифель так разрослись за тридцать лет, что двор из-за густых ветвей не видать. Печет еще мать ржаной пресный пирог со свежей капустой, варит картошку, достает огурчики из кадушки, а батя, хмурясь почему-то и шевеля бровями, откуда-то из-под лавки тянет початую еще на майские праздники бутыль. И идут разговоры, воспоминания, при которых мать часто утирает слезы. Николай Иванович показывает карточку Валерки, сфотографированного при развернутом знамени части. И батя надевает очки, руки у него дрожат, дрожит и голос от счастья: все дети у него в люди вышли, а Коля вот ученый, директор, и внуки какие все хорошие парни, в институтах учатся...

— В газете про тебя читал,— говорит он, открывая коробку с табаком.— Интеграция, значит...

— Интеграция, батя. Специализация и интеграция. Иначе нельзя. Село будем делать промышленным.

— Оно, конечно... Много сейчас всего надо... Всех надо напитать. Города вон так и растут. Хоть то же Ярцево наше...

Старый крестьянин, он не совсем ясно понимал смысл всех этих новых для него ученых слов, но за ними он видел главное — землю, которую надо так обиходить, чтобы всех кормить вволю, хорошо кормить, и что сын его, его Колька, на этой земле хозяин, мастер, почитаемый народом...

* * *

Планерка началась ровно в шесть. Степанов выслушал доклады о первых неделях ранней зимовки. Привесы молодняка не снизились. Это хорошо. Закачурин доложил о рационах на своей ферме. Вызванный на планерку механик Зятьков рассказал, как идут дела в цехе кормов. Он может давать по триста килограммов протеиновых добавок в час. Кутьин и Клецкин отругали строителей: медленно поворачиваются.

— А где у нас Заяц?— спросил Степанов.— Что-то я, товарищи, Петра Трофимовича Зайца не вижу, прораба нашего.

— А Заяц на курорт ускакал, в Пржевальское его женушка отправила. Эх, хорошо, когда жена — предрабочкома!..

Все это говорилось в шутку, для разрядки. Степанов любит такие оживления на планерках. А что касается Зайца, то оба они, и Петр Трофимович и Нина Васильевна, хорошие работники. Встретились они на Братской ГЭС комсомольцами. Смоленская Нина переманила на свою родину сибирско-украинского Зайца...

После планерки, подписав нужные бумаги, Степанов поехал по бригадам. Это входило в его распорядок. Я попросился вместе с ним. Он, как и всегда, сам за рулем. Шляпу сменил на шапку: холодно, черт возьми, так и продувает, как в декабре. Хорошо, что тогда у Новоселья всю картошку успели убрать. И вообще все подчистили до зернышка. Так что Октябрьский

праздник совхоз встречает полными амбарами, все планы перевыполнены. Степанов пересказывает разные данные из речи Леонида Ильича Брежнева на недавнем октябрьском Пленуме ЦК, сыплет цифрами, и мне передается его боевое настроение. Все оставшиеся четыре года десятой пятилетки он видит уже реально, в деталях. На основе межхозяйственной кооперации совхоз будет ежегодно откармливать до тринадцати тысяч голов молодняка и сдавать их высоким весом. Вместо семи деревень останутся сначала три, а потом один центр — Михейково...

— Теперь многое от нас самих зависит, — говорит Степанов, останавливая машину за Дворцом культуры. — Помощь идет большая, надо умело ее использовать. Уже доказано, что Нечерноземная наша зона может смело тягаться с Кубанью. Люди многое могут сделать, только вооружи их техникой, наукой, настрой создай...

И я видел, что сам Степанов с людьми работать умеет. Как-то легко и естественно у него все получается. Здесь, за Дворцом культуры, строятся сразу десять жилых домов, «ребята со службы вернутся, невесты их уже ждут, надо будет ключи от квартир вручать», и Степанов, разговаривая со строителями, потом в мастерской у тракторов, в некоторых семьях, куда мы заходили, с учительницей, со стариком, который поприветствовал его поднятием малахая, проявлял ко всему живой интерес, к каждому человеку было у него какое-то дело. Наблюдая за ним, я подумал: «А все-таки много может сделать в деревне умный руководитель...».

В животноводческом городке Степанов зашел в выгульный дворик. Здесь кормились упитанные телята, бока у них заиндевели, шерсть встала дыбом.

— Так на морозе и едят? — удивился я.

— Это полезно, они растут быстрее, — сказал Степанов и протиснулся в самую середину стада, профессионально осмотрел многих бычков, взял в руки корм. Потом он проверил, как работают электрические подогреватели, походил по первому этажу Дома животноводов, который скоро сдадут и где будет своеобразный центр отдыха и культуры, и мы поехали в Скачково.

Снег на холмах кое-где растаял, а на луговине, за рекой Царевич, еще лежал белыми заплатами. Сте-

панов сказал, что в этих местах были страшные бои и что до сих пор трактористы откапывают плугами на освоенных землях то каску, то автомат, то крест фашистский, то неизвестно чьи кости, наши или немецкие. Да и вся Смоленщина такая. Заново народ построил ее...

Кинув взгляд за реку, Степанов задумался. Я не стал приставать к нему с вопросами. Дел у него много, забот всяких. Вечером, как депутат, будет разбирать каких-то два сложных вопроса. А завтра бюро горкома. И так каждый день. Я просто смотрел на его молодой мягкий профиль, на цепкие руки, держащие баранку, и думал о том, что вот он какой, современный крестьянин Николай Степанов, сын Ивана...

ЛЕЙДА, А ПО-РУССКИ ЛИДА

Говорят, что самое красивое место в Эстонии — это Вильянди, небольшой старинный городок, раскинувшийся по берегу длинного чистого озера. Хороши и сам город и его окрестности, с березняками по волнистым увалам, с аккуратными клеверными полями, со знаменитым лазурным родником за городищем, который не замерзает даже в сильный январский мороз...

— Очень, знаете, жаль, что сейчас не лето, — вздыхает Эльмо Валлнер, секретарь парткома совхоза, название у которого, как и у городка, — «Вильянди». — Летом от нас никому уезжать не хочется, уж вы мне поверьте...

Мы идем с Эльмо Яановичем в местечко Пяри, где живет доярка Лейда Пейпс. Лейда Пейпс — у всей Эстонии на устах это имя. И не только у Эстонии, а, пожалуй, у всей страны. Лейда Пейпс — Герой Социалистического Труда, успехи у нее большие: она ежегодно надаивает от каждой своей коровы по пять тысяч килограммов молока. А коров у нее — сто десять. Одна доярка, сто десять коров, пять тысяч килограммов молока — эти цифры впечатляют.

— Всё, знаете, хорошо, но очень уж она у нас, как это по-русски... робкая, — шутливо жалуется Валлнер. — Надо опыт передавать, люди в совхоз приезжают, а она два-три слова — вот и вся ее речь. Прини-

мали мы ее недавно в члены партии, так я намучился, знаете. Лейда, говорю, коммунисты просят тебя биографию рассказать. И она рассказала всё в одной фразе: «Я сама, мой отец и мама моя — мы все люди крестьянские...»

Эльмо Янович заразительно смеется, говорит, что эстонцы вообще немногословны, рассказывает о Лейде, о делах в совхозе. Сегодня солнечно, с черепичных крыш свисают сосульки и пахнет уже весной, струится над черным асфальтом легкий парок. На подворье у Пейпсов гуляют куры, прыгают в клетках кролики, тычутся носами в решетчатые дверцы.

— Эй, хозяева! — кричит Валлнер. — Кто дома есть?

К оконному стеклу прилипают две любопытные детские мордашки, потом показывается пожилая женщина и приглашает нас взмахом руки. Это бабушка Анна. Вытираем о половичок ноги, входим в комнату и узнаем, что Лейда со своим мужем Калью уехали с утра в город: новую машину «Жигули» обкатывают, покупки нужны...

— Посидите немного, — говорит бабка Анна. — Они будут через двадцать минут. Это уж точно, я их знаю...

Мальчишки, рассматривая нас, облокотились на подоконник, глядят на улицу, ждут. Это Калле и Мерт, сыновья Лейды. Одному десять лет, другому шесть. И еще у них есть один сын — Хейки. Он недавно ушел в армию, служит где-то на Украине. Хейки всего восемнадцать лет, но он уже успел поработать шофером в совхозе.

— Он у нас носит красивую форму, с птичками, как у летчиков, — говорит бабка Анна. — Алье, покажи карточку, ты что ее так далеко убираешь?..

Алье — это жена Хейки. Она заведует клубом в Савикотти, в соседнем отделении совхоза.

— Семья у нас растет, — улыбается бабка Анна. — Мы, Пейпсы, без детей не можем. Без детей какая же жизнь. Вот только дом уже тесен. Я тут с сыном Калью жила, а теперь нас вон сколько. Быть мне прабабкой — это уж точно. И я рада этому. Я рада, что Лейда нашу фамилию Пейпс так здорово прославила. Очень я рада этому...

Во двор вкатывают «Жигули», и ребятишки с кри-

ком несутся к двери. Лейда и Калью приехали. Точно через двадцать минут. Прошли через кухню в свою половину. И вскоре Мерт влетает к нам в комнату в новом морском костюмчике, в шапочке с «крабом». Входит и Лейда, здоровается за руку, по-деловому садится напротив, метнув взгляд на будильник. Она по-спортивному легка, подтянута и трудно поверить, что ей, тридцатилетней по виду, всего тридцать семь и что Хейки, этот здоровый парень в солдатской форме, ее сын, а черноглазая Алье — невестка...

— Лейда по-русски похоже на Лиду, — начинаю я разговор.

— Так, так, — улыбаясь кивает головой Лейда. — Можно так: Лида...

* * *

От дома Пейпсов до фермы километра два. Лейда ходит туда пешком, ездит на велосипеде — когда как. Сегодня Калью подвез ее на «Жигулях». Калью работает оператором на зерновом складе, и им по пути.

Я увидел, как Лейда выскочила из машины, и пошел за ней следом. Мы условились, что она покажет мне весь процесс дойки.

Ферма небольшая, в ней сто десять коров — как раз вся Лейдина группа. Входим в пристройку, где стоит бак с горячей водой, фляги, вешалка с белыми халатами. Лейда кивает на вешалку, на секунду строго сдвигает брови: надо обязательно переодеться. Я ее понимаю. Доярки не любят, когда посторонние люди приходят в коровник, особенно в такой чистый, как этот. Я отхожу в сторонку, стараюсь быть незаметным, наблюдаю, как Лейда неторопливо, но быстро, с заученной точностью занимается своим делом: забирает волосы под косынку, готовит аппараты, промывает молокопровод, кладет под крышки фляг чистые салфетки. Булькает в прозрачных трубах вода, монотонно шумит насос. Коровы стоят в четыре ряда, все как одна крупные, бордово-коричневые при электрическом свете, совершенно одинаковые. Они поворачивают к Лейде головы, шумно вдыхают воздух. Лейда говорит что-то некоторым из них, но больше работает молча или напевает негромко какую-то песенку. Человек только тогда поет

на работе, когда у него все ладится, все идет хорошо, полная гармония в жизни...

Я наблюдаю за Лейдой и ловлю себя на мысли, что мало она похожа на доярку в привычном моем понимании. Она мастер машинного доения, техник — называйте как угодно. И ферма ее необычная. В коровнике при таком крупном все-таки стаде я привык видеть около десятка доярок, шум, разговоры, иногда перебранку. А тут тишина, никого нет, кроме Лейды, которая за каких-то два с половиной часа, спокойно выдаивает всю стоголовую группу, и вот уже моет руки над раковиной, смазывает их кремом, снимает халат...

Но это только так кажется, что спокойно. За этой ее легкостью стоят выучка и ритм, дисциплина, любовь к своему делу нелегкому. Лейда Пейпс прошла все стадии: от ручной работы до машинного доения в молокопровод. Раньше на этой ферме было шесть доярок и еще скотники. А сейчас трое: мастер машинного доения, кормач и скотник-тракторист. Каждый отвечает за свой участок работы: один кормит, второй чистит и третий доит. Создалась качественно новая форма организации труда, повысилась ответственность. Мастер машинного доения Лейда Пейпс является, конечно, при этом главным лицом. В ее руках все стадо, она не только два раза в сутки доит коров, но и следит за их состоянием и здоровьем, ухаживает две недели за телятами, пока их не переведут в другое помещение, за инвентарем, ведет первичную обработку молока и сдачу его шоферу-экспедитору. Рабочий день у Лейды семь часов. Она имеет два выходных дня...

Некоторое время Лейда Пейпс доила пятьдесят пять коров тремя аппаратами. И казалось, что это предел. Но, побывав в совхозе «Тарту», познакомившись с опытом Вайке Нутть, Лииды Саар, Розалии Кирьянен и других мастеров, Лейда сказала директору:

— Попробую доить сто десять коров шестью аппаратами...

Она сказала «попробую», а сама уже была уверена, что сделает, справится. Она уже все отработала прежде, чем сказать это, не пожалела для тренировок и учебы время. Лейда молчаливая, но зато работящая. А чего впустую говорить? Ты лучше сделай, и дело твое за тебя скажет. Такие слова Лейда часто от своего отца

слышала, Аугуста Няриппэ, старого уважаемого крестьянина. Да и от матери тоже...

— Никаких секретов у меня нет, — говорит Лейда Пейпс. — Надо просто хорошо работать. У нас совхоз сильный, опорно-показательный, директор товарищ Харальд Мянник, человек ученый, кандидат, агроном. Мы все постоянно учимся. Коровы у нас специально подобраны для машинной дойки, с крупным податливым выменем, со спокойным характером. Не мы к корове подлаживаемся, а корова к нам — так надо по науке. А все идет от земли, от высоких урожаев. Почти тридцать шесть центнеров зерновых с каждого гектара мы собираем. А это корма. Без кормов никакая техника не поможет. Надо с кормов начинать, с земли...

Слова Лейды Пейпс я часто вспоминал, осматривая совхоз «Вильянди», все его службы. Да, наука здесь в большом почете. Всюду в порядке содержится техника, готовая по-боевому встретить весну, высокая выучка у механизаторов, готовы семена, удобрения, то тут, то там видны новые постройки. Начаты подготовительные работы для возведения скотоводческого комплекса почти на полторы тысячи голов скота, который будет сдан к концу текущей пятилетки.

Я хотел повидать отца Лейды, старого Аугуста Няриппэ. Но встретившийся нам в пути высокий мужчина с рюкзаком за плечами сказал, что Аугуст и его жена Мария уехали в гости и будут только вечером.

— Вижу, вы к дочке его приехали, к Лейде, — раскуривая трубочку-носогрейку, охотно заговорил мужчина. — Сейчас многие к ней приезжают, и Аугуст наш совсем уж от радости изменился, дает пояснение гостям, как будто он сам, чудак, Героя получил. Да ведь и любой на его месте возрадуется. Мы, старые люди, никогда не видели, чтобы за труд такая почесть выпадала. Копались на своих клочках земли и ничего не видели. Сколько ты молока надоил, никому дела нет до этого. Конечно, хороший хозяин отмечал своих работников, к празднику что-то подкидывал, но чтобы само правительство об этом работнике говорило и награждало его — да сохрани боже! Нет, это здорово, что у нас сейчас простому человеку такая честь. Я как-то об этом не задумывался, привык уже, а когда нашу Лейду возвысили, словно по голове меня ударило: да

где же еще может быть такое? Я завидую Аугусту, такая дочка у него хорошая. Мы ее знаем... Недавно в школу по этой дорожке бегала. А у меня сын был... На войне убили его, он Ленинград защищал...

* * *

В Таллине, в гостинице, я включил радио. Шла передача на эстонском языке, чередовались то мужской, то женский голоса. И слышалось знакомое мне имя: Лейда Пейпс. И еще я понимал слово «пим», «пима», что означает «молоко». На вопросы отвечала Лейда Пейпс. Я сразу узнал ее спокойный домашний голос. Мне показалось, что слово «пим» она произносила както особенно тепло и протяжно. Время было около семнадцати часов. «Сейчас Лейда на ферме, — подумал я, — она заканчивает вечернюю дойку».

ПАСТУХИ

В Большую Будницу можно было пройти ближним путем через поля. А мы свернули влево, в низину, специально удлиняя дорогу. Только что отшумел грибной дождь, и так хорошо было шагать мимо березок, малиновых клеверов, по широкому лугу, умытому теплой небесной водой...

В Большой Булнице мне хотелось повидать Ивана Григорьевича Корпатенко, совхозного пастуха. Второй день уже, колеся по Невельскому району, я слышу эту фамилию: Корпатенко. Или, вернее, как ее здесь произносят на русский манер, — Корпатенковы. Лучшая в «Форпосте» доярка — Корпатенкова. Заботливая свинарка — опять Корпатенкова. Пастух, доярка, еще одна доярка — целая ферма Корпатенковых...

Вначале мне подумалось: однофамильцы. Есть же, к примеру, на Ветлуге довольно крупная деревня, где все жители — Ивушкины. Для сельской местности такое не в диковину. Но тут было другое: одна семья. Пять дочерей и пять сыновей: Лена, Галина, Люба, Володя, Надя, Витька, Нинка, Серега, Колька и Саня. Самой старшей — за двадцать, младшему — годик. Лена и Люба — доярки, Галя — свинарка, Вовка на тракториста учится, сам Иван Григорьевич опытный пастух и живот-

новод, а жена его, Анастасия Елизаровна, доярка с пятнадцати лет. Председатель совхозного рабочкома Латышев, рассказавший о Корпатенковых и провожающий сейчас меня в Большую Будницу, не переставал повторять, что семья эта, помимо «ударных цифровых показателей в соцсоревновании», на редкость дружная и такая образцовая во многих отношениях, что можно бы заснять ее для кино или же выдать им за любовь к земле какую-то специальную крестьянскую медаль.

Перед самой деревней стало накрапывать, и Латышев не успел развить свою мысль о медали. Прижимаясь к тополям, мы прибавляем шагу и вскоре оказываемся у дома пастуха. Дом как дом: яблони перед окнами, вишни, сарай у забора, в лопухах прыгают кролики, поленница дров у стены, длинная полоска картошки. Босоногая девочка носится по лужам и что-то напевает, задрав вверх голову. На вопрос Латышева: «Дома ли папа?» — она показывает ослепительно-белые зубы и молча убегает в сени. Через секунду-другую к воротам выпархивает уже целая стайка ребятни, все пышноволосые, рыжевато-золотые, белозубые, крепкие такие бутузы.

— А папанька-то дома! — кричат они наперебой и так же быстро, как и появились, исчезают. А когда мы, вытерев ноги о половичок, вошли в избу, дети уже сидели у отца на коленях и стояли рядом, как пажи.

— Соскучились, — сказал Иван Григорьевич и улыбнулся. И тут я заметил: до чего же похожи ребята на своего отца. Похожи пышным золотом волос, белозубостью и тем идущим из души располагающим взглядом, который не приобретешь никакими тренировками. С таким по-русски добрым и ясным лицом надо просто родиться.

— Соскучились, — пояснил еще раз Иван Григорьевич, поглаживая ребячьи головы. — С каких пор уж, считай, не виделись. И сам-то я стосковался...

А не виделись они, оказывается, целый месяц. Иван Григорьевич лежал в сельской больнице с радикулитом и только что, перед самым нашим приходом, переступил порог своего дома. Вспоминая больницу, он как-то виновато посматривал на жену и на старших детей, сидящих на диване, и вроде бы извинялся за то, что вот, мол, пролежал четыре недели на чистых простынях, ел с ло-

жечки, как маленький, а они тут ворошили сено, ходили за скотиной. А когда Латышев, соблазняя горным воздухом и нарзаном, предложил ему путевку на курорт, Иван Григорьевич даже обиделся.

— Да ты что, Денисыч, шутишь, что ли? Где это видано, чтобы деревенский мужик гулял в августе месяце?

— Хворый же ты, чудак-человек, — доказывал Латышев, — поощрение тебе от профсоюза даем, все бесплатно. Пей нарзан да поясницу кали!

— Вы меня вот чем поощрите, если можно: двадцатью бревнами. Я за них и деньги отдам. Избу подрубать надо, видишь, плохая уже стала изба. А вместо нарзана я лучше ее... нашей родимой чекушечку, на праздник, с огурчиком...

Иван Григорьевич смотрит на жену и смеется. И вместе с ним все начинают заливаться, даже маленький Саня. Латышев безнадежно машет рукой, тоже смеется и лезет за папиросами.

Начиная с ранней весны и до осени, да и зимой тоже в доме у Ивана Григорьевича встают всегда в одно и то же время: в три часа. Завтракать уже некогда, да и не хочется в такую рань возиться с едой. Поставит хозяйка молоко и нарежет хлеб, принесет с грядки зеленого луку, поедят наскоро и все пятеро, дочери и он с женой, идут на ферму за два километра. Девки убегут вперед, а он со своей Елизаровной обязательно оглянется на свое подворье и вздохнет. Он знает, что пятиклассница Надя подоит и выгонит корову, истопит печь, накормит младших, но каждый раз все равно волнуется и ждет не дождется, когда откроют в совхозе ясли.

— Нам бы только Саню поскорее на ноги поднять, а Колька с Сережкой уже большие, — говорит Иван Григорьевич.

— Большие, вон какие большие, — сердится Настя. — Колька вчера спрятался в репейнике и кролика ножницами остриг. Все у тебя большие...

На ферме, пока доярки сливают молоко, Иван Григорьевич советуется со своим напарником, тоже Иваном, куда сегодня гнать, в Антилеики или в Лобаны, а может, вдоль речки пасти. Стадо немалое, сто пятнадцать голов, и чтобы коровы пришли на дойку сытые, все выгоны надо знать, как свою ладонь. От пастухов,

от их смекалки и умения зависят удои, жирность молока, а значит, и зарплата.

— До полдника у ручья покормим,— говорит Иван Григорьевич,— а перед ужином прогоним по долине. После дождей там хорошо сейчас...

Пастухи открывают загородку, хлопают кнутами, и стадо, растянувшись, бредет по запущенному клеверищу, по склону горы, к темной полоске ольховника. Солнце уже припекает заметно, а роса еще густа на траве, соловьи щелкают в черемухе, утки тянутся на озера. Озер здесь много, сотни, и самые крупные, что под Опухликами, называются так: Малый Иван и Большой Иван. Сплошные, в общем, Иваны. И пастухи Иваны, и озера Иваны. Как-то приехал из райцентра корреспондент и, записав в блокнот данные, прочитал хорошее стихотворение, из которого Ивану Григорьевичу запомнились две строчки: «Земля не на китах, а на Иванах, и потому ей хорошо стоять».

И сейчас вот пришли ему на память почему-то эти строчки: земля не на китах... Может, от того, что там, за леском, куда направляется стадо, стоит его деревня Веренино, где он родился и вырос, где под старыми дубовыми крестами лежат его деды и прадеды. Вернее сказать — стояла деревня. Теперь ее уже нет. Одно кладбище осталось, холмики могил да несколько крестов. Он уходил из этой деревни сначала на одну войну, на финскую, потом на другую, на самую страшную, когда напали фашисты. На обеих войнах он был солдатом, первым номером ручного пулемета. И на обеих войнах тяжело ранило его в голову и в правое плечо, пробив легкие. И домой, уже из Германии, шел он с палочкой, пьянел от родных запахов, то и дело садился отдыхать у дороги. Он торопился в свое Веренино, потому что писем от родных не получал и ничего не знал, что с ними, живы ли они и цела ли вообще деревня. Кое-что он, правда, слышал от раненых в госпитале да и сам догадывался, как искромсала под Великими Луками землю война, но то, что сам увидел, потрясло его и напугало. Ни Веренина, ни ближних с этой деревней хуторов совсем не было. И некого было спросить, узнать хоть что-то об отце и матери, о братьях и сестрах...

На месте своего дома Иван разжег костер из головешек, расстелил шинель и приготовился было прилечь.

И увидел за бурьяном, там, где стояли раньше хлебные амбары, какую-то старуху с мешком. Он окликнул ее. Это была их соседка Лукьяниха, по годам еще далеко не старуха.

— Это ты, что ли, Ванька? — спросила Лукьяниха, не удивляясь и не меняясь в лице. — А я, вишь, щавель собирала да припозднилась вот...

Она коротко, глядя куда-то в сторону, рассказала, как в их доме прятался летчик и как немцы, когда летчик, подкормившись, ночью ушел к Петровским дачам, поставили мать его, Акулину, с маленьким Витькой у груди и отца, избитого до полусмерти полицаями, к стенке сарая и стали стрелять. Лукьяниха, вдруг оживившись, показала, как стрелял немец, как дрожали у него засученные по локоть белые руки...

Эти дрожащие от стрельбы белые руки часто снились потом Ивану, преследовали его всюду. Он не смог жить в этих местах, завербовался на Урал. Но прошли годы, и родина снова потянула его. Он вернулся, купил домик в Большой Буднице, попросился на ферму. И, гоняя теперь стадо мимо верининских холмов, не может удержаться от воспоминаний, тревожит душу прошлое, царапает сердце...

Часам к одиннадцати пастухи ведут стадо на полдник, поближе к деревне. Это самое любимое время для Ивана Григорьевича. Придет на дойку Настя, жена его, Лена с Любой, прибегут из дому ребята, принесут в узелке еду и, помогая отцу, сами большую часть съедят на свежем воздухе.

Приезжает частенько к стаду Илья Федорович Поздняков, директор совхоза, и секретарь партийной организации Сергей Андреевич Короткевич. Они говорят об итогах, среди других фамилий выделяют Корпатенковых, особенно Любу, давно уже обогнавшую мать, и самого Ивана Григорьевича, беззаветного труженика, идущего впереди и зимой и летом.

Зимой Иван Григорьевич чистит стойла, принимает с зоотехником отелы, возит корма, смотрит за телятами. Зимой свободного времени побольше, и они с Настей ходят иногда в клуб, смотрят кино, концерты своих совхозных артистов. Если в кино не всегда из-за времени

попасть удается, то концерта они ни одного не пропускают. Да и как можно пропускать, когда самые знаменитые артисты их дети: Люба, Галя и Володя. Возьмутся сестры за руки, головы пышные друг к другу склонят да как запоют под баян «Милую рощу» или «На побывку едет молодой моряк» — к носовым платкам тянутся старухи. И пляшут они хорошо, и танцуют, и платья на них городские, модные, туфельки на высоком тонком каблучке — все не хуже, чем у других. Конечно, семья у Ивана — сам двенадцатый, трудновато приходится, но ведь половина из них — работники, да еще какие! А ведь сами собой они не стали такими хорошими. И Иван и Настя всю душу в детей вкладывают, считая это главным. Сами на земле стоят твердо, и ребята пошли их дорогой. Недаром директор Илья Федорович сказал недавно на собрании:

— Ты, Иван Григорьевич, воспитывая детей, партийное дело делаешь!

Эта похвала больше всех понравилась Ивану. За самое главное при всем народе его похвалили — за детей. Передавая эти слова потом на полднике Насте, которая не была на собрании, он как-то вдруг увидел ее, худенькую и еще молодую, другими глазами и, теплея от нежности, вспоминая прожитые годы, заботливые, ласковые руки ее, благодаря которым никто из детей ни разу не жаловался доктору, хотел было высказать все это прямо, но губы его задрожали, ком застрял в горле, и он отвернулся, чтобы не показывать слез, и обронил свое обычное:

— Ты хорошая у меня, Настя...

Он и в молодости, когда еще донашивал солдатскую шинель, говорил ей именно эти слова и никогда, кажется, не произносил слово «любовь», но Настя и тогда и сейчас чувствовала ее, настоящую любовь, и жила этим, и никакие трудности не казались ей трудностями. Она посмотрела на него из-под платка, поставила на траву корзиночку и сказала:

— Надюшка тебе пирог испекла... С малиной... Посолить только забыла...

— А где она?

— Купаться полетели.

— Смотри...

— Да Любка с ними. И воды-то там нет.

Они стали закусывать и разговаривать о заботах и жизни. Осень скоро, а у Вовки валенок нет, парень с железом дело имеет. Баню бы успеть покрыть к праздникам. Плохо без своей бани с такой оравой. Многое хочется к празднику сделать. И Ивану исполняется пятьдесят, в партию его скоро принимать будут. Короткевич уже предупредил. Новый костюм надо к таким событиям. Серый-то, габардиновый уже пообтрепался. Новый надо. Половину поросенка придется продавать...

— А ничего пирог-то Надькин, — говорит Иван Григорьевич. — Тесто-то Любаня, что ли, ставила?

Он запивает пирог молоком, посматривает на лес, на лежащих в холодке коров, на голубеющие льны за дорогой, на жену, и хорошо ему, легко, радостно. И если бы его сейчас спросили, в чем заключается счастье, он бы, видимо, не ответил. Человек, дышащий воздухом, не замечает, что это воздух. Воздух и воздух, нельзя без него. Так и счастье. Живешь, любишь, работаешь, люди тебя ценят, и от этого легко на душе. Может, это и неполное счастье? Но ведь полного счастья ни у кого не бывает. Да никто и не знает, что оно такое — полное счастье...

КАДЫЙСКАЯ СТОРОНКА

Укатанная за тихие морозные дни «местная» дорога проходит лесами. От самого Кадыя, районного центра, тянутся березняки вперемежку с темными елями, осины и сосны, мелкий ольховник. По-зимнему задумчивый лес как бы притаился в тревоге: так и кажется, что вот сейчас, ломая сучья, вывалится из чащобы матерый медведище и встанет с ревом на задние лапы, загораживая путь. Но узкая дорога пустынна, хутора и деревни попадаются не часто: Чапыги, Митьково, Поломы... Как и от слова Кадый, веет от этих названий чем-то древним, затерянным, под стать здешней присказке: Буй да Кадуй черт три года искал...

Поглядывая на заснеженные опушки, я медленно повторяю эту присказку, которая имеет в виду вообще-то вологодский Кадуй, но такой же отдаленный, как и этот Кадый, и вспоминаются мне первые приезды сюда.

Не так уж давно это и было, лет пятнадцать, пожалуй, назад. Тогда в Кадый можно было добраться только самолетом. Знаменитая «аннушка», взлетев в Костроме, минут через сорок мягко опускалась на крохотную луговинку, окруженную сосняками, подкатывала к деревянному домику, именуемому аэропортом, и сразу же, как только открывалась самолетная дверца, обдавало такими клеверными и хвойными ароматами, что и уходить с этой луговинки не хотелось.

— С прибытием! Милости просим! — приветствовал новых пассажиров Семеныч, начальник аэропорта, которого все звали почему-то комендантом. Если бы не поношенная летная фуражка, фасонисто сдвинутая на левое ухо, этот Семеныч, в неизменном своем ватнике и кирзовых сапогах, походил бы скорее всего на колхозного бригадира. А он, говорили, и был до армии бригадиром, но, послужив в авиационных частях, в село свое не вернулся, потянуло его к самолетам, к аэродромам. В общем, должность у Семеныча была аэрофлотовская, городская, а уклад жизни крестьянский: полоска картошки за аэродромным домиком, привязанная к колышку коза Манька, поленницы дров у сарая, стожок сена, укрытый с макушки старым брезентом. И еще была у него большая темно-серая собака по кличке Ураган, этакий добродушный вислоухий пес, кажется, помесь овчарки с дворнягой. Завидя, бывало, самолет, Ураган неторопливо трусил к нему и останавливался напротив пилотской кабины. Он не обращал ни малейшего внимания на пассажиров, а ждал летчиков, которые уже махали ему рукой.

— Ураган, дружище! — смеялись летчики, ложась на мягкую траву. — Что новенького в Кадые? На-ка вот закуси да посиди с нами, пока твой Семеныч почту выгружает...

Ласково греет августовское солнышко, после моторного рева тишина кажется осязаемой, и так приятно молодым пилотам поваляться и поиграть с Ураганом, подколоть Семеныча какой-нибудь шуткой насчет забытого богом Кадыя, аэродромной козы Маньки, предсказаний погоды...

— На воскресенье дополнительный рейс может потребоваться, — говорит Семеныч, расписываясь в ба-

гажной ведомости.— Так что, ребята, предупредите руководство...

— А что случилось? Что за наплыв из Кадыя?

— На совещание учителей заявка на семнадцать человек, отдел культуры местных артистов в область повезет, командировочных шестеро, тоже просили обеспечить...

Приняв груз и людей, самолет улетает в сторону Костромы, и я, подходя к селу, вижу, как «аннушка» покачивает крыльями, приветствуя кого-то из кадыйцев. А может, пилоты решили весь Кадый поприветствовать, это тихое село, где все сухое, еловое, звонкое, где смотрят герани из окон, бродят в лопухах у забора пестрые неинкубаторные куры...

По любой кадыйской улице обязательно попадешь в центр села. Центр — это площадь с пятью магазинами, откуда во все стороны виднеется лес, подступающий к приземистым деревенским банькам. Недалеко от площади, как мне сказали, и гостиница, вид которой с первого же взгляда наводил уныние: дряхлое двухэтажное зданьице, предохраняемое двумя подпорками.

— Ежели бы не эти, извиняюсь, подпорки,— охотно пояснил сидящий на бревнах мужик,— то бы хана! Ей-богу бы рухнула эта хламида. Тут купец третьей гильдии жил, так еще при нем этот дом был старым...

Просто не верится, что еще триста лет назад Кадый был городом. И герб свой имел и городничего. Нравы тут, судя по историческим запискам, были дикие. Уж если одного из городничих или местного помещика губернское начальство решило наказать, то, видно, крепко они в этой глуши «гуляли». Лесная медвежья глухомань спасала их и от наказания: двенадцать лет, бывало, шла из губернии до Кадыя строгая «казенная» бумага. Один из нарушителей уже умер, так и не узнав, что наказан...

Отвели мне в гостинице железную койку на втором этаже у окна, положил я портфель и пошел представляться «мэру», то есть председателю райисполкома. На этой ответственной должности была тогда Валентина Ивановна Зенченкова. Она посмеялась над словом «мэр», над незадачливым городничим, о котором я ей рассказал, убрала со стола бумаги и предложила прогуляться по селу.

— Хвалиться, правда, пока особо нечем, но мы кое-что делаем в меру сил...

Валентина Ивановна показала рукой в сторону реки Вотгать, где по всему берегу и пологой равнине рядами стояли саженцы.

— Три тысячи лип и кленов посадили мы на улицах этой весной. Пенсионеры помогали, школьники, комсомольцы, а когда план выполнили, поблагодарили всех, то жители сами второй заход начали. Из леса рябины несут, черемухи, березки, сирень рассаживают. Пришлось эту замечательную «стихию» в нужное русло направлять. Приняли мы с депутатами решение: заложим парк знаменательных дат.

— Это что-то историческое?

— Ну, как вам объяснить попроще? — Валентина Ивановна смотрит на меня и улыбается. — Ну вот вы, к примеру, сегодня женились и прямо из загса вместе с невестой идете за Вотгать и сажаете дерево. Родится у вас дочка — еще дерево посадите. Жизнь идет быстро, особенно в наше время, и не успеете вы оглянуться, как вырастет парк, где все деревья связаны с какими-то человеческими радостными датами. Однажды сядете вы на скамейку, и вам на колено упадет кленовый золотой лист. Вы посмотрите вверх, где за деревьями видны новые широкие крыши, и вспомните май шестьдесят пятого года, двадцатилетие Победы, события в своей жизни...

— И заложили такой парк?

— А как же? Вон смотрите... Вид пока у него жидковатый, но не сразу, как говорится, Москва строилась. И парк будет, и кинотеатр городской, и картинная галерея, библиотека новая. Мы у себя в исполкоме так считаем: райцентр — это не только учреждения да конторы разные. Это и культурный центр для всего района. Центр бытового обслуживания и торговли. Надо райцентр таким сделать, чтобы приехавший сюда колхозник чем-то обогатился, научился чему-то хорошему...

На площади Валентина Ивановна увидела какого-то нужного ей человека, окликнула:

— Герман Николаевич, подожди!

А потом познакомила меня с ним. Это был Горланов, начальник всей кадыйской торговли. Герман Николаевич не так давно приехал из Макарьева, из соседне-

го райцентра, где у него и условия жизни были получше и должность посолиднее, но он все оставил, выдержал «осаду» жены, макарьевскую родом, и принял по просьбе райкома партии здешние подзапущенные торговые дела.

— Он у нас кадыец, и этим все сказано,— пояснила Валентина Ивановна.— Кадый надеется на него...

— Было бы чего продавать,— простодушно улыбнулся Горланов.

— Ой, не скажи, Герман Николаевич! И то, что есть, иной раз предложить не могут, нет купеческой хватки. Купцы-то раньше перед покупателем бисером рассыпались, товар нахваливали. А твои продавцы как в рот воды набрали. Конечно, плохую вещь хвалить не надо, мы не купцы-частники, но контакт с покупателем должен быть. Культуры нам не хватает, знаний, этакой, знаете, тонкости душевной...

С недостатком такой «тонкости» мы столкнулись буквально через две минуты. В продовольственном магазинчике какой-то мужчина, осмотрев полки, попросил:

— Будьте добры, бутылочку сухого вина. Просто удивительно, что оно здесь есть. И в Ленинграде у нас такой сорт редко бывает...

— Какого вам вина?— переспросила молодая продавщица.

— Сухого, девушка, только сухого.

Продавщица обидчиво поджала губы, нахмурила свои тонкие бровки и, помолчав немного, ответила:

— Может, вам не сухого, а мокрого вина? Понаедут тут всякие и воображают...

— Извините, но мне в самом деле надо сухого вина. Вон оно стоит, сверху.

Горланов, вслушиваясь в этот разговор продавца с покупателем, идет к левому прилавку:

— Надя, да ты что в самом деле? Ты что, о сухом вине не слышала?

Симпатичное Надино лицо вспыхнуло, как маков цвет, она заплакала, по-детски всхлипывая и растирая слезы кулачком.

— Откуда я знаю, Герман Николаич! Я думала, он меня разыгрывает, познакомиться хочет. В школе мы вина не проходили. У нас в Кадые только белое вино пьют, его все и спрашивают...

Горланов успокоил Надю, извинился перед приезжим покупателем, а когда мы вышли на улицу, дал волю своим чувствам:

— Тьфу, ты черт, холера тебя задери! Белое вино — это значит водка! Она, проклятая! «Галическим сучком» ее у нас зовут. А красное вино — это то, что не водка...

— Не разъясняй, знаем, — посмеивалась Валентина Ивановна. — Ты бы лучше продавцам это разъяснял, а то они, слышь, в школе-то про это не проходили...

— Ученые торговые работники не едут к нам что-то. В собственном соку, понимаешь, варимся... Привыкли, понимаешь, смирились. Раздевалка в столовой есть, а за столами сидят в робах. Написано, что курить нельзя, а курят. Замечание сделай — на смех поднимут: «Это в Кадые-то нельзя? В Кадые все можно!»

— В этом вопросе изнутри надо работу вести, — вздыхает Горланов. — Всем надо на это навалиться. Ведь вот улицы озеленили, и посмотрите, как деревца любовно оберегают. А почему? Да потому, что до каждого дошло благородство это. Каждый сам садил. Так и во всем дойдет...

Пересекаем мост. Река бурлит на перекатах. Утки, переваливаясь и теряя перья, спешат к бочажку. Навстречу попадается старуха и еще издали по-кадыйски певуче и мягко тянет:

— Герман Николаи-и-ич! А ведь булочек-то опять не было-о-о!..

Горланов в сердцах запахивает плащ и качает головой:

— Вот вам еще одна кадыйская проблема — пекарня. Мала пекарня у нас. Да и мастеров бы хороших надо. Не успеваем и многого еще не умеем. А все, понимаешь, надо...

— Наш Кадый как райцентр на несколько лет был закрыт, — заступаясь за Горланова, говорит Валентина Ивановна. — И это, конечно, притормозило его развитие. Люди поразъехались, пообветшало все, поизносилось. Коммунальные расходы и сейчас у нас мизерные, а тогда вообще почти ничего не было. Сорок семь рублей на чистки колодцев — вот и вся смета...

Зашли мы и в другие магазины. Все они тесные, неудобные, планировка их как была при купцах, так и ос-

галась, и забиты они чем-то до потолка, повернуться негде. Товаров вроде много, но как бы их и нет вовсе, потому что почти ничего из сваленного и висящего здесь не берут: серятина, кустарщина, безвкусица. Кому-то еще кажется, что в сельской глубинке все расхватают: и эти грязного цвета старушечьи платья, и костюмы, похожие на балахоны, и тяжелые топорные туфли, в которых не молодым женщинам и девушкам ходить, а солдатам, да и то бы старшина, осмотрев, забраковал бы.

— А что сейчас спрашивают? — интересуюсь я у Горланова.

— Так известно что, — отвечает Герман Николаевич. — Хорошая, добротная вещь нужна. Модная, красивая одежда и обувь, тяжелые мотоциклы, телевизоры с большим экраном, холодильники, автомобили легковые, стиральные машины, радиолы, мебель... Только дай! И цены никого не испугают. Денег сельский житель поднакопил достаточно, а вот выманить их у населения, в государственный оборот пустить мы не можем: и нужных товаров мало, и торгуем пока, как видите, неважно...

Не могли кадыйцы похвалиться и сферой обслуживания. Больше трех тысяч жителей в райцентре, а сапожников только трое: Лапин, Шабанов и Волков. Директор комбината бытового обслуживания Августа Федоровна Орлова, в чьем ведении находятся сапожники, говорит, что вообще-то сапожник всего один, потому что Шабанов и Волков — запойные. Как разрешат себе в воскресенье, так и хлещут недели полторы. Сапожник в Кадые на вес золота.

— Почему, спрашивается, такое положение? — вскидывает голову от туфельной заготовки Николай Степанович Лапин. — Какая такая причина? Вот они пьют, а почему пьют? Потому, что их мало, в мастерской всего не переделаешь, на дом тащат заказы, а вместе с заказами и водку: дескать, прошу побыстрее сделать... Вот и выходит, что сам заказчик потрафляет, чтобы Шабанов и Волков пили. Пользу, видишь, в этом усматривают для себя, а на деле-то вред...

На сапожников нигде не учат, не хватает их. У нас вот на весь Кадый один печник остался — Федорыч. Стужа прижмет, чего хошь не пожалеешь. Всех мастеров порастеряли. Ни стекло вставить некому, ни самовар по-

лудить, ни каблук подбить. Урон от этого людям, обиды разные...

Августа Федоровна ведет меня наверх, в швейную мастерскую.

Здесь почище, чем у сапожников, цветы на окнах, занавески. Недавно прислали главного инженера. Около тридцати сортов тканей выставлены в примерочной. Заказы после того, как образовался район, выросли в три раза. Комбинат скоро расширится. В Кострому на учебу послали людей. Они будут ремонтировать телевизоры, холодильники, стиральные машины, пылесосы. Не останутся забытыми и колхозы...

...Мои воспоминания перебила музыка. Это Василий Тихонович Колодезиых, первый секретарь Кадыйского райкома партии, включил «Маяк», чтобы послушать последние известия. Он сидит впереди с шофером, то и дело поворачивается ко мне, чтобы ответить на вопрос, объяснить. В машине тепло, мы сняли шапки, расстегнулись, посматриваем на снежные валы, сгребенные к обеим сторонам дороги, на задумчивый лес. Василий Тихонович сам полустепняк, из-под Воронежа, но на Костромской земле вот уже лет двадцать и шестой год из них здесь, в Кадые, первым секретарем. По образованию он лесной инженер, работал до райкома в этой зоне в леспромхозах и всех в округе хорошо знает: территория в Кадые большая, а людей не так уж и много. Сегодня мы едем с ним в Завражье, в колхоз имени Ленина и вообще в южную часть района. В Завражье Василий Тихонович хочет показать мне животноводческий комплекс и познакомить с Татьяной Окуневой, лучшей дояркой в районе, депутатом Верховного Совета страны.

За мостиком, по левую сторону от дороги, показалась небольшая деревенька. У крайнего дома мальчишки катались на санках с горки, которая спускалась к реке, к тальникам. На заснеженном льду дымилась прорубь, и женщина черпала там воду, сливала ее в бак.

— Мелеики, — сказал шофер. — Соловьиная деревня. Летом тут в зарослях соловьев пропасть...

Шофер вздохнул, заулыбался, покачивая головой. Что-то, видимо, приятное вспомнилось парню. А у меня перед глазами встала не совсем приятная картина. Однажды я шел от самой Волги пешком и ни в одной

сельской лавке не мог купить себе хлеба. Не было хлеба и в Меленках, где мне пришлось ночевать. Хозяйка, наварив картошки и принеся из погреба грибов и капусты, сказала:

— А хлебушка, соколик, нет у нас... Сами уж давно не печем, а в магазин мало привозят. На прошлой неделе по кирпичику дали, да и тот черствый, тяжелый, что-то в него намешано...

— Да когда это было?—поворачивается ко мне Колодезных.

— Сейчас скажу точно... В шестьдесят третьем, в декабре...

— Верно, по спискам в сельпо делили хлеб. В леспромхозах получше было, а в деревнях плохо. Зерна собирали тогда почти столько, сколько сеяли. Лучшие земли под «королеву полей» занимали. И ни овса, ни «королевы»...

Василий Тихонович увлекается и начинает сыпать цифрами, сравнивать. И сам Кадый и район за две последние пятилетки заметно выросли, помолодели. Я это заметил сразу же, как только приехал сюда. Да, ие прилетел, а приехал прямо из Костромы на «Волге». Для того времени, когда был здесь впервые, это звучит неправдоподобно. Тогда бы, особенно весной и осенью, в Кадый и на гусеничном тракторе не пробраться. Как-то из Островского мы поехали в Кадый на «вездеходе», и этот «вездеход» так сел в Котлове, что мы еле из кабины выбрались. На «своих двоих» добирались, с ночлегом. А теперь вот асфальтированная магистраль от самой Костромы. И аэродром в Кадые закрыли. На этой уютной полянке, где жил Семеныч с козой Манькой и псом Ураганом, строят теперь какой-то комбинат. Из Кадыя регулярно автобусы ходят. И каменных зданий появилось здесь немало. А ведь ни одного не было. Кадый уже не село, а поселок. За десять последних лет почти тридцать тысяч квадратных метров жилья введено. Музыкальная школа появилась, хлебозавод, типография, гостиница, молокозавод, магазины, столовая, баня, где даже пиво по воскресеньям бывает; заасфальтированы четыре улицы и площадь, проведен водопровод, построены современные административные здания с большими актовыми залами и красными уголками. И в колхозах всюду белеют новые крыши. В два-три раза

после знаменитого мартовского Пленума ЦК, который был в шестьдесят пятом году, выросли урожайность, надой молока, поголовье скота, количество разных машин. Десятую пятнлетку район хорошо «закрыл» по всем показателям. И в первую зиму однннадцатой пятилетки вступил уверенно, с полным запасом кормов, с готовой к севу техникой, с боевым рабочнм настроением...

— Конечно, мерки у нас скромные,—говорит Василий Тнхоновнч.—Кадый—это не Кубань, землица у нас тощая, не поля, а заплатки среди лесов. Трн-четыре гектара для нас—это уже массив...

Но он тут же самокрнтично поправляет себя: резервов много, на всех участках. И в этих лесных краях толковые руководнтелн большне хлеба берут. Райком партни и он, как первый секретарь, еще не ко всем хозяйственнннкам и специалистам нашли нужный ключнк: у одних густо, а у других пусто. И все-то, смотришь, канава поля разделяет, межа, а разннца осенью, после уборкн, огромная: на левом поле—трндцать пять центнеров с гектара, на правом—двенадцать. Тот председатель, что по двенадцать центнеров жнденькой ржицы собрал, ездит на новеньком «газике», всегда одет с иголочки, чнсто выбрит, наодеколонен, на трнбуну рвется первым, говорнт долго, красиво, приводит удачные цнтаты, чтобы прослыть смелым, слегка крнтикует районное руководство н даже областное может чуть-чуть задеть н, заканчнвая речь, берет повышенные обязательства, поддерживает какой-то шумный почнн. А тот, у которого трндцать пять центнеров с гектара вышло, сидит в сторонке, внд у него усталый, помятый, он прямо от комбайнов пнехал. Колхоз его, хотя н дает в трн раза всего больше соседа, но согласно районной сводке чнслнтся в отстающих, потому что в данный момент ндет с мннусом. У него потолок н без того был высокий, н еще шаг сделать в этот ненастный год ему труднее, чем соседу, который от ноля танцует. Эти плюсы, минусы иной раз с толку сбнвают, героем дня отстающего делают. Сложное это дело—кадрамн заннматься. Когда на бюро райкома председателей утверждалн, то казалось, что тот, смелый и решительный, колхоз потащит со всей силой. И он потащил. Только не колхоз, а нз колхоза, под себя стал торопливо грести: дом новый с двумя верандами, машнна служебная и личная, мотоцикл для сына,

приличная должность жене. И на село проник этот вирус наживательства: хватай скорее, пока возможность есть...

— А где теперь Горланов? — спрашиваю я Василия Тихоновича.

— Герман Николаевич-то? У нас в районе. Он теперь директор универсальной базы. Мужик не плохой, многое сделал для культуры торговли.

— А Валентину Ивановну Зенченкову куда вы дели?

— Замуж выдали. Красивых одиноких женщин нельзя на руководящей работе держать — умыкнут. Вот и ее умыкнули. В Костроме живет, в горкоме партии работает...

В одной деревне я увидел открытый сельский магазин и попросил остановиться. В самом Кадые я уже познакомился с торговлей и бытовым обслуживанием. Многое, конечно, за последние годы изменилось в лучшую сторону, но те, старые проблемы не исчезли. Товаров разных по-прежнему много, и они для того, прошедшего времени были бы модными и ходовыми, а сейчас лежат и висят, как и тогда. Вкусы у людей изменились, культура выросла, а качество одежды и обуви, вид их попрежнему отстают. Только спиртные напитки стали «моднее» и привлекательнее — форма бутылки, наклейка, названия: водка «Сибирская», «Пшеничная», «Московская», набор коньяков от трех до шести звездочек. А сухие вина бывают редко и в основном болгарские или венгерские. Есть крупы, сахар, хлеб, макароны, коопторговская свежая свинина по три с полтиной за килограмм, молоко, а вот колбас, масла сливочного нет. И по-прежнему спрашивают и годами ждут легковые машины, тяжелые мотоциклы, мебельные гарнитуры, дорогие вместительные холодильники. И цветные телевизоры не всех марок берут, просят «Рубин», «Темп», «Электрон»...

Для бытовых услуг целый комбинат построили, но полного удовлетворения от него нет: платья привлекательного не сошьешь, прическу красивую не сделаешь, туфли модельные не закажешь. Обязательно чего-то не хватает: подкладки, ткани, пуговиц. А если и есть, то не того цвета, фасона. А самое главное — мастеров нет. Старые повымерли, а молодые разъехались кто куда. Население в районе да и в самом Кадые с каждым го-

дом убывает. В Кадые поменьше, а в колхозах больше. Значит, не все еще как следует сделано, чтобы люди не покидали родных мест, чтобы, наоборот, из городов сюда ехали. Раньше в Кадые была одна чайная, а теперь кафе и ресторан открыли. В старой чайной, помню, всегда были грибная икра и свежая рыба: край-то грибной и рыбный. А теперь ни грибов, ни рыбы. Стены расписные, музыка играет, люстры горят, а еда невкусная, пресная, чем-то «местным», типично кадыйским и не пахнет...

В деревенском магазинчике, куда мы заглянули с Василием Тихоновичем, все было примерно так же, как и в райцентре: тот же набор товаров и продуктов. Продавщица, уже немолодая полная женщина, дула на руки, грея их своим дыханием.

— А почему так холодно? — спросил Колодезных.

— Еще с осени дымоход у печки развалился, а починить некому, печников нет. Деда Гаврилу с хутора приводили вчерась, так он кирпич в руках не удержит. Хоть бы сыскать кого, неделю бы бесплатно поила, только дымоход исправь...

— А Федорыч был в Кадые, — вспомнил я. — Лучший печник. Где он?

— Хватился, милый! — всплеснула руками продавщица. — Федорыч-то твой давно уж спившись. А какой мастер был! Его и в Макарьев приглашали печки класть и в Кологрив. Поторопились крестьянское-то ремесло забывать, а без него нельзя, по-городскому, чай, все сразу не сделаешь, их вон сколько, мелких-то деревень. Раньше и валенки катали у нас, кадушки да шайки делали, горшки обжигали, а теперь никто ничего не умеет, на город надеемся. Ну горшки, может, сейчас не всем и нужны, а валенки только дай. Теплые, мягкие, лучше обувки и не придумаешь для деревни. А в продаже их нет. В любой мороз, бывало, мужики за сеном в луга ездили. Целый день на снегу — и хоть бы что. Потому что валенки. Да и горшок глиняный, если бы он был, купили бы. Или плошку какую. Настоящую пшенную кашу, если хотите знать, только в глиняной посуде можно сварить. Молочную, с пенкой...

— Ишь ты, какая разговорчивая, — пошутил Колодезных. — А почему народу нет в магазине?

— Поднабегут к вечеру. Сегодня зарплата.

— Печеного хлеба много берут?

— Ни буханочки не остается, Василий Тихоныч. Полными сумками тащат.

— Значит, есть кому потреблять-то?

— Едоков хватает. И рогатых и хрюкающих,— засмеялась продавщица.

— Кормят, значит?

— А куда денешься? Скотину теперь держать можно, а кормов не хватает. Не все председатели такие умные, что заботятся о частной корове так же, как о колхозной. Да и какая она частная? Мы на базар молоко не возим, нет у нас близко базара. Сами едим, а остальное продаем в заготовку.

— А раньше-то чем коров у вас тут кормили?

— Это когда хлеба-то не хватало, что ли? Тогда, Василий Тихоныч, коровку-то только сенцом кормили. Всю зимушку сенцом. Двор-то был забит сеном. Выйдешь, чтобы дровец взять, а на тебя так и пахнет луговым сеном. Мать, бывало, в пойло две горстки отрубей добавит или дуранды покрошит немного — и все остальное только сено. А сена-то были, хоть в чай заваривай!..

— А где брали столько?

— Накашивали. Никакая луговинка не пропадала. У нас в деревне было, кроме колхозного стада, сорок семь коров, а сейчас только девять осталось. Сенов-то тут хватает, только коси. Под снег много травы уходит. И колхоз не успевает, и колхознику не дают. Сейчас-то вроде повольготнее стало. Может, чайку согреть, Василий Тихоныч? У меня тут чайник электрический.

— Нет, спасибо. В Гобине у Сидорова попьем...

Я заметил, что Колодезных, где бы ни остановился, с кем бы ни встретился, беседует всегда дотошно и въедливо, стараясь, как клест еловое семячко, вышелушить каждую жизненную деталь, каждый факт, понять и запомнить человека. Видя его неподдельную заинтересованность, люди отвечают ему душевностью и расположением, контакт завязывается с первой же минуты. Для партийного секретаря такой склад характера — благо. А то ведь есть райкомовские работники, которые у себя на бюро, за столом или на совещаниях как рыба в воде: и говорливы и обаятельны, так и веет от них этакой непоколебимой уверенностью. Но

стоит такому показаться где-то на ферме среди доярок, у механизаторов или просто среди людей, на деревенской улице, и он как бы робеет, делается каким-то неестественным, скованным, не знает, что и сказать в данный момент, хлопая себя по карманам, долго ищет спички, закуривает, вопросы его плоски, порой прямолинейны. В общем, тоже рыба, только вытащенная из воды. Особый дар надо иметь, чтобы с людьми работать. Это ведь не на трибуне, где может бумажка выручить. Уткнулся в нее и читай. А тут утыкаться не во что. Только глаза в глаза...

Мне кажется, что у Василия Тихоновича есть этот «особый дар». О чем бы он ни говорил, какую бы проблему ни поднимал, все у него идет через человека, через конкретную личность. Любую проблему он очеловечивает, делает ее живой и понятной. Когда мы подъезжали к Гобину, он сказал, посматривая на заснеженные крыши домов:

— В Гобине да в Ивановском самые знаменитые фамилии — это Соловьевы да Сидоровы. Мастера на все руки, в крестьянском деле нет им равных, коммунисты. Таких бы нам людей побольше, как Дмитрий Иванович Соловьев да Павел Васильевич Сидоров. И дети у них под стать родителям. У Соловьевых, кажется, шестеро, четыре сына и две дочки, и умением все в отца пошли...

— Это не тот ли Соловьев, что в дояры пошел? — спросил я, припоминая Дмитрия Ивановича.

— Он самый. Дали ему партийное поручение: агитатором быть на Ивановской ферме. Он пришел туда и ужаснулся: грязь, в окна дует, двери не закрываются, сторож пьяный, положил под голову флягу и спит. А надои козьи, корма не подвезены. Ну какая тут может быть агитация? Разве слова помогут? И бывший солдат Соловьев, покачав головой, сказал:

— Ну вот что, бабоньки, хватит! Надо порядок наводить!

— Ишь какой прыткий объявился! — отпарировали женщины. — Поглядим, как ты наведешь тут порядок. Знаешь ли хоть, где вымя-то у коровы. Найдешь ли?

— Не найду, так вы покажете. А сейчас давайте с уборки начнем.

Скреб и чистил Дмитрий Иванович старательно. Для этого особого умения не требуется, была бы силенка. А вот как доить начал, испугался, в пот бросило. Одна корова лягнуть норовит, вторая рогом прицеливается. Только на скамейке устроился, глядь, а подойник уже летит к двери. Доярки смеются:

— Вот так, соколик, узнаешь, как молоко-то достается!

Домой возвращался грязным и мокрым, уставшим смертельно. А тут еще жена «наводит критику». И Дмитрию Ивановичу казалось порой, что и впрямь не его это дело и лучше уйти ему с фермы. Но он гнал от себя слабость, держался, и упорство взяло верх. Пришли и умение, и сноровка, и коровы уже не лягались, а, завидя своего дояра, тянули к нему свои ласковые морды, шершавым языком слизывали с ладони принесенную корочку. И по удоям Дмитрий Иванович женщин догнал. Доярки просто души в нем не чаяли:

— Вот это мужик! Завидуем его Марье! Да с таким хоть на край света!

Не отпустили Соловьева с фермы, когда партийная организация снова в полеводство хотела его вернуть. Так и работал там Дмитрий Иванович дояром, пока коров в новое помещение не перевели. Он и сейчас животноводам помогает. И словом и делом...

Вспомнили мы еще одного коммуниста, Михаила Ивановича Павловского, лучшего механизатора района, наставника молодежи. С ним я встречался много раз. Непростой судьбы человек, работящий, добрый...

Старший сержант Михаил Павловский был тяжело ранен в бою под Оржицей. Есть такое местечко на Полтавщине. И есть на подступах к Оржице небольшая высотка, которую несколько раз атаковали наши бойцы. Последняя атака могла бы увенчаться успехом, если бы не кинжальный огонь двух вражеских пулеметов, прижавших роту к земле. И как только рота залегла, тотчас же густо посыпались мины, и Павловский, находившийся на правом фланге, видел, как гибло от осколков его отделение. Он резко вскочил, крикнул «Вперед!» и уже за высоткой упал в примятых хлебах...

Очнулся он в немецком так называемом лазарете. Под открытым небом на соломе стонали раненые.

И только здесь Павловский узнал, что у него пробита нога и он не может ходить. Раненых никто не лечил, они умирали, а мертвые сутками лежали среди живых

Ночами Павловский смотрел, как падают в небе звезды, и думал о своем полку, о родных, оставшихся в оккупированном Шклове, о красивом селе Синютине, где он учился и работал до войны. А больше всего он думал о предстоящем побеге. Он твердо решил любыми способами вырваться, пробраться к своим через линию фронта или к партизанам.

Он готовился к этому всю зиму, и в один весенний день, когда над степью полыхала гроза, подкопал землю под колючей проволокой и уполз в темноту. Сильные ливни смыли его следы, и он, никем не преследуемый, долго полз оврагами, потом сделал себе костыли и пошел на восток.

Вернее, он не шел, а с огромным трудом тащил себя на самодельных костылях, замирая при малейшем шорохе. Он так исхудал, зарос и оборвался, что никто бы, наверное, из друзей не узнал его, когда-то сильного и рослого красавца. Он и сам как-то, увидя свое отражение в зеркальной глади лесного озера, испугался, отшатнулся от воды и часа два потом лежал в багульнике, пьянея от его резкого запаха и думая о дальнейшей своей судьбе.

Он шел уже около месяца, питаясь травой и кореньями. Раза два близко подходил к селениям, чтобы попросить хлеба, но оба раза видел немцев. Немцев было много, и они вели себя как дома. В вишневых садах стояли их танки, пиликали губные гармошки, солдаты, совершенно голые, обливались водой у колодца. Это была Украина, и Павловский знал, что раньше здесь в селах пели девчата, у колхозных клубов ярко горели огни. Больно было сознавать, что ты, в упор видя врага, растоптавшего всю эту хорошую мирную жизнь, ничего не можешь сделать. Правда, в одном месте он натаскал хворосту и поджег мост, несколько раз обрывал провода, но все это было мелочью, по его мнению.

Однажды, уже в конце июня, на его пути встретился маленький хуторок. Павловский дождался вечера и постучал в крайнюю хату. Из-за двери выглянула женщина, еще молодая, смуглая, в расстегнутой коф-

точке. Она, видно, собиралась спать, а теперь, увидя Павловского, вскрикнула и стала неумело креститься.

— Чего тебе, дедушка?

— Я не дедушка... мне бы хлебца... кусочек, — ответил Павловский и удивился своему голосу: он был хрипл и еле слышен.

Женщину звали Галиной. Она накормила Павловского, помыла его и постригла, приговаривая сквозь слезы:

— Да как же ты шел, о господи... И какая только сила вела тебя?..

Он прожил у нее с неделю, отсыпаясь на сеновале, прикладывая к ранам какие-то травы, принесенные бабкой, Галининой родственницей. Поздними вечерами, когда хуторок засыпал, Галина и бабка рассказывали Павловскому о зверствах и грабежах, которые чинили тут немцы. Они рассказывали и плакали, а Павловский только молча вздыхал да сжимал зубы: он сам, шагая по Украине, видел все эти зверства...

На седьмой день он собрался уходить. Галина отговаривала:

— Нельзя тебе, умрешь ты в пути! Живи у меня. Тут у нас тихо, до большака далеко...

Галина жила одна, ее муж еще с финской войны не вернулся, и она знала, что живут потихоньку в некоторых хуторах пленные и окруженцы. И Павловский знал и встречал таких людей, которые отсиживались от войны за спинами солдатских вдов.

— Останься, Миша. Мы вылечим твою ногу, — твердила Галина.

— Не могу. Я человек партийный, Галя... Партийный! Спасибо за все, большое спасибо...

Он шел все лето и прошел около тысячи километров на самодельных своих костылях. Несколько раз натыкался на посты и засады и чуть было не погиб под автоматным огнем.

В одной деревне, уже в Белоруссии, его схватили полицаи и жестоко пытали. Только чудом вырвался он от них, проломав крышу в сарае.

На горьких своих дорогах Павловский узнал, что в районе Шклова активно действуют партизаны. И он решил идти туда, где все места ему с детства знакомы, где жили родные и девушка Валя, крохотную фо-

тографию которой он сохранил даже в немецком плену и нес ее сейчас в кармане истлевшей гимнастерки.

Только в конце октября добрался Павловский до Шклова. Велико было удивление его матери, брата и сестренок, когда он ночью, пройдя огородами, оказался на пороге родного дома! Мать заохала, засуетилась, а старшая сестра тотчас же незаметно сбегала в соседний дом за Валей, и Валя, как показалось Павловскому, обрадовалась его появлению больше всех...

Подходил к концу второй год войны, немцев крепко били на востоке, и Шклов был забит войсками. Павловскому можно было бы спрятаться в доме и пожить здесь, подлечиться, но он уже на третий день решил пробираться к партизанам.

— И я с тобой, — сказала Валя. — Я пойду с тобой хоть через линию фронта!

— Может, потом, Валюша, ведь это опасно, да и мать твоя...

— Не отпущу я тебя одного. Если идти, то вместе...

Отговорить ее было невозможно, и это растрогало Михаила — такой он ее и представлял, шагая по горящей земле.

С помощью Вали Михаилу удалось похитить у немцев, живущих в соседнем доме, лошадь и автомат. На этой лошади и уехали они в полночь из Шклова к лесной сторожке, где их ждал двоюродный брат Михаила, партизанивший с первого года войны.

В лагере Павловскому обрадовались — он был в свое время оружейным мастером, а таких людей партизаны особенно ценили. Да и знали Михаила многие в отряде, а с некоторыми он вместе вступал в партию перед финской кампанией.

С первых же дней его буквально завалили работой. Надо было восстанавливать разбитые пулеметы и автоматы, делать фугасы и мины. Но он рвался в бой, надоедал командиру отряда, и тот уступил, разрешил Павловскому несколько раз сходить на задания.

Партизаны пустили под откос несколько эшелонов, в бою у станции Троцилово захватили «языка». Или узнал кто-то из местных полицаев Павловского в этой схватке, или донес кто-то, но в Шклове стало извест-

но, что он в отряде. Пришлось немедленно всю семью и многих родственников перевозить в лес: за связь с партизанами у фашистов была одна мера наказания — расстрел.

Теперь целое отделение Павловских храбро сражалось с врагом. Михаил, подремонтировав оружие, все чаще и чаще стал ходить на задания. Валентина встречала его на заветной тропке в лесу, и Михаил, завидя ее, отставал от товарищей...

Они садились на поваленное дерево у ручья и часами сидели, прижавшись друг к другу. Они подолгу не виделись, потому что Валентина перешла из санчасти в разведчицы и неделями пропадала в Могилеве, на станциях, в селах, собирая данные о противнике.

Однажды, когда фронт уже был недалеко и по ночам ясно горело на востоке зарево, пришла тревожная весть: каратели готовят крупное наступление на отряд...

Бой начался на рассвете. Валентина лежала у пулемета рядом с Михаилом, подавала ленту. Валились деревья, сбитые снарядами. Горел лес. Трудно было дышать. Враг лез напролом. Но партизаны выстояли. Вечером они хоронили товарищей...

Среди погибших лежали на плащ-палатке дядя Михаила и брат. Троекратный залп прокатился над лесом и смолк. Партизаны пошли на восток, навстречу фронту...

...В колхозе «Новый путь» пробовали доильную установку. Коровы сначала шли неохотно. Взволнованные доярки как могли заманивали их. Наконец все уладилось, и установка заработала. Коровы спокойно жевали корм, а молоко бесшумно стекало в наглухо закрытые фляги. Районное руководство, приехавшее по такому поводу в колхоз, стало искать виновника торжества, но виновник, стоявший в сторонке и куривший папиросу за папиросой, закрыл за собой дверь и, чуть прихрамывая, зашагал к высоким березам. Это был Михаил Иванович Павловский, тот самый Павловский, который прошел почти через всю Украину на костылях, чтобы сражаться с врагом. Закончив войну, он некоторое время работал в Шклове, а потом переехал в Синютино, где бывал и раньше. Он

окончил школу механизаторов, ремонтировал тракторы и комбайны, а теперь механизирует фермы. Он возглавляет бригаду монтажников, в которую входят два Юрия: Лапин и Сальников — молодые ребята. Эту последнюю установку онн сделали сами, из отходов. Нн одной железки не было получено с завода. Вот председателю райисполкома н хотелось поздравить Павловского. И он разыскивал его возле фермы.

Но Михаил Иванович уже подходил к старым березам, где на лужайке белел знакомый платочек.

Было тепло и тихо. Где-то далеко за рекой недавно прошел дождь. Там еще урчало и ухало глухо, доносило оттуда свежестью, а над тальннками висела радуга.

Миханл снял кепку и, чувствуя какую-то необъяснимую радость, взъерошил свои темные волосы. Женщина поднялась с травы, улыбнулась ему:

— Саднсь, ешь...

Это была жена Мнханла Ивановнча, Валентина Николаевна, та самая Валя, которая почти ежедневно рисковала жнзнью в партнзанском отряде. Она прнехала за сорок километров проведать мужа, месяцами пропадавшего в колхозах. Он инвалнд войны, большой мастер, и его бы могли постоянно держать в мастерских. Но разве уговоришь такого?

— Берн, закусывай...

Он разбивает яйцо об алюминиевую чашку, берет с бумажки щепотку соли, а она смотрит на него, худого, черного, всемн ветрами обветренного, и говорит со вздохом:

— Исхудал ты, Мнша. Костн однн. Будто в сорок втором осенью тебя вижу...

— Скажешь тоже...

— Хоть бы отпуск взял. Я пока не работаю. Дочери соскучнлнсь. Сашка с рыбалкой прнстает.

— Отпуск осенью отгуляю. А сейчас надо в Лаптеве ферму механнзировать, в Тращатках, в Красногорове и в Карькове водоснабженне наладнть. Так что ты Сашку лучше не подбнвай...

Она знала, что он до самой знмы проходит со своей бригадой по деревням, и говорила просто так, из женской жалости, потому что у Михаила не ахти какое здоровье. Ведь он ннкогда не пожалуется. Да и она такая.

Работники оии скромиые. В поселке, где уже давио живут Павловские, почти никто ие знает, что Михаил и Валентииа иаграждеиы правительствениыми иаградами. Об этом зиают только их дети, потому что по большим праздннкам роднтели открывают сундук, где лежат их партизанскне награды, и потом до поздней иочи вспомииают те грозиые годы, погибших друзей, вспоминают то, что забывать инкогда и никому ие следует...

— Ну вот н накормила ты меия, насытнла. Сейчас в Аксеиово покатим. Пойду скажу Юрке, чтобы заводили летучку. Кабы опять грозы не было, успеть иадо затемно, дорога там ие прнведи господь...

К березам подкатывает летучка. Валентина Ннколаевна отдает Юрке Сальинкову оставшиеся блины, яйца, лепешки и отходнт в сторонку. Машииа разворачивается и катит на взгорье, к Аксенову. Михаил, обияв за плечи парней, смотрнт из кузова.

— Скажн Сашке, что скоро буду-у-у! — кричит он. — Щук половим, самый жор иачннается!

Почти в каждой деревие Колодезиых останавливал машину, чтобы с кем-то встретнться и поговорить. И все дела у иего были серьезные, обязательные. По возможности он разбнрался с ннми на месте. Не подменял ответственных лнц, «не сннмал стружку», а с этих же ответственных товарнщей в прнсутствнн людей и спрашивал: почему третнй деиь за школьннками машииа ие посылается, когда пеисионерке телевнзор из ремоита прнвезут, куда нсчез почтальон из Гобииа, почему в клубе нет стенда передовнков? Он мог бы, коиечио, просто выслушать этн жалобы, запнсать их, направить потом к исполиенню в определеииые службы, но это уже был бы не Колодезных. У Колодезных такое правнло: обратнлся к тебе человек — сделай, увидел какое-то отклоненне — остаиовись, разберись, реши иа месте. И особое виимание ои обращал на «человеческие» вопросы: как почитают в колхозе лучших людей, стариков ветеранов, участнников войны, вдов солдатскнх. И там, где не было к человеку иужной уважительиости, нельзя было узиать, сколько вчера в бригадах иадоеио молока, каковы прнвесы у телят, Колодезиых не просто разбирался, а, задержавшнсь в этом хозяйстве, собирал коммуинстов, весь колхозный актнв н проводил совещание. Поэтому н езднть с ннм ннтересио. Долго до нужного

места добираешься, но зато увидишь и узнаешь многое...

Вот и до Завражья мы полдня уже едем. Колодезных порывался было заскочить на Митинское болото, где добывается торф для удобрений и где работают знаменитые механизаторы братья Железновы, но, посмотрев на часы, передумал: мы могли опоздать к Татьяне Окуневой, неловко в поздний час беспокоить человека.

Татьяна Александровна Окунева живет не в Завражье, а в селе Борисоглебском, в пяти километрах от центральной усадьбы. Не задерживаясь в конторе, мы прокатили прямо туда. Обогнули развороченный тракторными санями сугроб, миновали палисадник и оказались на крыльце новенького двухквартирного дома. Встретила нас сама Татьяна Окунева. Она только что пришла с фермы и еще не успела переодеться, засмущалась, заторопилась на кухню. В деревнях о женской красоте, обаянии и добром сердце громких похвал обычно не высказывают, а все эти бесценные качества определяют одним емким словом: пригожая. Вот такой пригожей и была Татьяна Окунева. Пока мы рассаживались за столом, она уже успела привести себя в порядок, чуть взбила светло-русые волосы и вся сияла приветливостью, в голубоватых, улыбчивых ее глазах так и искрились молодость, ум и душевная чистота. Пришла Александра Михайловна Егорова, секретарь колхозного парткома, бригадир, набежали соседи, и само собой образовалось чаепитие. В эти дни у Окуневых вообще двери не закрываются, все приходят посмотреть на Татьяну, словно год ее не видели, вместе порадоваться такому событию. А событие немалое, волнующее: Танюшка Окунева, Танечка, своя, деревенская, двадцатипятилетняя комсомолка, доярка простая, и вдруг избрана в депутаты, в высший законодательный орган, только что вернулась из Москвы с первой своей сессии. И смотрят на Таню уже по-другому, как-то пристальнее, серьезнее, и даже товарищ Колодезных называет ее Татьяной Александровной. Еще никто при своих людях ее так не величал, и Евдокия Егоровна, Танина мать, обводит всех заплаканными глазами и говорит счастливо:

— Она у меня самая удалая... В десять годочков уж корову доила. И все читает, бывало, все читает...

— Ну, мама! Неудобно даже...

— А чего неудобного-то? Знают, чай, как деток-то растить. Я вас четверых поднимала... В самые голодные годы... И все, слава богу, в люди вышли. От народа на старости лет благодарности слышу. От всего села...

Таня в семье самая младшая. Заканчивая восьмой класс, она уже знала, что останется в своей деревне, будет работать на ферме и учиться дальше. Она могла бы куда-то и уехать, кругом города близко, и должностей там полно разных, только заикнись. Но Таня никуда не поехала. Она даже представить себе не могла, что вот однажды проснется где-то в чужом месте — и не увидит из окна волжского разлива, пароходов вдали, гряды леса за околицей, не почувствует по утрам запаха укропа и свежих огурцов, укрывшихся за листьями на грядках, не погладит лохматого Шарика, который благодарно лизнет ее босую ногу...

Неистребимая крестьянская любовь к земле родной пришла к Тане, видимо, от родителей. Она училась во втором классе, когда отца не стало, но никогда ей не забыть, как он брал ее с собой в поле, возил на пролетке по деревням. Последние годы, уже больным, сдав колхоз, он работал председателем сельсовета и колесил по всей округе. Звали его все уважительно — Капитоныч. Настоящий боец, член партии с двадцатых годов, он был совестью деревни. И мать у Тани партийная. Она приняла первый трактор, в войну возглавляла девичью тракторную бригаду. Таня хотела быть, как мама, тоже на машину сесть, но так случилось, что Людмила ее на ферму переманила. Людмила — старшая сестра. Она сейчас в полеводстве работает, а была дояркой. А Нина, средняя, дома строит, она маляр и штукатур. Есть еще у Тани брат Саша, который как уехал служить в Сибирь, да так там после армии и остался, автобус водит или самосвал...

— Сибирячка нашего Сашку переманила, — смеется мать, складывая в шкатулку его письма. — Тут уж ничего не поделаешь. Это уж сильнее любой силы, коли все ладно...

А у Саши, по всему видать, все очень ладно. Недавно вторая дочка появилась, с радости в телеграмме даже имя забыл указать или еще не придумал...

— Сколько же теперь внучек-то у меня? — считает Евдокия Егоровна. — Нина, Наташа, Ира, Оля, Света, и вот еще новенькая, без имечка пока, бедная...

Света — это Танина дочка. Ей два с половиной годика. Евдокия Егоровна нянчится с ней. Когда молодые в ее доме в Малове жили, было хоть и тесновато, но удобно. А сейчас им новую квартиру дали, и Евдокии Егоровне приходится «на два дома» жить: пока Таня на ферме, она с внучкой сидит, а потом к себе в Малово торопится — какое-никакое, а хозяйство там. Но ничего, эти заботы в радость. И девочка растет крепенькая и Слава, муж Танин, человек хороший, механизатор. И отец у Славы механизатор, мастер на все руки, а мать бригадир в Костине...

Когда у Тани утренняя смена, встает она пораньше. Еще все спят, есть ничего не хочется, даже чаю. Иногда и Слава вместе с ней спешит на работу: трактористам круглый год дел хватает. Сейчас торф заготовляют, лес возят к пилораме. Но чаще Таня уходит утром одна. До фермы около километра. Иной раз за ночь дорогу так передует, такие накидает сугробы, что еле доберешься. А этой зимой каждый день морозы за сорок, аж дышать трудно. Откроешь дверь, и облако пара рвется наружу...

На ферме, кроме сторожа тети Дуси, еще никого нет. Таня всегда первой приходит. Сейчас время ответственное, отелы начались, и волнуется она, переживает, дотошно выспрашивает у тети Дуси, как тут ночью Радуга себя вела, Майка, Фигура...

— Ты уж, девка, больно радетельная у нас, — с похвалой отзывается сторожиха, которая не меньше доярок знает, как дается лишний литр молока. Ей нравится, что Танечка почти самая молодая на ферме, но обгоняет всех, давно уже трехтысячный рубеж по надоям перекрыла. Уж чего она только не делает со своими коровами: и чистит чаще других, и корма теплой водой запаривает старательно, следит, чтобы все было съедено, ни грамма на пол не просыпано. Пятьдесят коров у нее в группе, с виду они все вроде бы одинаковые, а «норовом» разные. Она их всех изучила, и, когда Альбина Дмитриевна, доярка тоже опытная, со стажем, приходит принимать смену, Таня ей про этот «норов» все детально выкладывает.

— На зоотехника тебе, Танечка, надо учиться,— говорит Альбина серьезно,—или на ветврача. Талант у тебя к скотине какой-то особый, прирожденный...

А Таня и так постоянно учится. Аттестат за десятилетку уже получила, можно и в институт, на заочное отделение, документы подавать. Она часто в своей школе с беседами выступает—такое у нее комсомольское поручение. Хочется, чтобы после восьми или десяти классов побольше молодежи в деревне оставалось. В Костромской области это движение широкий размах приняло. Новые животноводческие комплексы и новые машины молодых, грамотных рук требуют. В колхозе теперь специальности, как в городе: механизатор, токарь, электрик, слесарь, мастер машинного доения. Вот про все это Таня с интересом и рассказывает школьникам, водит их на фермы, в телятники, показывает новое оборудование, коров своих. Две ее ученицы, Оля Павлова и Аля Белова, после восьмилетки уже влились в ряды доярок нового комплекса. Таня помогает им и словом и делом. И вообще коллектив на ферме дружный, боевой, веселый: все за одного, один за всех. И Таня среди подруг самая авторитетная, все ее уважают. Чуть что, к ней бегут, особенно Оля с Алей:

— Таня, транспортер остановился! Сено плохое завезли!

Оборудование на комплексе, по словам механика Славки Мастерова, еще «не притерлось», частенько что-нибудь ломается, и девчонки вместе с Таней нападают на виновника:

— Эй, Мастеров! Фамилия-то у тебя вон какая, а руки-то видать, как крюки!..

— Ну вы, балерины завражские!--шумит механик.—Не очень у меня!

— Вот председателю-то скажем, так узнаешь! Или в «Крапиве» пропечатаем! Мы из-за тебя с минусом идем! По всему стаду минус, понял?

Только к девяти часам, закончив утреннюю дойку, Таня возвращается домой. Мать уже истопила печь, на газовой плите шумит чайник, и Света, умытая и одетая, сидит за столиком и пьет теплое молоко. Позавтракав, Таня снова убегает в коровник, потом занимается общественными делами, и только к вечеру вся семья собирается вместе. Таня любит эти свободные ча-

сы, когда горит экран телевизора, две бабки купают в корыте Светку, а Слава рассказывает о своих новостях...

А летом они вечерами, пока светло, уезжают иногда на мотоцикле в ближний лес за грибами или на залив плавать наперегонки. Таня обхватит Славика за талию, и мотоцикл несется по травянистой тропинке. Грибов здесь кругом много: «ельнички да березнички — груздевые места». И вода чистая, рыба водится разная. Сейчас у многих колхозников свои легковые машины или мотоциклы, и хоть за сто верст махнуть ничего не стоит. Жизнь в деревне заметно изменилась, и просто не верится, что еще в год Таниного рождения в Борисоглебском и Завражье не было ни света, ни газа, ни телевидения. Когда по праздникам в доме Евдокии Егоровны собираются все ее дочери с детьми и с мужьями, она вдруг в самый, кажется, неподходящий момент, когда все веселятся, опустит седую голову и тихо заплачет.

— Ты что, мама? — подскочит к ней Таня.

— Ничего, ничего, доченька, это я так... От радости это у меня, от воспоминаний... Вот гляжу я на вас и радуюсь, что все вы так модно одеты, еды на столе всякой много. Светло у меня от этого на душе. А вы спойте еще что-нибудь... Вот эту самую, отец ее любил... И петь любил и слушать. В степи под Херсоном... Матрос-партизан Железняк...

Евдокии Егоровне сейчас шестьдесят семь лет. На пенсию она недавно ушла, с бригадирской «мужичьей» должности, которую исправно несла двадцать три года. Она знала не только все машины, но и землю, животноводство. Она была грозой для пьяниц и лодырей. Да и теперь еще ее побаиваются: на партийных собраниях она, что называется, в карман за словом не лезет. На ферму к Тане частенько заходит, в бригаду к Людмиле, к Нине заглядывает: не безразлично ей, старой коммунистке, как ее дети работают...

Нам пора уже было уезжать из колхоза, Василий Тихонович частенько на часы стал поглядывать, но я упросил его еще раз побывать на комплексе, когда туда Таня Окунева придет.

— Ну что ж, комиссар, веди! — сказал Колодезных Александре Михайловне Егоровой, партийному

секретарю, которая нсполняла обязанности и председателя колхоза, уехавшего в отпуск. Руководящне кадры здесь подобраны из ннзов, «варягов» нет, н ннчего, дело идет вроде иеплохо. Вячеслав Павловнч Серов, председатель, не так давно рядовым колхозииком был, шофером, н без отрыва от производства на техника выучился, высшую партнйную школу окончил. А Егорову все зиалн как лучшего повара местиой чайиой, а когда она получнла днплом агронома да поработала немиого по новой специальиостн, умело показала себя, коммуннсты н избрали ее своим секретарем.

— Пироги-то печь ие разучилась? — шутит Колодезиых, уступая Егоровой дорогу.

— Да вроде иет. Заходите, мнгом всего настряпаю...

— Потом уж как-нибудь. Вот уж когда дела поправнте.

Колодезиых иедоволеи, что в борнсоглебской брнгаде иет до сих пор детского саднка, клуб неважио работает. Дома большие сдают, школы, комплексы, ннтериаты, а такого пустяка решить не могут.

— Вот хоть у Татьяны, у лучшей, понимаешь, дояркн, дочка дома сндит, — хмурнтся Колодезиых. — Не у всех ведь бабки есть, да н ие можем мы иа бабок в даниый момеит ориентироваться...

Александра Михайловиа ие возражает иа критику: виноваты правлеиие н партком, иичего не скажешь.

— К весие поправнм дело, — говорит оиа. — Уже есть иаметкн...

Мы осмотрелн все помещения комплекса и зашлн в коровиик. Дойка только началась. Заметнв нас, Таня заулыбалась, помахала рукой н сиова нсчезла. Оиа работала тремя аппаратами. Имеино работала как мастер, а не доила по-старому. Все у иее шло, как иа коивейере. Где-то вверху по трубам стекало в охладитель молоко. Я зашел с другой стороиы и снова увидел ее. Оиа что-то объясияла Оле Павловой, показывая на кормушки. Улыбчивое лнцо ее горело румянцем, волосы выбивались из-под платочка...

Мы вместе с Колодезных любовались Татьяиой.

— Прямо иа глазах выросла, — говорнл с радостью Василнй Тихонович. — Вчера была просто Танечка, в школу бегала, а сегодня государствеиный человек.

Егорова ее в партию готовит. Это правильно. Мы поддержим. Оиа, как депутат, хорошо себя зарекомеидовала с первых же дией. Избиратели идут к ней. Браконьеров поприжала. У иих ведь тут раздолье, заливы, Волга, Горьковское «море», вот и хулиганят. Татьяна в клубе выступила, фамилии иазвала, а потом к нам в райком бумагу направила. И мы иа бюро взгрели двух деятелей райониого масштаба. Во всех колхозах сейчас молодежи поприбавилось. И уходят из села, ио и остается немало...

— Зиачит, жизиь измеиилась, условия стали получше.

— Об этом и говоритв нечего. Но недостатков еще хватает. И в производстве и в быту. Район-то дальний. Кадыйская стороика...

Василий Тихонович нахмурился и завздыхал, голова его, забитая заботами, отрабатывала, видимо, какието вопросы. И только в машиие ои оживился, сиова стал рассказывать о делах в райоие, о дояре Соловьеве, о Павловском, о Татьяие Окуиевой и ее подругах, о кадыйских груздях, которые здесь так крепки, вкусны и привлекательиы, что и есть-то их жалко.

Ои был доволен сегодняшним днем. Глубоко знать район, все его радости и иедостатки, что может быть еще важиее для секретаря райкома...

Ночевал я в иовой гостииице. А утром меня разбудил бодрый женский голос:

— Говорит Кадый! Передаем лучшие номера художествеииой самодеятельности, получившие призы!..

И полились из репродуктора иежные балалаечиые звуки. Это пастух из Завражья исполнял вариации о природе собствеииого сочииеиия. Потом доярка и учительница из «Нового пути» спели популярную «Березу».

О чем поешь, моя береза,
Качаясь тихо, как во сне.
И почему, не знаю, слезы,
И почему, не знаю, слезы
Приходят светлые ко мне...

Очень хорошо оии пели, задушевно. У меня защипало в горле и тоже «почему, ие знаю, слезы» стали

навертываться на глаза. Может, это от песни, а может, от воспоминаний о кадыйской сторонке, от встреч с добрыми и работящими людьми. Приятно бывать в местах, где и люди растут и села молодеют...

Уезжал я из Кадыя по той же новой асфальтированной дороге, по которой и приехал. Где-то сзади оставался закрытый аэродром. Вернее то место, где он был, та уютная клеверная луговинка, застроенная теперь почти целиком. На развилке висит щит с надписью: «г. Кадый». Дорожниками было обозначено «п. Кадый» — поселок, значит. А какой-то местный патриот соскоблил половину «п» и получилось «г» — город, значит...

Водитель сказал мне, что уже третий месяц висит этот щит с буквой «г» и никто не снимает его. Людям так нравится. Они хотят, чтобы Кадый снова стал городом. И не таким городом, каким он был в старину, где, кроме названия, ничего городского не было, а настоящим современным и культурным городком, каких немало появилось в Российском Нечерноземье. И Кадый, пожалуй, будет городом, поскольку и название у него городское и люди здесь смотрят в будущее.

ЯРКИЙ ОГОНЕК В ОКНЕ

Вверх по Енисею, по широкой его протоке, острова часты, потому и название селу — Частоостровское. Дорога сюда вьется через увалы, береговыми кручами, мелколесьем. За поворотом, где неземными чудовищами сползают по откосу гигантские опоры высоковольтной линии, машина минует лощину, выскочит на бугор, и вот оно, старинное сибирское село — две с половиной сотни домов, клуб на площади, школа, небольшая больница, контора совхоза...

В феврале и в марте гуляют здесь вьюги, встают сыпучие, как песок, сугробы, передувает все пути-тропинки, тревожно и жалобно гудят провода. В такую погоду, посумерничав, люди рано ложатся спать, и замирает село, пугает чернотой окон, лаем собак, хлопаньем оторвавшихся ставен. Уныло, неуютно, мрачно...

Но все это в прошлом. Сейчас Частоостровское не подвластно скуке в любое ненастье. Длинные зимние

вечера наполнены веселым и умным содержанием. И сделали это сельские интеллигенты: учителя, медики, инженеры, библиотекарь Валентина Андреевна Горланова. Культурная жизнь в селе бьет ключом, и огоньки библиотеки горят особенно ярко.

Еще видна закатная заря над Енисеем, еще светло на улице, а в библиотеку уже идут люди. Первыми появляются свободные от совхозных дел старики, потом, сняв промасленные ватники, приходят механизаторы, забегают перед вечерней дойкой доярки. Библиотека занимает левую пристройку клуба, и это очень удобно, все под рукой, все в одном здании — и кино, и книги, и танцы «до упаду», художественная самодеятельность, духовой оркестр, детская комната. Молодые ребята, набегавшись по морозу, перед сеансом обязательно заходят в библиотеку, и уже на крыльце обрывается их громкий смех, топанье ног. Так уж приучила всех Валентина Андреевна: библиотека — это храм разума, и тишина здесь — закон.

— Проходите, проходите, — приглашает она парней. — Места еще есть. Ты, Володя, сюда садись, а ты, Славик, к окну, вот тебе «Огонек» свежий...

Выбрав книги, ребята пристраиваются к длинному столу, тихо перелистывают газеты и журналы, рассматривают наклеенные в альбом вырезки и снимки. В библиотеке, как в лучшем справочном бюро, все можно узнать: как слетала наша станция на Луну, последние новости о КамАЗе, сколько молока надоила за февраль знаменитая Елена Васильевна Черных, как сыграли московские хоккеисты, сколько удобрений вывез совхоз. Уютно здесь, удобно, от печки пышет теплом, горят под потолком яркие лампы. И тысячи книг загадочно смотрят корешками с высоких полок и стеллажей. И каждая книга — это новая жизнь, подвиги, любовь и страдания, глубокая лирика, юмор, раздумья о бытие, взгляд в будущее. Надо точно знать, кому что полезнее. Доярка Аня Каплина растрогалась от чеховской «Степи», трактористу Соснину подавай военное, про партизан, воспоминания маршалов, а дед Игнатьич из Худоногова читает только «Крокодил», причем обязательно вслух, с комментариями, с переносом критики на своих сельских разгильдяев и пьяниц. Пятьсот читателей у Валентины Андреевны, и вкусы каждого она

знает отлично. Она формирует эти вкусы, исправляет, через книгу учит людей мыслить, сеет в их души прекрасное. Приветливая, скромно и аккуратно одетая, сидит она на своем «пульте» и, заполняя формуляры, перебирая почту, все решительно видит.

— Алексей Иванович,— говорит она комбайнеру Требушу.— Ты не там ищешь свое любимое. Книгу об Африке я тебе отложила, вот она. Но не дам, пока вот эту не прочитаешь. Так будет лучше...

Добродушный Требуш довольно улыбается. Он знает: Валентина Андреевна пустого не посоветует.

Сегодня за вечер побывало тридцать два человека. Пятьдесят четыре книги унесли они домой. «Это неплохо,— думает Валентина Андреевна, запирая дверь,— совсем неплохо...»

В клубе уже началась танцы. Было слышно, как за стенкой заливалась радиола и знакомый голос признавался, что любил он Россию всею кровью, хребтом, ее реки в разливе и когда подо льдом...

Пусть она позабудет
Про меня без труда,
Только пусть она будет
Навсегда, навсегда...

Валентина Андреевна отошла уже далеко от клуба, а песня все шумела у нее в ушах, создавая какое-то раздумчивое, торжественно-грустное настроение.

* * *

В Частоостровское Горланова приехала двадцать два года назад. Деревянный самодельный чемоданчик, в нем два платья, туфли, кофточка в горошек, диплом об окончании библиотечного техникума — вот, кажется, и все, что у нее было. Повертев в руках направление, председатель сельсовета, скучный, плохо выбритый человек, сказал равнодушно:

— Убежишь, поди.

— Это почему же?—удивилась Валентина.

— Зарплата-то знаешь какая? Ну так вот. Да и условия у нас — не приведи и избавь. Не до книжек, в общем. Прорех много, недостатков то есть. Опять же и в культуре этой...

Насчет прорех и недостатков председатель еще сказал мягко. Их было куда больше, чем предполагала Валентина. Оказалось, что библиотеки, хотя бы самой простенькой, о каких говорили в техникуме, нет и в помине: обыкновенная старая изба, со щелястым полом, с худыми окнами, отсыревшие, пахнущие мышами книги...

Валентина достала топор, наколола дров, зажгла фонарь (у лампы не было стекла) и принялась мыть пол. В субботу и воскресенье занималась она уборкой, перебрала книги и стала ждать посетителей. Четыре дня просидела — ни души. А на пятый день расплакалась, убежала к квартирной хозяйке, уткнулась в подушку.

— Ты что, дочка? — склонилась над ней хозяйка. — Люди не идут? А ты сама к ним, сама. Книгу у нас любят, да привычки к библиотеке нет...

И, нагрузив бельевую корзину книгами, пошла Валентина по селу. В один дом зайдет, во второй. Встречали везде хорошо. И книги брали. Но не было той жадности к литературе, того интереса, о котором мечтала Валентина в техникуме. Тогда она стала читать вслух. Начала с «Тихого Дона». И побежала по селу молва, каждый вечер собирались в каком-нибудь доме люди, рассаживались на скамейках, шикали на шаливших ребятишек, заталкивали их на печь, переживали за Гришку Мелехова, за Аксинью. Не расходились до полуночи, все просили Валентину продолжать, а потом незаметно, когда она убирала книгу, начинали разговор о своей деревенской жизни, о работе, о детях...

Читала Валентина и в библиотеке, и на ферме, у тракторов и комбайнов, на сенокосе у Енисейской поймы. С многими книгами люди были уже знакомы, но все равно просили читать вслух, говорили, что на миру интереснее, это вроде бы как посиделки или сходка какая, собрание.

Охотилась Горланова за новинками, ездила в Емельяново, в райцентр, в Красноярск и, когда доставала нужную книгу, была счастлива, торопилась домой, к своим.

Однажды на копке картошки читала она «Звезду» Казакевича, и некоторые женщины прослезились, мужики стали вспоминать войну, и вылилось все это в полезную, интересную беседу о красоте человеческой ду-

ши, о щедрости. И был среди слушателей секретарь райкома партии. Горланова не заметила его, а он все видел и слышал, подозвал ее потом, сказал:

— Спасибо, Валентина Андреевна! Ценнейшую работу вы ведете. Большая у вас должность!

К этому времени библиотека уже выросла в три раза, книга была в каждом доме. В Кобякове и Худоногове организовала Горланова передвижки, взяла на учет всех стариков, инвалидов войны, которым было трудно ходить. И к таким старикам, как Михаил Захарович Носков, зачастили книгоноши-пионеры, понесли им то, что они заказывали у Валентины Андреевны.

Выступала Горланова по местному радио, читала главы о Ленине, рекламировала поступившую литературу. Она сама не заметила, как из библиотекаря превратилась в активного агитатора, в пропагандиста. Выпускала листки-молнии о передовиках, сатирический «Сибирский сквознячок». Возьмет лист ватмана, нарисует карикатуру на того, чью фамилию назовет совхозный партком, сочинит частушку или колкую подпись и везет «сквознячок» в поле. Продувают «сквознячки» сильно, похлестче строгача в приказе, и бывает иногда, что «герои» подолгу с Горлановой не здороваются. Ну да что делать, человека с одного маху не перевоспитаешь, надо верный «ключик» подбирать. Не обижалась на таких Валентина Андреевна, заговаривала первой, и все постепенно вставало на свои места. Приходил человек в библиотеку, извинялся, и Горланова радовалась: еще одна победа, еще одна душа просветлела, шире открылась добру и солнцу...

* * *

В середине недели отпросилась Валентина Андреевна в Красноярск. Надо было договориться с местными писателями о выступлении в селе, проконсультироваться насчет создания домашних библиотек, поискать коечто о природе Сахалина — просил ее об этом Александр Сергеевич Сосин. Во многих семьях теперь свои библиотеки, на полках и этажерках подписные издания, классика, книги советских и зарубежных писателей. И вместо грудастых лебедей и русалок, вместо этой грубой халтуры, купленной когда-то на базаре, появи-

лись в домах хорошие картины, наборы пластинок с содержательной музыкой. И ко всему этому приложила свою руку Валентина Андреевна. В селе нет книжного магазина, и она организовала торговлю книгами прямо в библиотеке. А картины и пластинки — это результат, конечно, общей культуры и ее частых бесед об искусстве, о прекрасном. Недавно и совхоз на литературу пятьсот рублей выделил. Владислав Николаевич Воротников, секретарь парткома, сказал Горлановой:

— На книги не жалко. Библиотека у нас заменяет целую агитколонну...

В городе Валентина Андреевна управилась быстро. Договорилась в писательской организации, кто будет выступать в Частоостровском. Подобрала кое-какие книги. Нашла и о Сахалине. А о молодежи и на военные темы новинок не было. Плохо еще снабжают сельские библиотеки, плохо...

На обратном пути машина застряла, и Горланова пошла пешком.

— Мне не привыкать, — сказала она шоферу.

Мела поземка. Она шла и думала о жизни. Двадцать два года уже пролетело. Двадцать два года в одной библиотеке. Двух сыновей вырастила. Один музыкантом будет, второй пока в школе. Работала много, а богатств не нажила никаких. Вот дом бы надо, этот уже плох, но на зарплату сельского библиотекаря не разбежишься. Но ничего, как-нибудь. Богатств не нажила, а своих раздала много. Богатств душевных, богатств сердца и разума.

ПОШЕХОНСКИЕ СЫРЫ

Тонко нарезанные ломтики сыра были разложены по тарелкам и манили матовой желтизной, свежими росинками влаги, еле заметной, чистейшей, особенно по краям и вокруг аккуратных круглых «глазков». Вызывал аппетит и нежный, но острый аромат, этот неповторимый «сырный дух», который и сытого ночью разбудит...

— Вот это да! Вот это сырок! В магазины бы такого побольше!

Первым на мое восклицание отзывается Богачев,

директор Пошехонского сырозавода, в кабинете которого мы и пробуем этот деликатес. Его поддерживают главный инженер Козинов, кто-то из контролеров, бухгалтер. Все они, перебивая друг друга и показывая на Галину Алексеевну Каменскую, старшего мастера, которая эти замечательные сыры и делает здесь, стали доказывать, что и в магазинах их продукция такая же, что сыров высшим сортом с завода уходит почти девяносто процентов, а со Знаком качества — тридцать пять.

— У нас, у пошехонцев, как у богов древних, брака не бывает, — сказал Козинов, шутливо подмигивая, и все засмеялись, стали весело рассказывать разные побасенки про пошехонцев: как они корову тащили на крышу, где трава выросла, толокно в речке разводили, кочергой расписывались. Только Галина Алексеевна держала себя чуть потише других. Длинным широким ножом она ловко строгала сыры то российские, то пошехонские и предлагала определить «вкусовой диапазон». В белом халате и в белой высокой шапочке она походила на доктора. От всей ее тонкой, гибкой фигуры, от выразительного, живого лица, от милой домашней улыбки так и веяло благородством, врожденной естественной простотой. Немножко не верилось, что она и Герой Социалистического Труда и лауреат Государственной премии, один из лучших сыроделов страны. Обычно такие известные люди с годами смелеют, свободно держатся и на трибунах и на совещаниях, в любых, в общем, сферах, а Галина Алексеевна как бы выпадала из этого представления, говорила скромно, даже стеснительно и, что самое главное, не хвалилась, ничего не преувеличивала, и слушать ее было одно удовольствие.

— Завод у нас хороший, новый, — стала она пояснять, когда мы спустились вниз и пошли по цехам. — Оборудование в основном венгерское и немецкое, работает исправно. Жаловаться не на что, все от нас самих зависит. Руки приложишь да порядок наведешь, тогда и качество будет...

В приемном цехе, откуда мы начали осмотр, как раз готовилась основная операция: закачка левого танка. Танк — это, если сказать попроще, огромный бак, куда входит десять тонн молока. Таких баков четыре. Есть здесь и другие емкости. Ведь завод ежедневно

прииимает до ста десяти тони молока, которое не только на сыры идет, ио и на масло, иа сметаиу. И ежедиевио из его ворот увозят до семи тони готовых сыров: нарезай и ешь, наслаждайся «вкусовой гаммой». И все сыры, каждая его партия, проходят через руки Галииы Алексеевны и ее помощииц. Полтора месяца созревает пошехонский сыр и больше двух месяцев российский, и все эти дни Галина Алексеевиа иачеку, следит за всем неотступно, а в ответственные моменты, иесмотря иа опыт, просто волнуется: ведь прогляди что-то хоть иемиого—и букет будет уж ие тот. А операций сколько, и все оии сложные, тонкие, подчас невидимые глазу: и брожение, и постановка зериа, посолка, само созревание, когда каждый градус температуры и каждый процент влажиости на особом контроле. Сыроварение—это такая «хитрая штука», что основное-то в ием, та решающая «изюминка», без чего сыр просто ие может быть сыром, зависит не столько от рецептов и технологии, как от самого мастера, от его ума и сердца. Это все равно, что две хозяйки пекут, скажем, пирог с капустой по книге и обе соблюдают все предписаиия. Но вот одна вынимает пирог, который так и дышит пышностью, а у второй получилось что-то бледное, худосочное,—есть его ие хочется...

— Галииа Алексеевна, а сыриому делу вы где научились?

— Ото всех поиемножку. И от мамы тоже.

— А она что у вас...

— Нет, она сыры не варила. Она просто прилежная у иас, работящая, все умеет.

* * *

Ей сейчас девяносто шесть лет, матери Галины Алексеевиы. Девяиосто седьмой пошел с февраля. Зовут ее Ольга Васильевна. Одиииадцать детей она вырастила. И все они, сыновья ее и дочери, и те, кто жив, и те, кого уже иет, были и есть люди хорошие, всегда на виду, а Галина вот, самая младшая, и Герой и лауреат, партийная. Когда Ольга Васильевиа услышала, что ее дочь получает такую высокую награду, то сиачала перепугалась, старым своим крестьяиским умом не могла сразу всего поиять и все приговаривала:

— Батюшки, да что же теперь будет-то?

Своей семьи Галине Алексеевне завести не удалось. Все ее женихи не вернулись с войны. Одного из них она ждала долго, надеялась на чудо и на счастье, но все сроки прошли, а он так и не появился. Потом учеба захлестнула, получила Галина Алексеевна в Угличе диплом мастера-сыродела, мать забрала из деревни, и стали они с ней кочевать с завода на завод, по всему Пошехонью. В Климове лет пять прожили, в Гаютине столько же и вот уже около двадцати годов живут здесь, в районном центре, рядом с заводом. Квартира у них казенная, в каменном доме, и если бы не участочек земли поблизости, где Ольга Васильевна отводит свою деревенскую душу, копаясь на грядках и в картофельных бороздах, то было бы ей трудно привыкнуть к кирпичным стенам и этажам...

Пошехонье-Володарск хоть и не ахти какой крупный, но все-таки это не село и не поселок, а именно город, двести лет уже городом считается. И дело тут не в размере. Пошехонье для России, что Габрово для Болгарии: там и тут любят посмеяться, не щадя ни себя, ни соседей. Пошехонцы очень обижаются, когда их городок у кого-то не вызывает восторгов. Но такое бывает редко, потому что он и впрямь необыкновенно красив: три реки тут рядом — Сога, Согожа и Пертомка, Рыбинское море, и вода везде чистая, рыбная, уток — хоть руками лови, леса высокие, хвойные. Крупной промышленности тут не видать, но здешний «мэр» так умеет подать приезжему человеку свой город, что картина получается иная: все делают якобы в Пошехонье, кроме золотобойных вещей, еще около двадцати наименований. Он не скажет просто там — лесоматериал, а перечислит и брус, и шпалы, швырок и горбыль, тес, штакетник для заборов. И получается внушительно. А вообще-то в Пошехонье ловят рыбу, катают валенки, делают полутораспальные кровати, ну и, конечно, сыры. Сыры — это главное. Сыры — гордость и слава городка, а Галина Алексеевна Каменская самый уважаемый его житель...

Каждый день, рано утром, люди видят ее шагающей по улице. Она идет быстро, чуть вскинув голову, здороваясь на ходу со всеми встречными. На повороте ее

частенько останавливает Алексей Петрович Мишутин и кричит от палисадника:

— Бежишь, мастер? Ни свет ни заря, а ты уже бежишь?

— Сейчас колхозы молоко рано привозят, посмотреть надо.

— Конечно, дело летнее, надои растут.

Мишутин тоскует. Сорок лет он проработал на здешнем сырозаводе, двадцать пять из них был директором, а сейчас на пенсии, только что проводили. От него в основном и научилась Галина Алексеевна мастерству сыроварения. От своей матери—любви к труду, дисциплине, святости к делу, которое ты выбрала, а от Мишутина именно мастерству. Замечательный он человек. Вот не сидится ему дома, не отдыхается...

— Алексей Петрович, на завод пойдете?

— Да надо бы. Тут, понимаешь, Богачеву надо кое-что передать, соображеньице одно...

И они идут вместе. У ворот уже выстроились цистерны с молоком. Половина из них забрызгана грязью. Погода сухая, а тут грязь. Это из тех колхозов машины, где к фермам трудно пробраться. Тракторами на тросах цистерны вытаскивают, по пять часов трясутся они по страшным колдобинам до завода и привозят иной раз не молоко, а простоквашу. Из такой продукции не то что сыры делать, ее принимать даже нельзя. Но председатели, «узнав о заминке», звонят в райком, а оттуда угрожающе давят на завод:

— Принимайте! Перерабатывайте!

Ох уж эти окрики и давление, пускают их еще в ход, когда лень рукава засучить да умом пораскинуть, разгильдяев приструнить. Галина Алексеевна на очередном же заседании бюро райкома, членом которого она является, спокойно докладывает обстановку. Но от ее спокойного голоса неспокойно чувствуют себя ответственные товарищи, ерзают на стульях. Перед заседанием она лично все посмотрела, побывала в колхозах, с доярками беседовала. Пошехонье—район молочный, но далеко еще не все фермы имеют холодильные установки, грязи немало в стойлах, очистка молока слабая, дороги плохие. Пора все это поправлять, хватит жить по старинке, «по-пошехонски». Из окисленного, взболтанного молока хорошего сыра не сделаешь.

В иынешиее лето заводу почти не приходилось ругаться с колхозами. Райком партии взял иа контроль поставку молока, кое-кому крепко влетело. Только «Новая жизнь» да «Красная звезда» нет-нет да и привезут еще продукцию «иа пределе». Вон эти бурые цистерны иаверняка оттуда...

Галииа Алексеевиа иадевает халат и иачииает обход всего производства. Она старший мастер и отвечает за все процессы. Татьяна Лапшина, Нина Коиюхова и Валя Механошина, помощницы ее, которых она обучила, сообщают об утренней смене: все нормальио, температуриый режим в иорме, влажность тоже, молоко сегодня поступило хорошее от всех хозяйств...

В цехах стоит специфический запах. Галина Алексеевна любит его, по привычке принюхивается сосредоточеииее: появится что-то постороннее, «чужое», сразу уловит. Все помещеиия выглядят пустыииыми, люди стоят там, где положено, без иадобности ие бродят. А раньше, помнится, не так было, толклись рабочие где иадо и не надо. Галина Алексеевиа постепенно иавела порядок. Оиа бывает в других городах, на больших сырозаводах и все цеииое переиимает, вводит у себя. Не так давио в Данию ездила, иасмотрелась там иа производство сыров и, вериувшись, провела со своими беседы: чище у них, внешнее оформление товара очеиь красивое, молоко только высшего качества берут, нет текучести кадров, за рабочее место человек цепко держится...

— Сыры у иас вообще-то ие хуже, мы им давали попробовать,—рассказывала Галииа Алексеевиа.— А вот культуры, лоска положеииого, изящества иам еще не хватает. Будем меиять кое-что, если постараемся, так все сумеем сделать, сложного ничего нет...

Коиечно, все можно сделать: и культуру производства поднять и предельиой чистоты добиться, лучшего качества. Народ на заводе сейчас подобрался толковый. Людей надо беречь, заботиться о иих, учить. И дело пойдет. Пошехонские сыроделы и так уже на хорошем счету, ио можно добиться и отличных показателей, резервов сколько угодно. Взять хотя бы те же иовейшие методы ухода за сырами в процессе созревания, которые ввела на своем участке Галииа Алексеевна и за что она получила Государственную премию. За

каких-то два с половиной года она сэкономила полторы тысячи тонн молока, из которого дополнительно сделано двести тонн сыра. Да какого сыра-то, самых наивысших сортов, наивкуснейшего. Этот метод можно расширять, давать ему ход...

— Галина Алексеевна, гляньте на сгусток в ванной, закваски внесены правильно, тридцать пять минут прошло, а сгусток не тот.

Это пришли за старшим мастером из цеха сырных ванн. Молодые аппаратчицы еще не во всех тонкостях разбираются, у молока тоже бывают «капризы», оно при брожении внешне не всегда выглядит одинаково. Галина Алексеевна разъясняет, как надо в данном случае поступать, на что обратить внимание...

Зашла она потом в отделение, где смывают с сыров плесень, где их парафинируют, поговорила с работницами. Галина Алексеевна терпеть не может обезлички, старается каждого человека узнать поглубже, расположить его, привить любовь к делу. Сыры делаются в основном женскими руками, а женщины народ не простой, легкоранимый, ревности у них друг к другу хоть отбавляй. Перехвали или недохвали одну, немедленно «микроклимат» в цехе возникнет и кто-то обидится, замкнется. Галина Алексеевна все это знает и ладить с людьми, воспитывать их умеет. Женщины к ней тянутся, как к родной, за советами разными бегут и слезы и радость не стесняются показывать. Видимо, сердце ее доброе чувствуют, справедливость, любовь к заводу, к коллективу, к тонкой и сложной сыродельной работе...

Время приближалось к перерыву. На заводе есть неплохая столовая, но сегодня Галина Алексеевна решила пообедать дома: сестра в гости приехала, мать чего-то там вкусненького настряпать собиралась, велела пораньше приходить. Да к тому же депутатский прием у нее с пяти часов, надо бумаги забрать, жалобу, которую она разбирала...

На улице было солнечно. Но грело оно уже слабо и как-то устало: что ж, осень наступает, золотая пора. Вон и небо уже дышит прохладной просинью, за Согожей, над еловыми борами, стаями кружатся птицы. «За грибами бы сходить надо, — подумала Галина Алек-

сеевиа,—маму угостить, сама оиа уже ие может... А так любила, бывало, грибы собирать»...

* * *

На Пошехоиский сырозавод пришла из министерства бумага: старшего мастера товарища Камеискую Галииу Алексеевиу просят выступить в Москве, иа специальиой выставке, а посему следует заготовить ей речь...

— Насчет речи-то это оии зря,—было единодушио высказаио в завкоме и в дирекции.—Оиа у иас без бумажки опытом делится, школу ведет, со всей страны сыроделы ее слушать приезжают. О сырах оиа ие собьется ии в Жеиеве, чай, и ии в Нью-Йорке, ии в ООН... Придумают тоже—речь заготовить...

По такому поводу приезжал из Ярославля Алексаидр Федорович Трофимов, геиеральиый директор областиого объедииеиия молочиой промышлеииости, беседовал с Галииой Алексеевиой. Ои за иее, коиечио, ие беспокоился. Просто ему, кореииому пошехоицу, приятио, что здешиие мастера и сыры их в большую славу входят.

— Желаю удачи, Галииа Алексеевиа,—сказал Трофимов, пожимая ее тоикую руку.—Если областиые даииые потребуются, вот оии, отпечатаиы...

Галина Алексеевиа улыбиулась и пошла в цеха. До отъезда еще было четыре часа, собраться она успеет, а вот производство обойти иадо. Чтобы сердце меиьше болело в дни отлучки. Чтобы в деле, которое оставляешь, увереииой быть.

ДИНА И ВАЛЕНТИНА

Мие хотелось съездить в такое село, где бы измеиеиия за последиие годы были особеино иаглядиы и ощутимы. В Смолеиске, в обкоме партии, мы сидели часа два и иикак ие могли прийти к едииому миеиию: в каждом райоие появились такие крепкие хозяйства, что ие зиаешь, иа каком и остаиовиться...

Выбрали иакоиец село Прудки, колхоз имеии Урицкого в Сафоиовском районе. Есть хозяйства, где с пер-

вого шага, как только ступишь на его землю, чувствуются во всем порядок и дисциплина. Ты еще не был в конторе, ни с кем, собственно, не беседовал, а в тебе уже зреет убежденность, что попал ты к хозяевам умным и работящим. Такое чувство испытали мы и в Прудках. Подойдя к Дому культуры, где на втором этаже располагается правление, мы тут же узнали, сколько на вчерашний день засеяно зерновых в целом по колхозу и по каждой бригаде в отдельности, кто с кем соревнуется и кто идет впереди. Фамилии ударников сами врезались в память, потому что были написаны ярко, с именем и отчеством, с цифрой — в общем, уважительно...

Разговор о севе вели и руководители колхоза. Их, к счастью, оказалось сразу трое в кабинете: Валентина Дмитриевна Комарова — председатель, Дина Васильевна Васильева — секретарь парткома и Анна Борисовна Сергеева — ведущий бригадир, Герой Социалистического Труда. Кабинет у председателя просторный, еле уловимо попахивает в нем духами, в левом углу аккуратный снопик льна, а в правом — знамена, сразу четыре: областное, два районных и знамя Совета Министров РСФСР. Пробивает сквозь белые шторы весеннее солнышко, по книжному шкафу, по стенкам сейфа зелеными змейками свисают цветы.

Комаровой и Васильевой нет и сорока, они, кажется, одногодки и роста одинакового, только Валентина Дмитриевна по-цыгански смуглая, черноволосая, быстрая, а Дина Васильевна типичная «льняная» смолянка, сероглазая... За окном страда, сев, а они что-то уж очень спокойны и одеты, за исключением бригадира, «не по форме»: где кирзачи, плащи задубелые, засохшие комья грязи? Я говорю им об этом, вспоминая прошлые времена, а Валентина Дмитриевна смеется.

— Прошлые времена мы уже позабыть успели. У нас все по плану идет, по графику. Сейчас горох с овсом сеем на просохших участках, с самолета озимые азотом подкармливаем. Кому надо, тот в поле. У каждого свое дело...

Валентина Дмитриевна дает распоряжение Сергеевой, чтобы через два часа трактор от леса к Васюкову перегоняла, на старое клеверище, звонит на ферму, потом инженеру колхоза Гридину, и мы вместе с пред-

седателем выходим на улицу. Ей надо побывать в мастерских, осмотреть льияиые сеялки. Тихо шагаем через все село. Лет семь иазад здесь было всего иесколько развалившихся хибар, а сейчас целый поселок вырос, и дома в ием крупные, новые, с городской планировкой.

— Улица имеии Комарова, — читаю я вслух иазваиие, и Валентииа Дмитриевиа как бы вздрагивает при этих звуках, опускает плечи и вздыхает, смотрит отсутствующим взглядом куда-то вдаль...

* * *

Василий Михайлович Комаров, муж Валентииы Дмитриевиы, был в Прудках председателем колхоза. Ои умер прямо на работе, как солдат в бою. Все силы отдал земле и умер. Самую широкую улицу в селе назвали его имеием. А когда стали выбирать иового председателя, колхозники дружно закричали:

— Валентину Дмитриевну! Жену председателя! Главного агронома иашего!

— Валю пиши, Валю! Мы ее знаем. Они с Василь Михалычем в одной упряжке шли!

В Прудки Комаровы приехали из соседнего Холм-Жирковского района. Там, в деревне Борялово, их родииа, там они работали: Валентина — агрономом, а Василий Михайлович — освобожденным парторгом. Сюда их «бросили» на укреплеиие как людей подготовлеиных и партийиых. Было это ранней весиой шестьдесят третьего года. Почти все их имущество убралось тогда в задней кабиие «газика», а ребятишек, Наташку с Серегой, Валентииа посадила себе иа колени.

Колхоз в Прудках был так расшатан, что про иего ходили аиекдоты. И пяти центиеров с гектара хлеба ие собирали. С чего иачииать? За что в первую очередь браться? Василий Михайлович работал очеиь миого и многое успел измеиить, ио когда Валентина Дмитриевна приияла после него колхоз, даже растерялась вначале: заботы председательские были куда изиурительнее забот главиого агроиома, им просто ие было граииц. И утром, и вечером, и иочью кто-то требовал, искал, добивался председателя: совещание в районе, сломался трактор, пастух запил, свадьба в Каблукове, свииоматка в колодец упала... А дома двое детей, мать

старая, уроков проверить не сумеет, только разве еду кое-какую приготовит. Но время шло, накапливался опыт, закончила заочно Валентина Дмитриевна Сельскохозяйственную академию. И кадры среднего звена постепенно выросли, окрепли, а когда секретарем парткома избрали Дину Васильеву, ее знакомую еще по юным годам, по сельхозтехникуму, Валентина Дмитриевна совсем вздохнула: Дина прирожденный вожак, она кого хочешь расшевелит, надежная опора в любом деле...

Очень быстро они сработались, председатель и парторг, били в одну точку, помогали друг другу и в руководстве, и в делах житейских. Их часто видели вместе и звали между собой любовно: Валентина и Дина, Дина и Валентина...

— Валентина с Диной на ферму пошли,—скажет какая-нибудь бабка, заглядывая в окно.

— Дина с Валентиной Пантюхова с Шалаевым за пьянку с машины сняли. Молодцы наши начальницы, пьяниц почти под корень вывели...

Дина Васильевна стала членом бюро горкома партии, выезжала в Сафоново и Смоленск и, если видела что-то новое, пригодное для Прудков, предлагала председателю:

— Вот ребята в армию уходят... Ушел, и мы его будто насовсем отчислили. А что если, как в других селах, двадцать процентов месячного заработка платить ему, пока он служит. Он будет о своей прежней работе думать, а вернется, вот ему и помощь на обзаведение...

— Надо все пересчитать,—заинтересованно говорит Валентина Дмитриевна.—Я сейчас сама прикину. Подвинь-ка мне счеты...

Но чаще всего новое предлагала сама Комарова. Она за этим специально следила, много читала, не отказывалась от поездок и даже в Болгарии, куда она приехала отдыхать, интересовалась землей, сортами пшеницы, овощами, пастбищами. Жизнь заставила ее изучить и машины и животноводство, да и сама она была любопытна, жадна до любого дела. Красивыми словами авторитета в деревне не завоюешь, лучше все уметь делать самой. В этом отношении они с Диной Васильевной были одинаковы: где только можно, лично пример показывали...

Все чаще и чаще Прудки стали упоминать с хорошей стороны. Приятно было ездить в Сафоново на совещания. Валентина с Диной надевают для такого случая платья помоднее, выстаивают очередь в районной парикмахерской и в зале, перездоровавшись со знакомыми, садятся поближе к сцене, чтобы потом, если будет концерт, все лучше видеть. Они стесняются, когда докладчик называет их фамилии и зал взрывается аплодисментами. А чего стесняться? Это они, Валентина Комарова и Дина Васильева, сумели в единый кулак сплотить народ, построить село, дороги между бригадами, довести урожай зерна до двадцати двух с лишним центнеров с гектара, а льна почти по шесть центнеров, до сорока процентов поднять рентабельность, окультурить луга, построить мастерские, механизированный ток, коровники, столовую, нефтебазу, детский сад, пилораму... Да только ли в этом дело? Прудки вообще не узнать. Отсюда уже никто не уходит в город, здесь много молодежи, играют сразу по четыре свадьбы, в домах газ, дорогие телевизоры, около двадцати личных легковых машин в бригадах и на сто «Жигулей» имеются заявки...

Слушает все это Валентина Дмитриевна, и теплые слезы застилают ее глаза. Она как бы со стороны себя видит. И хочется встать ей, крикнуть в зал во весь голос: «Товарищи, люди у нас в Прудках хорошие! Вот в чем дело, товарищи!»

* * *

Тихо звякнул в изголовье будильник. Но Валентина Дмитриевна и так уже не спала. Сегодня по графику объезжать до планерки все участки надо бы Дине Васильевне, но Комарова вечером позвонила «комиссару», сказала:

— Слушай, Дина, ты корми завтраком своего мужа, не выходи, я сама осмотрю все. У нас же партийное собрание, так что готовься.

Шел шестой час. В соседней комнате проснулась Наташка, подскочила к двери:

— Мама, и я с тобой! На самолете хочется прокатиться...

— Вот еще игрушки какие. Самолет удобрение распыляет, а она кататься. Ложись сейчас же! Сегодня всей школой будете деревья сажать...

Валентина Дмнтриевна частенько брала детей с собой в поле, н они привыкли, даже ночевали иногда с ней вместе под комбайнамн на соломе, в шалашах у реки, в копнах свежего сена. Места в Прудках нзумительные: внизу, под пологой горой, залнвные луга, чистый Днепр, сосняки по песчаным увалам, где после теплых дождей появляются бесчисленные выводки свежих скользких маслят. А в глубоких омутах водятся сомы, спят под корягами налимы, греются на отмелях крупные щуки. Летом дом Комаровых не бывает пустым. У Валентины Дмитриевны три брата н две сестры, у всех у них детей по двое да по трое, н вот как соберутся все вместе, то с утра до ночи гомон стоит, смех, бабка Елена Фоминнчна, Валентинина мать, обеды готовит в ведерных чугунах, все чуланы и чердаки бывают заняты...

«Вот и опять скоро лето»,— весело подумала Валентина Дмитриевна, выходя на улицу. Было свежо и солнечно, скворцы за изгородью так щелкали, что не хотелось забнраться в нахолодавший за ночь «газик». Валентина Дмитриевна протерла ветровое стекло, села за руль н медленно поехала по дороге...

Земля уже пообсохла и на высоких местах кое-где схватывалась пылью. Сев шел вовсю. Два трактора у Звягина закрывали влагу, под Арефином механизатор Семен Бородин проводил культивацию. Низко над дорогой пролетела «Аннушка», и в круглом окошечке иллюминатора Валентнна Дмитрневна узнала молодое лицо агронома Зои Семеновой. «Ну вот н эта захотела покататься»,— подумала Комарова, подруливая к полевому стану. Тут были возчики, шоферы, поварихи н бригадир Анна Борисовна Сергеева.

— Ленок скоро пойдет, ленок! — сказала Сергеева, разминая в руках почву.— Я уж жду не дождусь...

Обратно Валентина Дмитрневна поехала через выгоны. Ей надо было побывать у того места, где строилась новая посадочная площадка для самолетов н склад удобренний на две тысячн тонн. В колхозе всюду что-то стронлось: школа, котельная, интернат, кладовые, фермы, жилые дома. И будет еще строиться. Деньги есть,

плаи утвержден. Появятся торговый центр, баия, прачечиая, стадиои... И вместо миогочисленных мелких деревенек остаиется только три, а потом вообще один центр — Прудки. Когда Валеитииа Дмитриевна приехала сюда, в колхозе было двадцать две деревии. А сейчас половина осталась. Только яблоии да вишии среди поля и напоминают, что тут были деревни. Смотришь, и грустио немиожко. Но это хорошая грусть...

В село Валентина Дмитриевиа вернулась часа через три. Возле Дома культуры толпился иарод. Оиа совсем позабыла, что сегодня провожали фроитовиков Заломаева, Коржикова, Макареикова и Михайлова в Волгоград и Одессу. Колхоз купил им путевки, и вот старые солдаты поедут по местам боев. Что-то людей собралось много, словно мужиков не на прогулку, а на фронт, как и в сорок первом году, провожают. Старухи с узелками, вдовы, мальчишки. И Дина Васильевна тут, какую-то речь держит, ободряюще хлопает по плечу Михаила Христофоровича Заломаева, прудковского пастуха.

— Валентиia Дмитриевиа! Голубушка!!! — увидя председателя, закричал Михайлов. Размахивая пустым рукавом нового плаща, ои пытался пробраться к ней сквозь детский заслон.

— Ты, Аидрей Иванович, что-то уж очеиь веселый сегодня, — смеется Комарова.

— Так, Валеитина Дмитриевиа, хозяин ты наш дорогой! Ведь это самое... Куда едем-то? Филипп, скажи! Ведь в молодость, поиимаешь, едем... За всех погибших..

Фронтовики уселись, и машииа тронулась. Она выскочила на большак и понеслась к Днепру, к синему горизонту, где над распаханными полями струилось теплое весеиее марѐво.

В БЫВШЕМ РАЙОННОМ

Село большое, холмистое, разделяет его на две части уютная и тихая река, которая тут же, прямо за крайними домами, переходит в длинное семикилометровое озеро с чистой и вкусиой водой. Дремлют по берегам старые задумчивые ивы, красуются по взгорьям

высокие березы и тополя, а над ними с утра до вечера стоит такой веселый грачиный гам, что кажется, и ночью, когда тихо кругом, слышишь дневное птичье ликование. И всюду, по всем переулкам и улицам, белым-бело от цветущих садов и черемух. Это Каспля, бывший районный центр...

Бывший районный... Что-то горькое и грустное есть в этих словах. В одном только российском Нечерноземье таких «бывших» наберется, пожалуй, не одна сотня. Это, как правило, затерянные в бездорожной глуши или же просто «неперспективные» по разным причинам селения, какие-нибудь Пожеревицы, Серёдки, Издешковы, Карамышевы, и хотя знаешь, что в основном «закрыли» их правильно, экономически обоснованно, тем не менее жалко чего-то, и каждый раз, когда бываешь здесь или проезжаешь мимо, невольно думаешь, что не ошибочно ли их забросили, не очень ли они померкли и затерялись...

Никогда мне не забыть ночлега в одном из таких районов, только что «закрытом», накануне «ликвидированном». Было это, кажется, в шестьдесят первом году в Костромской области, на Ветлуге. Район назывался Ивановским, а центр его был в селе Георгиевском. Обычно название от центра идет, от села или городка, а тут вот по-другому. Редко, но так бывает...

Ехали мы в Георгиевское сначала поездом до Шарьи, а потом километров тридцать пробирались на «газике». Именно пробирались, потому что дорога была сплошной песок, белый и сухой, как на горячем южном пляже. Да и не хотелось торопиться: ведь все тридцать километров, весь путь до Георгиевского — это густые, тенистые сосняки, без единой деревеньки. Даже в машине так густо пахло хвойным настоем, чистотой и покоем здешнего обширного леса, что сладко и радостно покруживалась голова...

Часа через четыре неожиданно, прямо с опушки, открылась Ветлуга, крутой ее правый берег, дома по склону, шпиль старинной колокольни. У перевоза горел костер, и над его бездымным рыжим пламенем висело ведро на треноге, в котором закипала уха.

— Стерляди надо? — спросил перевозчик, просовывая кудлатую голову в кабину и обдавая нас винным перегаром высокой кондиции.

— Неужели настоящая стерлядь? — изумилась ехавшая с нами из области «руководящая дама».

— А какая же еще? Ты что, девка, али не видишь? Не ершей же я тебе предлагаю. Август, чай, на исходе, самый ход у нас стерляди на Ветлуге. В сельпо она сейчас по дешевке идет, четвертинку — за кило, а я тебе целое ведро за пол-литру отдам...

— Вы уже и так, кажется, достаточно... извините, набрались...

— Что верно, то верно! Пятый день пьем. Не так просто пьем, а с горя... Район-то наш закрывают, бросают нас тут за Ветлугой-рекой. А покудова безвластие, пей, гуляй, ругать некому...

Перевозчик хотя и куражился, но в пьяном его голосе так и сквозила горечь, словно он только что схоронил близкого человека. И в самом селе заметил я уныние, тревогу и растерянность. Акты о передаче ивановских земель соседнему Шарьинскому району уже были подписаны, увезены основные архивы, и возле райкомовского здания, с которого уже были сняты вывески, валялись обрывки газет, какие-то бумаги, потрепанные канцелярские папки. Во дворе, у крохотного гаража, протяжно, выворачивая душу, выла собака, и пожилая женщина, которая еще вчера заведовала «ночлежным домом», сказала, крестясь и вздыхая:

— Шарик это... Оставили его, бедного. Еще когда лошади тут стояли, так конюх Шарика приручил, а потом шоферам отдал. А теперь, вишь, не нужон. Царица небесная, спаси нас, грешных...

Вечером, с наступлением темноты, в селе стало еще тише и как бы тревожнее: так в военную пору бывало в маленьких городках, из которых уже ушли наши и еще не ворвался неприятель. Это сравнение так и напрашивалось, когда я бродил по улицам. Пугающе темными были райкомовские окна, которые обычно горели допоздна, особенно на втором этаже, где сидел первый секретарь. Не гудели машины у здания райпотребсоюза, не тарахтели повозки, и даже около чайной, где всегда в эту пору беседовали два-три колхозных председателя, припозднившихся в районе, было уныло и пусто...

Ночевал я в сарае военкомата на сухом свежем сене. Долго было слышно, как где-то гуляли, играла гар-

мошка, плакала за садом женщина и мужской нетвердый голос врывался в этот безутешный плач:

— Да никуда я не поеду! Не поеду я, понимаешь? Никуда! Решено! Точка!..

Я почему-то часто вспоминаю тот ночлег и каждый раз думаю, как и при подъезде к какому-нибудь «бывшему»: «А что там сейчас, как, не померкло ли окончательно село?» И совсем недавно узнал с радостью, что Георгиевское на Ветлуге, как и некоторые другие «бывшие», живет полнокровно, не заглохло и не померкло, строится, поднимает культуру. Приятна была эта весточка, словно я и сам к тому «бывшему» району причастен...

Не затерялась и маленькая смоленская Касплясело старинное, самобытное, известное с двенадцатого века. Есть данные, что уже в то далекое время Каспля была довольно развитым поселением. Из уставной грамоты смоленского князя Ростислава Мстиславовича видно, что в 1150 году каспляне внесли в княжескую казну в виде дани сто гривен. Это, видимо, немало, если исходить из того, что Ельня и Рославль платили всего по тридцать гривен...

Здесь проходил путь «из варяг в греки». Смоленские купцы торговали на юге с Византией и Персией, а на северо-западе — с Прибалтикой. На реке Каспле строились суда и отправлялись под Ригу. «Стольнику Семену Даниловичу Змееву на реке на Каспле делать струги, а для того стругового дела по государеву указу послано с ним с Москвы плотников московских стрельцов 180 человек...»

Наказ этот датирован февралем 1656 года. А в конце апреля Семен Змеев уже доложил: «Сделал я 120 судов да 80 судов обложил по одиннадцать да десять сажень, а делал твое, великого государя, дело с большим поспешанием, и днем и ночью: днем лес тесали, а ночью тянули на себе по последнему пути грязью... Люди голодают, едят мякину. Столярам, которые было побрели врозь с голоду, давал твое государево жалованье — по мерке сухарей на день».

Десятого июня 1656 года стольник Семен Змеев сдал царскому приемщику князю Петру Долгорукову «на воде Каспли реки 300 судов и на берегу несмоленных 256...».

Здешние жители храият память и о войие с Наполеоиом. Под Касплей были крупиые сражения. Геиерал от кавалерии Платов доиосил двадцать седьмого июля 1812 года, что «сбил иеприятельские форпосты и по прогиании оиых на иекоторое расстояиие иеприятель стал их сильио подкреплять так, что из сей перестрелки началось кавалерийское дело и иеприятель в оном совершенно разбит, взято в плеи один полковиик, иесколько офицеров и до 500 рядовых...».

Все эти выписки о прошлом села я сделал в музее, который иаходится в касплянской средней школе. Этот замечательиый музей создала вместе с ребятами учительиица истории Евдокия Киреевна Трушечкииа, талаитливый воспитатель, иеугомониой души человек. В двух небольших комнатках собрано так много цеииых и даже уникальных вещей и докумеитов, что, побывав в этом музее, который бы и в областном цеитре был заметен, проникаешься какой-то особой любовью к селу, к его истории, словно большую и интересную книгу прочитываешь. И все эти экспонаты, все вырезки из старых газет и журналов, все эти камии, черепки, прялки, крестьянскую одежду, каски и гильзы, обгорелые стволы пулеметов, партизаиские листовки, фотографии создателей Советской власти и ветеранов колхозного строя, старых большевиков ребята бережно храият, и миогое из того, что имеется в музее, они достали или сделали сами, облазив все окрестности, все чердаки и подвалы. Евдокия Киреевна даже прослезилась, когда мы с секретарем райкома партии стали хвалить школьиый музей и ее учеииков. Она уже иемолодая, бывшая фроитовичка, и дело это, которому отдаиы многие дии отдыха, очеиь дорого ей.

— Ну а как же иначе-то, село-то ведь свое, родиое, хочется для иего что-то хорошее сделать, — говорит Евдокия Киреевиа. — Разъедутся ребята, судьба-то ведь у каждого своя, вот и вспомнят Касплю, походы иаши по местам партизаиским, в окрестные деревии и хутора. Мы записали рассказы всех пожилых людей, храним в специальном альбоме. Магиитофон бы иам купить, мы бы и голоса записали. Ветераны стареют, уходят из жизии, и каждое их слово дорого для молодежи...

— А до революции в Каспле чем занимались? — интересуюсь я. — Чем село славилось?

— Да ничем особенно не славилось. Разве что рыбой. Рыбы тут в озере да и в реке ловили много и по-особому завяливали, знаете, по-рыбацки так, на слабом ветерке. Или коптили. Тут свой небольшой базарик был, но больше с рыбой в Смоленск ездили. И зимой и летом. Нагрузят подводы и едут. Рыбой многие и жили, потому что земли под Касплей тяжелые, глинистые, урожая хорошего они не давали. Со средины зимы уже сидели без хлеба, на одной картошке да рыбе. Ну кабаки в селе были, конечно, — единственный после церкви культурный, так сказать, очаг. Газет, кажется, всего три на всю Касплю получали. Зимой как заверцет пурга, как завоет по-волчьи, и что делать, куда идти, чем заняться?

— Вы случайно стихи не пишете, Евдокия Киреевна? — воспользовавшись паузой, спрашивает секретарь райкома.

— А что? Есть какие-нибудь основания предполагать? — смеется Трушечкина.

— Есть основания, Евдокия Киреевна. Уж очень образно вы рассказываете, прямо как по-писаному.

— Ну, это от практики, от профессии, мы, учителя-словесники да историки, все говоруны. Так вот, касплянские жители у себя в селе первый спектакль за всю историю увидели только в двадцатом году. Голод был, разруха, но нашлись свои артисты и поставили «Не все коту масленица», а доход от сборов пожертвовали Красной Армии. Вот прочитайте эту заметку из смоленской газеты «Рабочий путь» за двадцатый год. Вот с чего Каспля свою новую жизнь начинала...

Евдокия Киреевна развернула альбом, и я прочитал: «Ясли для детей открыты в Каспле, в бывшей богадельне. В одном помещении старики-инвалиды. Имеется в яслях двадцать детей. В приюте образцовая чистота, опрятность и хорошая обстановка. Приютом заведует местный крестьянин — бедняк Цыганков... Кулацкие элементы и тут вели разлагательскую работу, распространяя слух, что через ясли у крестьян отберут детей и дети не будут знать своих родных...»

Сразу же после Октябрьской революции в Каспле стала организовываться коммуна. Взялись за это нелег-

кое дело местные большевики да вернувшиеся с войны солдаты. А нелегким это дело было потому, что тогда многие крестьяне, даже очень бедные, безлошадные, побаивались самого слова «коммуна». И кулаки их пугали, и церковь, и вековые деревенские устои: хоть всего добра-то клок соломы во дворе, но свой, собственный, не тронь, что хочу с ним, то и делаю. Да и устав коммуны, когда его зачитали в избе у Бойцовых, насторожил мужиков своей таинственной непонятностью: «Все принадлежит всем, и никто не может ничего назвать своим», «Деньги внутри коммуны обращения иметь не будут и денежное вознаграждение за свой труд никто не получает...».

Одно, самое главное, было ясно крестьянам: работать сообща выгоднее, в этом спасение от нищеты и голода.

Маленькая коммуна, имеющая всего шестьдесят гектаров земли, просуществовала в Каспле недолго. Но роль ее была велика. Она высекла искру, которая разгорелась потом в огромное колхозное пламя...

Река Каспля делит село на две почти равные части, и колхозов здесь создали два: «Страна Советов» и «Вперед к победе». Исстари еще идет между здешними полуселами непримиримое соперничество, даже драки раньше случались. В крещенские морозы или на масленицу стенка на стенку сходились мужчики на касплянском льду, колошматили друг друга до крови, а то и до увечья. А потом, при колхозах, вместо драк началось здоровое и полезное соревнование в работе: кто кого по урожаям хлеба и льна обгонит, кто знамя районное быстрее завоюет. Жить стали неплохо. Не ахти уж как нарядно и модно, но обуты были и одеты, а о еде и говорить нечего — все были сыты...

Кузьма Павлович Семенюгин всю жизнь проработал в колхозе «Вперед, к победе» бригадиром, а Павел Васильевич Шурыкин был первым шофером в «Стране Советов». Шурыкину семьдесят третий год, а Кузьме Павловичу восемьдесят пять уже. Но оба они еще крепки, здоровы, когда надо, и сено покосить могут, посторожить на току, а что касается воспоминаний да разговоров, то успевай только вопросы задавать. А если им еще рюмочку поднесут, да по-старинному, с уважением, тогда хоть до утра слушай, не оторвешься.

— А я это историческое дело так понимаю, — говорит рассудительно Кузьма Павлович. — Без колхозов мы бы пропали. Фашист одолел бы нас...

— Да что фашист, — перебивает его Шурыкин. — Ты бы еще до него без колхозов ой как наголодался. А в колхозе мы людьми сделались, страха не стали знать, как раньше его знали. Всего, бывало, мой батя боялся: как бы лошадь не обезножела, протянуть бы с кормом до первой травы. С утра до ночи бились, а мы, ребятишки, даже кусочек сахара считали за гостинец. Бабка у нас полсамовара чая выпивала вот с таким ошметочком сахарку. Упрячет его куда-то за щеку и пьет, утирается полотенцем...

Шурыкин весело улыбается, а Кузьма Павлович, верный духу «старого соревнования» между полуселами, начинает уже новую байку. Из живых рассказов этих двух ветеранов труда я представил, как в Касплю въезжала первая полуторка с красным флагом над кабиной и с полным кузовом ребятишек. Дети встретили автомобиль еще на развилке за бугром, и Шурыкин посадил их, ехал медленно, то и дело сигналил, потому что вся улица была запружена народом. Представил я и праздник урожая, котлы в десять ведер с куриной лапшой, компот из груш, который зовут здесь сладкой похлебкой, желтую антоновку в корзинах и местный луговой мед. Рассказали старики и о первом тракторе, и о смоленских льнах и ржи, и о просторном коровнике, и о клубе, где показывали кино, еще немое, без звука, но такое интересное, понятно, запомнившееся на всю жизнь...

Росла Касплья, строилась, но больше тысячи жителей она никогда, видимо, не набирала. И сейчас здесь столько же. И половина населения села — пенсионеры, как и Шурыкин с Кузьмой Павловичем. Но многие ветераны, за исключением уже глубоких стариков, еще работают, и неплохо...

На второй день я зашел к здешнему «мэру», председателю сельсовета Павлу Федоровичу Петрову, чтобы «прояснить вопрос о народонаселении». Это слова его, «мэра». Он произнес мне их по телефону, а когда я пришел, у него уже была отпечатана справочка: в Каспле проживает 1176 человек, браков в этом году

было три, смертей четырнадцать, родились четыре человека, семнадцать парней проводили в армию...

— Все они после службы в Касплю вернутся,— торопливо сказал Павел Федорович, как бы подчеркивая этим, что жителей не убудет в селе.— Ну, а что касается проблем трудоустройства и стариков и молодых, то их у нас нет. Конечно, основной кадр совхозу требуется, но и других учреждений у нас немало. Дом быта есть, больница, почта, молокозавод, столовая, семь магазинов, пекарня, ну и другие прочие точки...

Правда, «других прочих точек» Петров так и не назвал, поскольку их не имеется в наличии, но и то, что он перечислил, звучало для Каспли и ее «мэра» солидно. Павел Федорович невысок и коренаст, кепочка блином и потертая полукожаная куртка делают его похожим на шофера, только что вернувшегося из дальнего рейса.

С утра мы с ним отправились по селу, и он как местный житель давал короткие и толковые пояснения. Кое-где еще досаживают картошку, на подоконниках на солнцепеке зеленеет в ящиках помидорная и огуречная рассада. А на скамейках перед палисадниками сидят старухи, по две или по три вместе, кое-где с внуками, но чаще одни, потому что детей, как уже известил Петров, в Каспле маловато. Завидя нас, старухи улыбаются и кивают головами, зовут к себе, и «мэр» ко всем подходит, со всеми беседует. Все они в основном бывшие колхозницы, доярки и льноводки, партизанки, труженицы великие, у которых все на лице и на руках написано, вся жизнь, все радости и невзгоды, и, когда слушаешь их по-местному колоритную и образную речь, мягкую и напевную, с белорусскими словечками, встает в горле горячий ком и сама собой зреет мысль, что не придумана еще та награда, которую они заслужили и выстрадали...

Возле дома Тюпиных Павел Федорович замедляет шаги и говорит:

— Тут Анастасия Даниловна живет, самая старая наша жительница. Это не то что Шурыкин с Кузьмой Павловичем.

— А сколько ей?

— Сто два года скоро будет. Интересная старуха, все огни и воды прошла. Может, зайдем?

— Если удобно, конечно...

— Ну, какие у нас церемонии. Мне все равно повидать ее надо, узнать, как здоровье, не требуется ли чего от сельсовета. У нас все престарелые, солдатские вдовы и фронтовики на особом учете. Помогаем, чем можем. Партком совхоза, комсомол и средняя школа это дело на контроле держат...

Проходим двором и стучимся в сенную дверь. Откуда-то из-под приступков вылезает черная лохматая собачонка и рычит на нас, но не лает.

— А ну пошла на место! — грозит ей Петров пальцем. — Собак у нас, понимаешь, в Каспле развелось до невозможности. Бездомных много, вот беда. Опасно это для граждан, когда бездомные. Черт ее знает, что у нее на уме, у беспризорной-то. Есть инструкция — отстреливать. Жалко вроде, а надо. Стоит у меня в плане этот пункт. А ну пошла на место! — еще раз кричит на собачонку Петров и снова стучится в дверь.

— Так ведь отворено! — доносится из сеней. — Али не знаешь?

В доме у Тюпиных все в сборе: сама бабка Анастасия Даниловна, ее сын Петр Тимофеевич, пенсионер, и жена его, высокая приветливая женщина. Бабка сидит на сундуке, покрытом мягким ковриком, и смотрит в окно. Она маленькая, сухонькая, руки держит на коленях, вся ее фигурка как бы напряжена, подобрана, словно она фотографироваться собралась. Руки ее несоразмерно велики по сравнению с хрупким, легким тельцем, они сразу же приковывают взгляд, и, глядя на них, думаешь, сколько же за длинный век они всего переделали. Петрова, «мэра» своего, бабка узнала, и что-то наподобие улыбки тронуло ее сомкнутые губы.

— Ну как делишки-то, Даниловна? — кричит Петров, склоняясь к старухе.

Та отстранилась от него и, закрывая ухо ладонью, сказала спокойно:

— Эка, зыкнул... Чать, не глухая я.

— Извини, Даниловна! Это я тебя с Прасковьей Минаевной Глазуновой перепутал, та, кажись, туговата на ухо. Ты расскажи-ка нам о старине, товарищ корреспондент вот очень интересуется. Ну хотя бы о коммуне. Шурыкин с дедом Кузьмой становление колхозов обрисовали, а ты нам о коммуне расскажи...

— Коммуну помню, мы однорядь записались... Тады еще звоны сымали...

— Звоны-то, мама, не в тот год сымали, а попозже, когда церкву совсем закрыли, — вступает в разговор Петр Тимофеевич. — Она все путать стала, только последнюю войну да фашистов хорошо помнит. Одно время всех военных боялась, милиционеров. Кто в форме ходил, того и боялась. Ей все немцы казались, фашисты. Ночью проснется, руками так отбивается и все в угол, в угол прячется от кого-то...

Услышав про войну, Даниловна поднимает голову, обводит нас испуганным взглядом и говорит:

— Много их было... Стращали дюже... А тады усе забрали, усе спалили... Мы в кусты утикали, деток ховали...

В Каспле фашисты свирепствовали и издевались над народом особенно жестоко, мстили за то, что село считалось партизанским. В лесах под Бакшеевым, Червявкой, по всем ближним окрестностям укрывались партизаны. Всего было семнадцать отрядов. Командовали отрядами в основном местные коммунисты, люди, уважаемые в районе, стойкие и смелые. Партизаны не давали оккупантам покоя ни днем, ни ночью. Идут каратели на задание, впереди бронемашина, на подводах тяжелое орудие, и вдруг из-за пригорка, из заснеженного ельника, почти в упор, кинжальным огнем, начинают бить партизанские пулеметы, летят во врага гранаты. Под Касплей в партизанских отрядах воевали такие известные всей стране Герои Советского Союза, как сержант Егоров, водрузивший потом, в мае сорок пятого года, красный флаг над рейхстагом в Берлине, и Володя Курниленко, отчаянный подрывник, совсем еще мальчик. Володя погиб в бою под деревней Салоики. Сейчас в Смоленске, на одной из лучших площадей, стоит ему памятник...

Летом сорок второго партизаны усилили борьбу, перекрыли все дороги и тропки. Фашисты ничего не могли сделать, народные мстители были неуловимы, подвижны, дерзки, имели «глаза и уши» в каждом хуторе. Тогда оккупанты, окончательно озверев, решили расправиться с мирными жителями, со стариками и детьми. И первого июля они согнали на Кукину гору в Каспле сто пятьдесят семь человек и всех расстреля-

лн. Люди самн себе рылн могилы, потом нх заставляли сиимать одежду и толкали к ямам. Былн тут н девушки-комсомолки, н среди иих Катюша Помазкина, связная у партизан, белокурая и голубоглазая, хохотуиья, все ее в селе зиали и очень любили. Когда фашисты приказалн им сиимать одежду, Катя вышла вперед н крикиула:

— Не раздевайтесь, девочки! Умрем как люди! Не бойтесь! За нас отомстят этим гадам! Отомстят!

Глотая слезы, она запела свою любимую песию: «Расцветали яблоии и груши». Так с песней и умерла первой...

— Моя родиая сестра Шура видела этот расстрел,— рассказала мне Екатериа Романовна Пузачева, секретарь сельсовета.— Мама наша там расстреляна и дедушка. Оии были коммунистами. Шуру чудо спасло, да и меия тоже, нас просто дома не было, когда народ вылавливали. Ей было десять лет, нашей Шурочке. Оиа потом заболела, прнпадки у нее иачались. И мы с ней с помощью партизаи ушли в коице лета к своим, на Большую землю. Так и шагали пешком до линии фронта. Через Демидовский большак, лесами и болотами, в копнах ночевали, иа еловом лапиике. Грибы сырые елн, клюкву. Шуру в детский дом в Ярославле взяли, а я на заводе стала работать. А в декабре сорок третьего, когда Касплю освободили, я тут же сюда вернулась, в райком партин на работу меня взяли. А Шурочка наша умерла, сердце у нее не выдержало...

Екатерина Романовиа опустила повлажневшие глаза, вздохнула глубоко и сказала другим уже, гневным н сухим голосом:

— Спнскн коммунистов, комсомольцев н родственииков партнзан составнл и передал фашистам Трнфонов. Был у иас такой... Следователем в районе работал и все зиал, всех предал... Когда иаши вошлн в Касплю, его поймали и повеснли возле моста. А Катюшу Помазкину помият у иас, н любимая песня ее звучит тут часто, не умерла оиа. О Катюше и своя песия сложеиа, все каспляне ее знают. Лучший и самой храброй связиой была оиа у партизаи. Настоящей разведчицей...

Утеревшись платочком, Екатериа Ромаиовиа светлеет лнцом н иачннает тихо н напевно декламировать:

Давно прошла война,
Давно зажили раны,
Ложится тишина
На сонные курганы.
А в Каспле за горой,
Тревожа песней душу,
Каспляне под гармонь
Опять поют «Катюшу»...

Я смотрю на Екатерину Романовну, и кажется мне, будто не она это так проникновенно напевает, а сама Катюша Помазкина, которая для всех касплян по сей день как живая. Как о живой о ней говорят взрослые, своей пионервожатой считают Катюшу школьники. Без упоминания ее имени не обходится ни одно комсомольское собрание. А в День Победы, когда касплянские фронтовики и партизаны, все в орденах и медалях, окруженные молодежью, приходят к братской могиле, то у всех на устах Катюша Помазкина, в каждой речи и в каждой клятве...

Сурово сомкнув губы, стоят перед обелиском старики, по команде «смирно» застыли ребята-десятиклассники, которым скоро на службу идти, подражают им мальчишки в красных галстуках, и только солдатские вдовы, престарелые матери, сестры и родственники погибших не могут спокойно выдержать этой традиционной скорбной минуты, их душат слезы и рыдания. Больше тридцати лет уже прошло после войны, а они не могут забыть сыновей и дочерей своих, отцов, сестер и братьев, солдат Красной Армии, партизан и просто «цивильных», то есть штатских, не бравших в руки оружие, но погибших от пуль фашистов как солдаты. За двадцать шесть месяцев оккупации в Касплянском районе расстреляно сто сорок пять детей до шестнадцати лет, двести шестьдесят женщин, двести четырнадцать стариков, сто семьдесят восемь мужчин до сорока лет. Население деревни Зарубенки было истреблено полностью. Трехлетнего Ваню Щербакова бросили в яму к убитой матери живым...

Все это вспоминается в День Победы, перебирается жителями пофамильно и поименно, кто каким был, кто где работал, на ком был женат, и действуют на людские души такие родственные воспоминания так сильно, что кто-нибудь из молодых женщин, не выдержав, схватится вдруг за сердце и скажет сквозь рыдания:

— Неужели когда-нибудь снова?! Вот так же...

Освободили Касплю в сентябре сорок третьего. Осень тогда стояла тихая, по-настоящему золотая, леса шуршали желтой сухой листвой. Фашисты превратили село в крепость. Все холмы были опоясаны глубокими траншеями, врыты в землю пулеметные гнезда, железобетонные колпаки, а на господствующих высотах, с которых хорошо простреливались ведущие в Касплю дороги, стояли орудия крупного калибра...

Половина села сгорела во время боя, а остальные дома враги подожгли, отступая. Ночами над Касплей стояло огромное зарево, и жители, убежавшие в отдаленные деревни и леса, видя это, плакали, проклиная фашистов...

— Сердце-то так кровью и обливалось, — вспоминали то суровое время Пелагея Васильевна Романюгина и Ирина Федосеевна Пузачева. — И узелка маленького мы прихватить с собой не успели, немец-то нас в спину так ружьями и тыкал, так и гнал из домов-то родных. Студено уже было, конец сентября, а одежонка известно какая, детки босиком, кричат от страха, а он как бахнет, как ухнет, да близко совсем, аж под самыми ногами, кажись, царица моя небесная. В Перегорцах мы по погребам спрятались, а потом на рассвете, на третий, кажись, день, слышим: по-нашему говорят, по-русски. Выскочили, обнимаемся и все в глаза солдатикам-то заглядываем: ну какие они, наши-то, сыночки родимые? Взгляда ведь доброго мы давно не видели, смеха не слыхали. Тут же побежали домой, а Каспли нет, одни головешки валяются. Пожарища, помню, разгребаем, подбираем кое-что, и уж нет того черного-то горя, какое при немце было. Не пропадем, чай, коли руки-ноги целы, обживемся как-нибудь, оклемаемся помаленьку. Военные нам двух коней дали, да под лопаты поле немалое взрыли мы, и только-только рожь-то малость затвердела, об скамейку, прямо ночью, дня не дожидаясь, оббили несколько снопиков и пополам со слезами напекли на таганке лепешек...

* * *

После войны Касплю отстроили заново. Раньше тут были тесные хаты с соломенными крышами, а теперь стоят в основном современные дома. Просторные, под

железными и шиферными крышами, с верандами. И кругом видны совсем новые стройки. Скоро сдадут в строй торговый центр — большую столовую и два магазина. Петров показывал эти корпуса с особой гордостью, намекая на то, что такому и город позавидует. Здания уже в основном готовы, осталось кое-где оштукатурить да поставить оборудование.

— Этот проект для Каспли как раз будет, — радуется Павел Федорович. — Для сельской местности высокие этажи вообще не нужны, все должно с природой сливаться. Земелька под самыми окнами должна быть, чтобы запах укропа, понимаешь, слышать, чтоб были цветы, огурчики с грядки. Чтоб с крыльца босиком — и сразу на травку. А рядом чтобы садик был, пчелы там жужжали. Правильно я говорю?

— По-моему, правильно.

— Ну вот. А то, понимаешь, для Нечерноземья одно время проекты предлагали городские, в пять этажей. Не годится это. Сейчас дело поправляется. Не берут умные руководители высотные проекты. И мы не берем...

Перед столовой, у зеленого ларька, мы увидели объявление, что завтра на этом месте будут продавать цыплят. Народу тут толпилось много, и в основном мужики.

— Неужели все за цыплятами? — поинтересовался я.

— Да нет, пиво пьют.

— Пиво?

— У нас в Каспле всегда есть пиво. Бочковое, холодное, сколько угодно! И мороженое есть всегда.

Петров знал, что это сообщение на всех приезжих производит впечатление, и поспешил пояснить:

— На торгового руководителя нам крепко повезло, вот что. Анна Петровна Бадикова чего хочешь достанет. Организаторские способности... Она у нас заслуженный работник торговли, депутат...

Магазины в Каспле действительно выглядят культурно, и набор товаров и продуктов довольно приличный. Я разговаривал со многими покупателями, и ответ был примерно один: ничего, жить можно, они так хорошо еще никогда не жили, все требуют ковры, машины и мотоциклы, цветные телевизоры и даже золото — ук-

рашения разные, кольца. А этого как раз и нет или очень мало.

Один только торговый изъян бросился мне в глаза — это навязчивая реклама спиртных напитков, особенно водки. Все верхние полки продуктовых магазинов эффектно и красиво заставлены водкой. Сотни бутылок с разными наклейками, они так и кричат, прямо-таки умоляют: ну возьми, ну выпей! — Петров хмурился.

Хмурился Петров и в столовой, куда мы зашли перекусить. Было видно, что он сюда, как и многие другие местные жители, заглядывает редко, потому что все они обедают дома. Питаются в столовой в основном приезжие да местные холостяки из интеллигентов, которые не успели еще пустить в Каспле корни. Обедать «мэру» здесь, может, и необязательно, а заглядывать не мешало бы почаще, ему самому и депутатам народным, отвечающим за общественное питание, которое могло бы быть и получше.

— С голоду, конечно, у нас в Каспле не умрешь, — самокритично признается «мэр», осматривая застекленную витрину у буфетной стойки, — но и... так сказать... это самое...

— Закругляй мысль-то, чего уж, — говорит отыскавший нас здесь секретарь райкома — В чем суть-то?

— Товарного вида у продукции недостает, а потому и аппетит особо не разгуляется...

«Товарный вид» некоторых блюд был и впрямь бледным, но с этим мириться можно бы, здесь в конце концов не ресторан «Арагви», а сельская столовая: здесь повкуснее бы да побольше. Просто самих блюд было мало, щи да каша, как говорится. На дворе почти лето, а в столовой ни зеленого лука не видать, ни редиски. Ведь в деревне хочется чего-то деревенского, и желательно бы какое-то местное кушанье, которым бы село славилось, про которое бы везде говорили: «А вот в Каспле блины хороши, а в Велиже пресные пироги со свежей капустой...»

Сейчас уже надо не просто кормить, а изобретать, радовать людей кухней. Село приближается к городу, культура во всем должна быть одинаковой, в том числе и в питании. В деревне при желании да при опытных работниках дело питания можно и получше поставить. Здесь же все основное под рукой, завозить ничего не

надо, все свежее — только с грядки или с фермы. Просто привыкли мы к недостаткам в сфере обслуживания, и, стоит только сказать, зайдя в сельскую чайную, что вот, мол, у вас даже приличного чаю нет, хотя здесь и чайная, вам тут же ответят с усмешкой:

— Мы — деревня, с нас и спрос такой. В областном-то городе тоже невелики разносолы...

Я высказываю эти мысли Антонине Николаевне Гривковой, заведующей здешней столовой, и она соглашается, говорит, что питание в селе наладить можно и что ее повара уже думают над своим фирменным блюдом.

— У нас в Каспле в старину картошку хорошо умели готовить, — стала рассказывать Гривкова. — Сначала ее отваривали, да так, чтобы она не рассыпалась, чуть сыроватой была, а потом в сметане или в масле постном поджаривали на противне до нежной хрустящей корочки и так целиком подавали. Не хотите ли попробовать?

— А что, есть разве?

— Сегодня делали. Блюдо будет называться картофель по-касплянски. Повар Евдокия Ивановна Горелликова.

Мы съели по две порции этой картошки: настолько она была вкусна и привлекательна. Это блюдо вполне может внедриться и завоевать славу, если готовить ее будут так же, как и сегодня. Да подавать еще к этой картошке замечательную касплянскую сметану и свежие пышки.

— Мы скоро в новое здание переезжаем, там все будет оборудовано по-современному, — провожая нас, говорит Антонина Николаевна. — А тут у нас кафе будет, пивной бар, пирожковая, торговля мороженым и водами...

* * *

Самое главное в селе — это, конечно, совхоз. На нем теперь, когда район «закрыли», вся Каспля держится, вся ее жизнь и сущность. Название у совхоза от села идет — «Касплянский». Многие годы не везло этому хозяйству — вниз он катился. Все вверх, как и положено, поднимались, а он «свою кривую» в самый низ опустил... Часто менялись здесь руководители, навер-

ное, не тех людей Смоленский райком партии рекомендовал — в этом, кажется, и есть основная причина захирения совхоза, который сидит на государственной шее, дает убытки, а не доходы...

Но сейчас дело, к общей радости касплян, понемножку поправляется. Совхоз возглавили молодые, энергичные и любящие землю люди. Второй год всего они работают в Каспле, а результаты уже видны: надои молока значительно увеличились, урожаи стали повыше, «раскрутили» они рыбное хозяйство, и уже в этом году совхозные пруды дадут около двух сот тонн мясистого вкусного карпа. Готовятся сейчас в Каспле пастбища, в полтора раза больше, чем в прошлом году, внесено на поля удобрений. А это — хлеб, мясо и молоко. Улучшилось у людей настроение; десятиклассники местной школы, такие, как Саша Бойцов и Сергей Проничеиков, сели на тракторы и комбайны. Коммунисты взяли на себя самые ответственные дела...

Такие неугомонные люди и держат Касплю на виду, создают атмосферу молодости, боевого задора. И не будь их, этих сельских интеллигентов, местных депутатов, бескорыстных вожаков и заводил, просто молодых, энергичных, интересных людей, какой скукой повеяло бы от длинных зимних вечеров. Не было бы в Каспле и музея, лучшего, пожалуй, в области, если бы не учительница истории Евдокия Киреевна Трушечкина, которая рассказала нам так много интересного. Не стал бы касплянский хор народным, знаменитым на Смоленщине, если бы Эдуард и Люба Чистяковы, возглавляющие местный Дом культуры, работали равнодушно, вяло, как до них тут дело шло. Врачи Коротков и Афанасьев, рабочий Пронченков, телятница Савельева, заведующая библиотекой Бойцова, Бадиковы, муж и жена, — вот они, сельские труженики, отдающие людям свой жар души...

Тихон Иванович Бадиков был в Каспле первым секретарем райкома партии, кажется, предпоследним. Он «сдал район» больше двадцати лет назад. Не по своей воле сдал, так обстоятельства сложились. Он не говорит о причине, но видно, что его несколько обидели. Тогда это могли сделать: кое-где районных руководителей, которые тащили на себе самый тяжелый сельский воз, не особенно ведь жалели. Как чуть что — получай на полную катушку. Кукуруза не выросла — выговор, клеве-

ра не распахал — еще выговор. Но Бадиков воспринял все, как надо, как солдат, и, хотя мог бы уехать куда-то, сменить обстановку, Касплю не бросил, пошел в колхоз председателем...

Сейчас ему почти семьдесят, сорок лет из них он в партии. И ни на один день Бадиков не прекращал работу, всегда где-то трудится, хотя уже и пенсионер давно. Он и пропагандист и агитатор, исполняет должность в совхозном профсоюзе. Такая же неутомимая труженица и жена его, Анна Петровна, «торговая начальница», которая даже пиво для Каспли «пробивает».

— А как же не работать, теперь работать особенно хочется, — покашливая в кулак, говорит Тихон Иванович. — Жизнь на селе заметно изменилась. Те вопросы, которые мы раньше в райкоме, помню, с трудом расшивали, сейчас вызывают улыбку. По двое суток до Смоленска добирались, а ведь всего-то пятьдесят верст. Сядешь в лесу и сидишь, трактора ждешь, боишься на областное совещание опоздать...

* * *

День сегодня субботний, и я хожу по селу один. Петров и Екатерина Романовна Пузачева, собрав своих депутатов, которые отвечают за культурный сектор, занимаются «вопросами озеленения и чистоты улиц». В сельсовете есть план, предписывающий, где и что высаживать, сколько кустов сирени и акации, где клумбы с георгинами разбить, а где с алыми маками, с голубыми колокольчиками. Каспля и без того утопает в зелени, но депутатам хочется видеть свое село еще более красивым. Петров это всячески поощряет и сам иногда достает нужные семена, декоративные кустарники. И «мэр», и заместитель его, секретарь Пузачева, работают много и добросовестно. Сельсовет здесь авторитетный, а после утверждения новой Конституции народные депутаты подняли этот авторитет еще выше. Подняли делами своими, заботой о жителях села. Они делают все, что в их силах...

Каспля пока отапливается дровами, баллонный газ только для кухонных плит. Теперь хозяйкам не надо подтопок или русскую печь растапливать, чтобы быстро завтрак сготовить. Нет в селе канализации, нет водо-

провода. Воду жители берут из колодцев. Многое еще пока по старинке здесь, как в дальней деревне: поскрипывают колодезные журавли на глухих улицах, звенят цепи, поднимая бадейку с водой. И с коромыслами женщин можно увидеть и с бельевыми корзинами у реки...

— Если бы райцентр у нас был сейчас, мы бы эти вопросы быстрее решили,— жалуется Петров.— А то мы обыкновенное село, и смета у нас сельская, жиденькая смета. Но все со временем сделаем. Нечерноземье — вон оно как меняется, внимание ему большое, дойдут у соответствующих инстанций и до нас руки...

— Жалеют люди, что райцентра нет? Помнят, как закрывали его? — интересуюсь я у Петрова, рассказав ему о своем ночлеге в Георгиевском на Ветлуге.

— Еще бы не помнить! — оживляется Петров.— Нас тоже в шестьдесят первом году закрыли. Сначала слух прошел, что, мол, того... ликвидируют район. Ну и зашевелился народ, особенно приезжие. Обжились, с места срываться кому охота. Основной-то костяк населения не сильно горевал, ему что, деды и прадеды тут жили, могилки ихние за бугром. Конечно, при районе все как-то лучше: и справку любую на месте возьмешь и начальство близко. И вот когда решение-то состоялось, закрыли нас, то я первое время спать не мог, от тишины просыпался. У нас и так-то было тихо, а тут даже петухи вроде орать с горя перестали. И некоторые люди с утра по привычке все к райкому да исполкому шли. Придут, а там пусто... Потом ничего, обжились... Сейчас наше село во всех отношениях посильнее будет, чем при районе. Живем лучше, вот в чем главное... Видно, время делает свое.

Кое-кого я уже знаю в Каспле, иду по улице, здороваюсь. И со мной многие здороваются, особенно старики. Пробежала к Дому культуры Люба Чистякова, крикнула на ходу:

— В кино сегодня вечером приходите! «Улыбнись, ровесник» будет! А мы сейчас в поле едем с концертом! Бригада из шести человек! С баяном!

Директор совхоза и секретарь парткома уже говорили мне, что на полевом стане, прямо у сеялок, концерт будет. Трактористы работают старательно, и надо их повеселить. Придут на концерт и мелиоратры. Они по низинам трубы укладывают, роют траншеи. И летчики,

может, заглянут, услышав звуки баяна. Их «сельскохозяйственный» самолет стоит у самой дороги, недалеко от асфальтового заводика...

Прощаясь с директором, я спросил, какие самые крупные проблемы волнуют его. Мележкин нахмурился, обдумывая, видимо, ответ, долго медлил, а потом сказал быстро и обрадованно, словно трудную задачку решил:

— Проблема у нас одна — научиться хорошо работать. Всем! Без болтовни, без формализма, без расхлябанности, качественно! Указаний для села хватает, надо их добросовестно выполнять!

Молодой директор прав. И, прогуливаясь сейчас по Каспле, я анализирую его слова. Раньше возникали проблемы из-за каких-то нехваток, в которых совхоз был неповинен. Остались, конечно, нехватки и по сей день, но уже не такие. Больше дают теперь деревне машин, запасных частей, удобрений. Сейчас от самих людей многое зависит: от руководителей хозяйств, отделений и бригад, от агрономов, механизаторов, хлеборобов. От их любви к земле, от умения окультурить эту землю, так ее возделать и обиходить, чтобы она родила вдоволь и зерна, и овощей, и кормов для скота. А пока здешние поля не дают и четвертой части того, что они могут и должны давать. Тридцать, сорок, а то и пятьдесят центнеров с гектара — вот далеко не полная норма хлеба, которая может поступать с касплянской земли. А молока надо надаивать от каждой коровы не полторы-две тысячи килограммов, а по четыре и больше. Такие показатели на Смоленской земле уже есть во многих районах. Уже доказано, что здешняя земля может соревноваться с южной, черноземной землей...

* * *

Посредине Каспли, недалеко от нового моста, есть высокая гора. Я поднимаюсь сюда по извилистой тропке. Это древнее городище. Отсюда хорошо видно кругом. Сквозь заросли просматриваются деревянные колонны Дома культуры, средняя школа, тихая гладь реки, на которой застыли лодки с рыбаками. Даже издалека заметно, как то и дело взлетают вверх крупные рыбины: май месяц, щучий «жор» еще не кончился. Бродят по молодой траве телята, две девочки собирают

на косогоре щавель. Они перешагивают через заросшую канаву, не зная, видимо, что это старые траншеи, оставшиеся от войны. А рядом с траншеями — братская могила. Тут спят бойцы, погибшие за Родину. И среди них Алексей Куликов, Герой Советского Союза, повторивший здесь, под Касплей, подвиг Александра Матросова. Много на могиле цветов и венков. На одном из них, самом свежем, надпись: «Родной и любимой мамочке Ольге Савельевой, партизанке отряда Воропаева — от разведчицы отряда Лидии Савельевой»...

А там, чуть правее, за садами, виднеется еще один холм. Эта Кукина гора. Та самая Кукина гора, где, ободряя подруг, запела в последние минуты свою любимую песню земляка-поэта Михаила Исаковского «Катюша» комсомолка Катюша Помазкина...

Жива древняя красивая Каспля. Она растет и молодеет. Растет вместе с другими смоленскими селами. Каспля не «бывшая», а настоящая, где я приобрел новых друзей.

КАРТОШКА

— А я так скажу, товарищи дорогие: особый она продукт, картошка-то. Особый и самый что ни на есть родной. Во все беды она народ выручала. И в войны и в недород. Опять же и по вкусу: все надоест, а картошка никогда. Эх, да что там...

Старик, которого мы взяли к себе в машину на Рюховском повороте, ведущем в Стародуб, глубоко вздохнул и умолк, как бы обидевшись на то, что ему приходится говорить такие понятные слова. Он был коренным брянским жителем, где картошка издавна считается не вторым хлебом, а, пожалуй, первым, любят ее здесь, и садят помногу, и выращивать умеют. Куда ни глянь от дороги, всюду картошка. Промелькнет небольшая гривка гречихи, зазеленеет кукуруза, воспрянувшая после теплых обильных дождей, и снова, радуя глаз, тянутся картофельные поля. Сейчас, в августовскую пору, все выглядит красиво: и малиновые клевера, и травы, готовые для второго укоса, скирды свежей соломы, лопушистая свекла. Но картошка выделяется даже среди такой броской красоты. Есть в ней, помимо полезности, еще и особая привлекательность, теплота и поэзия: эти

длинные аккуратные борозды, ее нежное цветение, густой земельный запах. Окрашены природной прелестью и дни картофельной страды. Рыть ее начинают почти всегда в пору бабьего лета, когда тронет позолотой березовые рощи и потянутся на юг косяки журавлей. С детства помнится эта неделя ранней осени, костры в ближних лесочках, вкус испеченной на углях картошки...

Да, поэзии в картошке много, но еще больше в ней, пожалуй, деловой рабочей прозы. Вернее, в уборке ее, в заготовке. Ни одна культура не требует такой обязательной «мобилизации» полчищ людей, не вызывает столько упреков и слез, как картошка. Каждый год в конце августа, по всей, наверное, России начинается «картофельная кампания». Сердито верещат телефоны, срывают голос секретари райкомов, отбиваются как могут от разнарядки директора заводов, строек, институтов, школ, автохозяйств. А что делать? Картошки нам надо уйму, а сухая осень так коротка, в любой день задождит, а то и снег выпадет, и при недостатке транспорта и вообще современных хороших картофелеуборочных машин порой вся надежда на город, на его людей...

Озабочен был всеми этими вопросами и Евгений Иванович Сизенко, первый секретарь Брянского обкома партии, когда мы беседовали с ним о картошке. Картофельное поле здесь огромное — почти сто двадцать тысяч гектаров. А если и приусадебные участки приплюсовать, то за сто семьдесят тысяч перевалит. Ну, за домашние огороды горевать нечего, тут каждый клубень в ладонях осушат, да и помогают теперь в колхозах неплохо, особенно людям пожилым, пенсионерам. А вот как основной-то клин выкопать? И без потерь бы, в срок, засыпать семенные хранилища и рассчитаться с государством. Брянскую картошку, элитную, семенную и продовольственную, ждут в пятидесяти городах и поселках. Сейчас она, напитавшись влагой, быстро наливается, отходит от майского и июньского зноя, когда не упало ни одной капли дождя. И как только она созреет, девятьсот пятнадцать механизированных звеньев дружно начнут копку. Прошлой осенью больше половины картофельных площадей области было убрано комбайнами. А в эту страду механизация повысится. Да и звенья пополнились новыми работниками, много молодежи пришло, вернувшихся со службы солдат...

Все картофелеводы области на особом учете, звеньями постоянно занимается обком партии, в районах персонально утверждается каждый механизатор, не говоря уже о звеньевом. И это правильно: механизированные звенья решают судьбу картошки. Сильнее звено — меньше городского люда на полях, дешевле продукт, почти нет потерь...

В одном из механизированных звеньев мне захотелось побывать. Выбрал я самое дальнее: совхоз «Воронокский» Стародубского района. Там, в селе Лужки, на самой границе с Украиной, живет звеньевая Людмила Федоровна Новикова, депутат Верховного Совета страны. А рядом с ней, почти через межу, в совхозе «Красный Октябрь», работает еще один знаменитый картофелевод, Герой Социалистического Труда Николай Иванович Солодун. Может, и в его звено заглянуть удастся. Неплохо бы. Тем более что Новикова и Солодун ревностно следят за делами друг друга, делятся опытом...

Лесная брянская земля. Приятно ехать по ней в тихие утренние часы. Деревни встречаются здесь нечасто, они довольно крупные, в каждой — сады, прогибаются ветки от яблок, ульи виднеются меж стволов, стоят вдоль заборов рябины, а за селениями, по луговинам и по хлебной стерне, пасутся гуси, целые стада сытых, тяжелых гусей. Это хорошо, когда сельский житель не только картошкой богат. Очень хорошо...

В Воронке, в центре совхоза, зайдя в контору, увидели мы такую картину: стоят вокруг стола трое мужчин и, не обращая на нас внимания, поднимают по очереди сложенную на газете грудку картошки, определяя ее вес. Это были секретарь совхозного парткома Медведев, главный инженер Филимонов и Николай Иванович Солодун. Тот самый звеньевой Солодун из «Красного Октября», к которому я потом собирался. Он, оказывается, только что приехал, хочет перед уборкой кое-что «поразведать», повидаться с Новиковой.

— Да чего тут прикидывать-то, — говорит Солодун, принимая из рук Иосифа Евтеевича Медведева газету с картошкой, — шестьсот граммов верных будет, даже с походом...

— Так это же куда тянет, братцы? — радостно вскидывает глаза Медведев. — Куст я не выбирал, средний

вытащил, вы свидетели. Это ежели на гектаре самое малое, с учетом гибели, пятьдесят тысяч кустов, то выходит... Так, множим... Три ноля долой... Еще два ноля...

— Триста центнеров будет, — подсказывает главный инженер.

— Совсем неплохо, — замечает Солодун. — А за три недели клубень еще поднальется. Это что у вас, «лорх»? Не самый урожайный сорт, но ничего. Да и кустов на гектаре на других участках побольше. У той же Новиковой пятьдесят пять тысяч, как мне известно...

Солодун считает, что при любой культуре семена — главное, тем более при картошке. Выступая с трибун и в печати, он всегда повторяет три основных положения: сорт, удобрение, правильная агротехника. На его участке хорошо идут сорта «гатчинский» и «мечта». А вообще он любит испытывать семена, подбирая для своей земли лучшие. Ведь все поля разные: там, глядишь, «лорх» прижился, а у соседей «темп», «лошицкий». В прошлом году Солодун накопал по триста тридцать четыре центнера с гектара. В звене у него четыре человека, и если посчитать, что Николай Иванович работает за троих, то будет семеро — так про него говорят в районе. А Новикова взяла со своего участка по двести пятьдесят девять центнеров. Это чуть выше совхозных показателей, которые составили прошлой осенью двести тридцать семь центнеров. А в «Красном Октябре» на круг по триста три центнера вышло. Район взял сто восемьдесят два, а область сто тридцать два центнера.

— Это еще не урожаи, если строго-то подходить, — говорит Солодун, надвигая кепку на самые глаза. — Наш район, к примеру, под триста центнеров может собрать. И это будет. Да что там район, вся область, все Российское Нечерноземье урожаи поднимет. Земля для этого подходящая, примеров сколько угодно, только не ленись. Сама жизнь заставит картошку-то поскорее двигать, она и хлебу подспорье и корм для коров молокогонный...

Наш «ученый» разговор нарушил телефонный звонок из Лужков: «Ну где там Солодун, его Новикова ждет». Мы тут же выехали. Медведев сказал, что до села верст семь всего, а спидометр уже тридцать четыре километра накрутил, но никаких домов не видать. На-

прямую дорога очень плохая, пробираемся объездами, по опушкам сосняков, по жнивью. А утром, перед Вороником, мы зарылись в такие колдобины, что грузовик нас еле вытащил. И не в поле сели, а посреди деревни Солова. Вот он, бич-то наш: вырастим, соберем, а до места доставить порой трудно — по всем брянским проселкам, в стороне от шоссе, в ненастье только на тракторах и пролезешь...

Людмила Федоровна Новикова встретила нас на машинном дворе. Поздоровавшись с Солодуном, она прямо с ходу, без предисловий, попросила у него какую-то звездочку в двадцать четыре зуба.

— Вот это обмен опытом! — засмеялся Николай Иванович и принялся ругать промышленников, которые доставляют селу еще неважнецкую картофелеуборочную технику. Местным рационализаторам часто приходится что-то доделывать, забивать кувалдой болты, заново изобретать разные приспособления к погрузчикам, к сажалкам и комбайнам. И запасных частей мало, сломается в борозде машина, и хоть плачь, выклянчивай у соседа то фланец, то подшипник какой.

— Найдем тебе звездочку в двадцать четыре зуба, приезжай, — обещает Солодун. — Так уж и быть, выручу...

Они чем-то похожи друг на друга, эти два знаменитых картофелевода. И Солодун и Новикова примерно одних лет, рост у них одинаков. Но не это главное. Делает их похожими скорее всего целеустремленность, подтянутость, интерес и любовь к делу, которые так и сквозят в каждом их движении. Я наблюдаю, как они ходят по участкам, трогают ботву, перетирают почву в ладонях, рассуждают и спорят, говорят об удобрениях, о методах посадки, об окучивании, о сорняках и химикатах. Смотрю я на них и думаю: ох как нелегко даются высокие показатели! Вот уже все вроде известно; как картошку выращивать, тысячи книг написаны, плакаты есть, инструкции, фильмы, но почему-то на той же брянской земле, при одних, собственно, условиях такой разнобой в урожаях. У одних за триста центнеров, а у других и ста нет. К инструкциям, машинам и книгам еще ум нужен, рвение, сметка крестьянская...

Новикова уже восемь лет руководит звеном. А до этого работала трактористкой. Сначала у нее в звене

были одни женщины, а сейчас половина на половину. Нина Ляхина сама теперь звеньевая, выросли, выдвинулись и другие ее подруги. Она в звено мужа своего, Федора, взяла, Михея Еремеевича Новикова, Ковалева Павла Евпсиховича, Дмитрия Тимофеевича Кузнецова. Из старых Шура Боброва осталась да Мария Шалыгина. Коллектив дружный, живут душа в душу. Это Людмила Федоровна их так сплотила, мастер она на это. Любую машину водит и с людьми ладить умеет, всегда веселая, боевая, душевная. Недаром и депутатом избрали. Дома у них двое детей, старшая дочь уже трактор водить умеет. И с хозяйством личным Новикова успевает управлять и нагрузки общественные исправно несет. Но главная ее забота — звено, картошка, сто тридцать гектаров земли пятой категории. Пятая категория — самая плохая. У Солодуна почва второй категории, потому и результаты повыше. Не только в качестве земли дело. Солодун поопытнее Новиковой, из мастеров мастер, но Людмила Федоровна не унывает, собирается обогнать его.

— Годика через два поглядим, чье звено районную-то сводку открывать будет, — улыбаясь, говорит Новикова. — Мы еще поглядим, дорогой Николай Иванович...

Но Солодуна такими штучками не прошибешь, он, чувствуя свою силу, только посмеивается:

— Ты уж лучше своего украинского соседа товарища Гергеля обходи. Ты же с ним официально-то соревнуешься, а не со мной. А вообще я вызов принимаю!

— Вот и хорошо, что принимаешь. И спасибо тебе за приезд к нам!

— И за подсказки спасибо, — добавляет Нина Ляхина.

Стал накрапывать дождь, и мы все поспешили к машинному двору, укрылись в пропахшей бензином каморке бригадира. Чуть было засохшая грязь опять раскисла, и на двор без резиновых сапог лучше не суйся. Техника мокла под открытым небом. Так и зимой она стоит. Нет даже легкого навеса, который бы хоть как-то укрывал дорогие машины. Не подведена к стану и вода, ее возят в бочках. Зимой, на морозе, трактор завести трудно, даже в варежках руки стынут, особенно у женщин.

— Что же это вы крышу-то не возведете? — спрашивает Солодун. — Оно хоть и железо, а портится...

— А вы в теплых гаражах зимуете, да? — интересуется Михей Еремеевич.

— Нет, нас тоже небо укрывает...

— Нехорошо! «Красный Октябрь» побогаче нашего-то совхоза.

Дождь припустил еще сильнее, и Новикова, озабоченно поглядывая на поле, сказала, что вот опять землю коркой покроет, четвертое рыхление придется проводить. Картошка дышать должна, ей кислорода много требуется. И Солодун завздыхал, стал собираться домой. Болит у них сердце о делах, не прозевать бы чего, час, нужный в работе, не упустить...

В Брянске, осматривая этот замечательный город, построенный почти заново, я подумал: а как тут торгуют картошкой, довольно ли население? А то ведь у нас бывает, что сапожник без сапог ходит. Район, смотришь, арбузный или яблочный, а ничего этого нет в магазинах. Или мало или такого качества, такого товарного вида, что глянешь, покачаешь головой и на рынок потопаешь...

В центре города выбрал я овощной магазин номер двадцать четыре. Стоит небольшая очередь, берут капусту, огурцы и помидоры. А картошки что-то и не видать. Есть ли уж она?..

— Есть, есть картошка, сколько угодно, круглый год, — сказала Анна Степановна Тихонова, заместитель директора. — Сейчас и одной тонны за день не разбирают. Скороспелка, двадцать пять копеек кило. А зимой шесть или восемь копеек. Жалоб не имеем...

Торговые работники, конечно, не обманут, но лучше и с покупателем посоветоваться. Останавливаю в дверях типичную домашнюю хозяйку, с двумя сумками в руках, спрашиваю о картошке.

— Всегда она есть. Много ее. Но получше бы да почище.

От ходьбы по овощным точкам, от всех этих разговоров мне захотелось картошки. Разварной бы, с огурчиком малосольным и чтобы листики укропа были видны. В Смоленске, помню, было кафе «Картофельные блюда». Сейчас его что-то не видать. Может, в Брянске есть такое, все-таки область-то картофельная. Нет,

не нашел я здесь такого кафе. А жаль, что его нет. Картошку выращивать умеют, а угостнть ею человека — не органнзоваио. Больше сотии блюд, говорят, из иее готовят. Одни белорусскне драники чего стоят. Прав старнк, что ехал с нами в машние: все надоест, а картошка ннкогда.

ОРЛЫ МАКСИМЫЧА

Деревня Лободино просторно раскииулась по высокому крутому косогору. Стоят вдоль всей улицы старые заматерелые ветлы, нависли они над самыми крышами, темной пожухлой листвой усыпалн осеиию разбитую дорогу, застоявшнеся холодные лужи. А винзу виднеется луговина, ферма у лесочка, свежее жннвье, по которому пасутся выводки гусей. И здесь, в деревне, у каждого подворья бродят тяжелые, сытые гусн, мешают нам идти по тропинке.

— Не тот ли вон дом Дедковых?

— Точно, он самый, — подтвердил секретарь парткома и глянул иа меня с уднвлеиием: как это, мол, нездешний человек нашел все сам, без подсказкн. А удивительиого ничего ие было. Утром, перед поездкой в Лободино, о Дмитрии Максимовиче Дедкове немало порассказали мне на центральиой усадьбе: коренной ои крестьянин, от дедов и прадедов идет их хлеборобскнй род, простым солдатом отшагал Максимыч две войны, финскую и Отечествеиную, ранеи дважды и контужеи, коммунист с сорокалетннм стажем, и четыре сына его, Николай, Петр, Виктор и Михаил, тоже коммуннсты, как н отец, уважаемые люди, нзвестные не только у себя в совхозе «Первомайский», но и иа весь Почепский район. Макснмыч, мол, из таких людей, которых к какому делу ии приставь, все у них будет по-крестьянски ладио, прочно и надежно, везде они, хоть в окопе, хоть в избе своей, тут же иаведут порядок н уют. Вот поэтому и выделил я средн многнх домов его аккуратное, ухоженное подворье. Сразу было видно, что здесь жнвет человек работящий, бережливый, серьезный...

Черная лохматая собачоика встретнла нас у калиткн и, тявкнув раза два, нзвнняюще завиляла хвостом, показывая всем видом, что проходите, мол, ннчего, это

я так, для прилнчня. Но дома, кажется, иикого не было. На приступках крыльца н в сенях стояли корзины с яблоками и картошкой. Полосатый румяиый штрифель, крупная желтая антоновка насыпаны былн и прямо иа полу, горками лежалн во всех углах, а со стен свешивались связки чеснока и лука, какнх-то трав, и чем тут только не пахло, в этом просторном сухом бревенчатом приделе.

— Эй, хозяева, есть кто дома?

Нашли мы Макснмыча иа огороде за сараем. Вместе с женой ои докапывал картошку и кормовую свеклу, складывал все это в хранилище, которое было тут же, на участке у забора. Отряхнув рукн о ватные стегаиые шаровары, он степенно поздоровался с иами и стал закуривать. В худой н жилнстой фигуре его было что-то заднристое, стремнтельное. Лицо узкое, выразительное, броская седина подчеркнвает темный постоянный «крестьянскнй» загар.

— Так чего стонм-то? Пошли в дом,—предложнл Макснмыч и выразительно посмотрел иа свою хозяйку. А та и без этого понимала свою задачу н, пока мы раздевались за перегородкой, весь стол заставила такимн разносолами и в таком колнчестве, что к иему н саднться-то было страшновато. Тут и золотистый загустевший мед, и огурчнки, пнрог с капустой, творог, молоко, утка тушеная, ну н, конечно, яблокн, одно к одному, целое блюдо разных сортов.

— И откуда все это?—невольио вырвался у меня наивный вопрос.

— Так все с них, с тридцати соток, с участка своего,—сказал Макснмыч, довольио улыбаясь.—Я так понимаю: живешь в деревие—имей все свое, иначе какой же ты мужик, крестьяиин то есть...

У Макснмыча богатый сад, четыре улья, корова есть, овцы, поросенок, птица разная. Ои и сыновьям своим помогает обзавестись хозяйством: ведь у каждого дети малые, семьи. По мере сил, ие в ущерб, коиечно, своей основной работе, покопаться иа грядках очень даже полезно, особенно ребятишкам. Он уже и картошкн немало продал государству и молока. Год ныиче тяжелый, часть урожая повымокла, н почему же не помочь продукцней, еслн оиа у иего лншняя. Самим много ли надо?

Наслаждаясь душистым чаем, мы неторопливо беседуем о совхозных делах, о событиях в мире, о молодежи и воспитании. Слово «воспитание» Максимыч понимает по-своему, по-крестьянски.

— А я так вот своих орлов и не воспитывал никак,— говорит он, помешивая ложечкой в стакане.— Сами они росли. Я в поле и ребят беру с собой. Я в кузницу или на ферму, и они рядом. Я косу отбиваю, и Витька, к примеру, норовит попробовать. Их у меня шестеро, сыновей-то, да еще дочка есть, Оленька. Леонид с Николаем в городах живут, один токарь, а второй шофер, Оля техникум заканчивает, а остальные тут, в совхозе, свои дома имеют. С нами один вот парень остался, Володя, в школе он учится, комсомолец, третье лето со старшими братьями комбайны и трактора водит. Последыш он у меня... Ишь какой вымахал в четырнадцать-то годков!

Максимыч ласково потрепал сына по модной обильной шевелюре, и тот заулыбался, опустил голову, так нежно и любовно стрельнул в отца глазами, что я понял: не стоит больше задавать вопросов о воспитании...

Дмитрий Максимыч хорошо помнит, как у них в деревне создавался колхоз. Назвали его «Красный городец». Было это в марте, снежный наст стоял тогда твердый, и они, мальчишки, бегали по нему, как по асфальту. А в апреле он вместе с отцом уже пахал общее поле. Отец на одной лошади, а он, как равный,— на другой. В те времена тринадцатилетние хлопцы в многодетных семьях за мужиков почитались. Работали с утра до ночи. Разве уж в воскресенье мать, бывало, пожалеет, разбудит его, как младшего, чуть попозднее...

К двадцати годам Дмитрий Дедков умел управляться с любой деревенской работой. Ничего у него из рук не валилось: хоть коня подковать, хоть крышу покрыть, сруб поставить, колодец вырыть, валенки скатать, молотилку наладить — все у него толково выходило. Когда в армию провожали, председатель пообещал после службы на курсы трактористов послать. Но служба его почти на восемь лет растянулась. Сначала пограничный полк, на севере, а потом одна война за другой, где был он первым номером пулемета. Только фронтовики-пехотинцы знают, что это такое быть пулеметчиком, да еще под Ленинградом, где фашисты временами через каждый час

лезли в атаку, всю свою минометную и артиллерийскую мощь обрушивали на наши огневые точки...

Солдат Дмитрий Дедков вернулся домой только в сорок шестом, с палочкой, прихрамывая на правую ногу. Семнадцать километров от разъезда шел два дня, с ночлегом. Телеграмму в деревне не получили. Да и встречать его было некому: брат Евдоким погиб, второй брат Владимир еще служил, отец с матерью болели, сестра возила лес. До утра в избе у Дедковых стоял людской гул. Жена Евдокима и четверо ее ребятишек плакали не переставая, и Дмитрий не знал, как и чем их успокоить: то гостинцы малышам в ручонки совал, то плакал вместе со всеми. Пострашнее и похуже, чем на фронте, было у них тут в деревне в годы фашистской оккупации...

А дня через три, встав на партийный учет, Дмитрий Дедков уже пошел работать в свой колхоз. Делал все подряд за троих, махнув рукой на свои ранения и инвалидность. А через год женился, стал рубить свой собственный дом...

Хорошо они с Машей зажили, душа в душу, все трудности пополам делили. Как человека партийного и опытного, «бросали» Дедкова туда, где посложнее: и в председателях колхоза он походил, и в замах, когда мелкие хозяйства объединили, был кладовщиком, деревенскую небольшую мельницу возглавлял, полевое звено. Но к руководству, как некоторые, он никогда не рвался, считая, что лучше простой крестьянской работы и нет ничего. Да и грамота у него была не ахти какая: «Три класса да коридор». А учиться некогда было: забот много, дети пошли, нужда одолевала...

Когда старшего сына провожали в армию, работал Максимыч в животноводстве, был машинистом доильных установок. Лободино уже входило в состав совхоза. Жизнь в деревне заметно улучшилась. Да и с директором им повезло. Талантливый, серьезный человек принял дело, Петр Иванович Шподоренко. Через несколько лет совхоз круто пошел в гору, стал хозяйством высокой культуры земледелия, Шподоренко получил Золотую Звезду Героя, забелели повсюду целые улицы домов. Максимыч, как и многие хлеборобы, радовался переменам, дело свое исполнял достойно, активно вел себя на партийных собраниях, ревностно посматривая на сы-

нов своих, которые сидели рядом с ним, среди совхозных коммунистов...

И все бы ничего, как и положено в крестьянстве, да вот беда какая — стала его Мария прихварывать, робко жаловалась Максимычу:

— Сердце что-то давит... Воздуху мало...

Поехал как-то Максимыч на своем мотоцикле на центральную усадьбу, чтобы с фронтовиками встретиться, у обелиска постоять. Был как раз День Победы. Прислонился он к оградке, военную музыку слушает, дружков своих родных вспоминает. А тут девчушка одна, своя, деревенская, за руку его трогает и говорит торопливо, что тете Маше, мол, плохо, доктора вызвали...

Но не успел Максимыч увидеть живой свою Марию. Лежала она, скрестив на груди натруженные руки, лицо спокойное, как и всегда, будто бы просто на часик заснула...

— Что же ты, милая... Раньше меня... Как же это...

Он упал перед ней на колени, положил голову на ее остывающие руки и долго стоял так, беззвучно плача...

Пять лет назад это произошло. Максимыч тогда неделями не находил себе места. Поседел, осунулся, еще ниже опустились его сильные плечи. Если бы не дети, не десятилетний Вовка, который приходил за отцом на ферму, может, и он бы слег: совсем разыгрались солдатские раны. И соседи его в беде не оставили, особенно Петрович, друг старый, еще с юности, фронтовик. Но без женской руки все равно не было в доме уюта: мальчишку некому в школу собрать, пуговицу пришить. Помаялся года два Максимыч и по совету Петровича, родных своих и близких женился вторично...

Недавно отметили его шестидесятилетие. Все сыновья с семьями пришли, привели ему внуков, «целое воинство». Владимир, брат родной, совхозный бригадир, на почетное место сел. Петрович появился принаряженный, заглянули знакомые мужики из деревень, Яковлевна, жена его новая, своих привела, и такой теплый, душевный вечер получился. Смотрел на родные лица Максимыч, прижимал к себе любимого внука Димку и, довольный, возбужденный общением, кричал через стол Петровичу:

— Нет, шалишь, кореш! Мы не сдадимся! Мы еще поработаем! Наш род, вон он какой могучий! Крестьянская кровь! Мы еще повоюем!

Все эти последние октябрьские дни совхоз наверстывал упущенное. После обильных дождей, которые, кажется, все лето здесь не переставали, небо вдруг прояснилось, выглянуло солнышко, стали понемногу просыхать дороги. На очередной своей директорской планерке Петр Иванович Шподоренко сказал:

— Объявляем аврал, товарищи! Надо подтянуться! Всем на картошку! Ни один клубень не должен пропасть. Пока сухо, будем и ночами работать!

Совхоз «Первомайский» и при таком длительном ненастье сумел все культуры сохранить. Кукурузной массы взяли с каждого гектара по пятьсот центнеров, по восемьсот центнеров свеклы, картошки по сто сорок на круг. Это, конечно, не триста тридцать, что в прошлом году было, и картошка чуть похуже, но все равно планы выполнены, сданы семена, хватит и себе и на продажу. А бригада Петра Дедкова, сына Максимыча, по двести пятьдесят центнеров с гектара картошки берет. И зерновых он взял с одного поля по сорок два центнера, кормов у него много.

— А что ж вы хотите?—сказал мне директор.— Петр Дмитриевич Дедков почти агроном, в сельхозинституте учится, молодой, работящий, въедливый к любому делу, как и отец его. И братья Петра, Виктор с Михаилом, такие же. Они даже похожи друг на друга. Михаил грузовик водит, по пять рейсов делает, машина у него всегда на ходу, а Виктор сейчас трактором картофельный комбайн таскает. Замечательные ребята, дружинники, в народном контроле состоят, скромные такие, честные. Виктор вместе с Петром тоже в сельхозинституте учится, на третьем уже курсе...

Мне захотелось повидаться с сыновьями Максимыча. Но не так-то просто это оказалось сделать: совхоз огромный, мы—сюда, а они—туда. Только Петра на минутку поймали в поле. Он отпускал семенную картошку другим хозяйствам. Договорились встретиться поздно вечером...

И вот они, братья Дедковы, сидят у подоконника,

жмутся друг к другу. И правда, иа отца похожи, особеино Виктор с Михаилом. А Петр, пожалуй, в мать пошел: круглолиц, светловолос, улыбчнв. Недавио все армейскую службу прошли, выправка так и чувствуется. Говорят сдержаино, стесияются немножко. У отца в Лободиие бывают чуть ли не каждый деиь. Позавчера Михаил телевизор привез из почиики, Вовке химию достал в райцентре, кеды для физкультуры. Каждое лето и Леонид с Николаем нз городов приезжают н Ольга.

— А батя и сам иас не забывает,— говорит Петро.— Как прикатит иа своем трескучем мотоцикле...

— Да как задаст шороху, если чего-то ие того,— добавляет Виктор, н все оии дружио н заразительио начииают смеяться...

Славные ребята... Орлы Максимыча... Современиые крестьяие... Дети фронтовика...

ТАЕЖНЫЙ МЕД

Глиияное обливиое блюдо, доверху иаполиеиное медом, Никифор Евтифеевич поставил к нам поближе, разложил ложки, а сам, усевшись в сторонке, стал любезио потчевать:

— Угощайтесь... Свежеинький... Только что откачали с Пелагеей для пробы немножко...

Мед был еще теплый, светловато-золотнстая его масса просвечивала иасквозь, нсточая тот густой душный запах, какой бывает только иа цветочной поляие в самую жаркую н тихую пору лета. Мед всегда пахиет летом. И еще детством и солицем. Мы едим его, иахвалнвая, иаперебой говорим об этих волиующих ароматах, о неповторимом вкусе, а Никифор Евтифеевич довольно улыбается, поддакнвает, качая белой головой:

— У нас на Дальием Востоке меда особые, таежные, чнще наших медов поди-ка и ие сыщешь. Вон кругом сопки да дебри какие, на сотии верст не то, что там дыма какого, а и пылинки нет. Ну н пользнтельиость от этого большая. Я вот за свою-то жизнь ии одиой таблетки, считай, не выпил, все мое лекарство—медок наш таежный...

Никифору Евтифеевичу Тестику восемьдесят три года. Когда директор пчелосовхоза «Кировский» Виктор Мефодьевич Бутурлакин и главный агроном Хабаровского треста пчеловодства Александр Дурников, приехавший сюда что-то проверять, рассказали мне о Евтифеевиче, этом знаменитом знатоке медоносов, мастере взятка почти с семидесятилетним стажем, я сразу же представил его почему-то этаким заматерелым таежным дедом, заросшим по самые глаза бородищей: возраст у Евтифеевича уже нешуточный, да и живет он со своей Пелагеей Николаевной где-то у «черта на куличках», на дальнем хуторе, состоящем теперь всего из одного дома. Никифор Евтифеевич еще в молодости показывал свои редкие меда в Москве на выставке, обучил пчеловодческому делу десятки людей, и я попросил Бутурлакина, чтобы он свозил меня к нему на хутор. Но Бутурлакин и сам как раз собирался к Никифору Евтифеевичу. Они в это время, перед началом главного медосбора, всегда к нему ездят, все совхозные руководители, чтобы посоветоваться, порасспросить и поучиться у наставника-пчеловода...

И вот мы у него дома. Неторопливо пьем чай с мёдом, беседуем. Евтифеевич совсем не такой, каким я представлял его. Он чисто, по-офицерски выбрит, опрятен, во всей его жилистой, натренированной фигуре есть что-то строгое, армейское, будто он долго служил и только недавно вышел в отставку. Я вскользь намекаю ему об этом, а Пелагея Николаевна, услышав мои слова, выскочила из кухни и охотно ответила за мужа:

— А с его характером и не растолстеешь. Не поймешь, что на пенсии, как работал, так и работает. Еще темно, а он уже вставши, и все на пасеке, все возле пчел или в огороде, в саду. Хорошо еще, что мед-то есть кому забирать, нам самим много ли надо...

У Никифора Евтифеевича восемь детей и пятнадцать взрослых внуков. И все они, дети и внуки, живут поблизости, родных дальневосточных мест не покинули, часто навещают своего отца и деда. Да и сам Евтифеевич здесь и родился, здесь всегда и живет. Отлучался из дома только на войны, на все три, какие на его долю пали: в гражданскую с белыми сра-

жался, с фашистами повоевал, дойдя аж до Берлина, и на японскую успел. Вот и все его отлучки из семидесяти лет работы на пасеках. И дети и директор совхоза сколько раз уже пытались перетащить Евтифеевича на центральную усадьбу, но он ни в какую, все шуточками отделывается: радио у нас от батареек поет, газеты-письма возят, а телевизора мне не надо. Вот и сейчас Бутурлакин завел было разговор о переселении, но Евтифеевич сразу же нахмурился, закашлял в кулак, стал спрашивать о своем сыне Иване, который возглавляет в совхозе партийную организацию.

— Он завтра к тебе заглянет,— сказал Бутурлакин.— Подготовку машин заканчиваем; в понедельник на кочевку двинем две первых партии. На Котиковском перевале уже зацветает липа...

— Там всегда раньше цветет, не зевайте. Парит нынче сильно, влажно, так что пчелу берегите в дороге, ночами ульи возите, по холодку...

Бутурлакин и Дурников беседуют со стариком о медоносной страде, о разных тонкостях этого важного дела, о передовых пчеловодах совхоза, и Евтифеевич чаще других называет имя Александра Даниловича Лиса...

— Сашку пчела любит,— говорит Евтифеевич.— Любит и слушается. Не каждый этого достигает, тут уметь надо.

* * *

С хутора мы хотели сразу же поехать к Лису, но отложили: надвигалась гроза, и так потемнело, что исчезли из виду не только предгорья Сихотэ-Алиня, а и ближняя сопка Синюха. Собрались только утром. Дурников не оставляет Бутурлакина в покое. А мне и хорошо с ними, с двумя начальниками...

Лисов в совхозе три родных брата: Иван, Владимир и Александр. И все они пчеловоды. Таких «медовых» семей на Дальнем Востоке много: традиция, издавна занимаются в этих краях пчеловодством. Да и как не заниматься, когда повсюду благоухают цветы, один ярче другого, по склонам, на десятки километров сплошные заросли липы — лучшего здешнего медоноса...

— У нас в тресте уже подсчитано,— говорил Дурников,— что один гектар липы дает одну тонну меда. Это, конечно, у передовых пчеловодов, у таких, как Александр Данилович Лис, Востриков Иван, Дионид Аверьянович Сотников, ну и ветеран наш Никифор Евтифеевич. В урожайные годы каждая пчелосемья приносит до семидесяти килограммов меда, а у Лиса, например, вдвое больше. Опыт передовиков — это для нас сейчас главное. В прошлом году Хабаровский край заготовил больше полутора тысяч тонн товарного меда. Это неплохо вообще-то, но маловато. И на одну треть не используются пока наши медоносные массивы, которые в ближайшие годы могут и будут давать по семь-восемь тысяч тонн, если мы... Пусть вон Бутурлакин вскроет резервы, он на совхозе сидит...

— А что Бутурлакин? И вскрою! Резервов тьма, которые от нас зависят и которые не от нас. Пчелы вот болеют, а лечебных препаратов кот наплакал, и плохие они. Нет ветеринарных врачей по пчеле. Машин-вездеходов мало. Как на кочевку ехать, так и беда. Вертолетом бы надо ульи в тайгу забрасывать, так дорого, льгот нам не дают, а только обещают. И вот за семьсот километров трясутся бедные пчелы на грузовике. Она измученная прибывает, отходов немало в ульях. Жилья не хватает, закупочные цены на мед надо бы пересмотреть. Липу кое-где массивами вырубают, а это смерть для пчеловодов. Девяносто процентов меда нам липа дает. Но все, понимаешь ли, одолеем, если бы вот таких оборотистых людей, как Лис, побольше бы нам да помоложе...

Александра Даниловича на своей пасеке не было, и нашли мы его в Котикове у Ивана Платоновича Крамаренко, который готовил ульи для отправки на реку Анюй. Сам Лис, надеясь на изученные ближайшие медоносы, в июле решил не кочевать и вот, выбрав время, подскочил, чтобы словом и делом помочь товарищу.

— К осеннему взятку поближе, может, и я тронусь,— говорит Лис, поддевая ковшом воду.— Ну и жара, братцы, как бы опять гроза не ударила...

Лис крупноват, солиден, оттого кажется медлительным, все время улыбается и «хохмит», а сам незаметно, откинув расстегнутую рубашку, массирует ладонью

левую сторону груди: вот уже несколько лет в душную погоду прихватывает у него сердце. Рано бы вообще-то: пятьдесят четвертый год мужику всего-навсего. И врачи и особенно жена уговаривают поближе да полегче работу выбрать, хватит, мол, и так с четырнадцати лет на пасеках. А Лис только улыбается или скажет что-нибудь такое, что все за животы хватаются от смеха...

Он, как и Евтифеевич, без пчел не может. Из мастеров мастер. Весь Дальний Восток его знает. В совхозе иногда шутят: у Лиса нюх лисий, этот уж медок не упустит. Он и сам как пчела: та нектар собирает, а Лис опыт. Где только можно: из книг, от таких стариков, как Евтифеевич, от ученых-зоотехников. Даже в праздники, когда братья в гости приходят, разговоры только о медоносах да кочевках, споры чуть ли не до драки...

У пчеловода дел всегда много. Зимой Александр Данилович следит за вентиляцией в ульях, за температурой. Сытая и здоровая пчела к апрелю — значит, есть надежда на хороший взяток. Любит Лис весенние денечки, когда пчелы уже выставлены, делают облеты, радуются солнышку, сил набираются. Начинают гудеть все полтораста ульев, манят пчел пожелтевшие ивы, а потом и черемухи, голубика, клены, вереск. Всегда с волнением Лис делает первую откачку. В эти дни обязательно кто-то приходит на пасеку. Или Бутурлакин или Тестик Иван, партийный секретарь, а то и шоферы, рабочие, из родных кто-нибудь заглянет. И снимают пробу, оценивают качество. На пасеке чисто, низко выкошены травы. Это от змей и муравьев хоть какая-то преграда...

А перед цветением липы наступает у Александра Даниловича самая тяжелая и ответственная пора — кочевка. Где он только не был со своей пасекой: в долине реки Хор, у сопки Синюхи, на Тормосе и Уссури. Хоть и знакомые, исхоженные места, но все равно каждый раз все приходится обживать заново, ставить палатки, прокладывать тропки к ближнему водоему, рубить дрова. На кочевье приезжают всегда рано, под утро, спать хочется, гнус и мокрец лезут в нос и в уши, а надо ульи сгружать, пасеку к работе готовить...

Три недели живет Лис вдвоем с помощником за пятьсот километров от дома, в тайге. Питаются по-походному, на костре пшенный кулеш варят, концентраты какие-нибудь. Великое счастье, если рядом река рыбная и можно уху сготовить — все-таки разнообразие. Днем за делами время летит незаметно, а ночами иногда тревожно бывает, все кажется, что кто-то воровски похрустывает в тайге валежником, ухает, подбирается к пасеке. Не раз бывало, что и тигры заглядывали, волки и особенно медведи. Эти косолапые разбойники, если прозеваешь, вмиг разобьют пару ульев. Урон от них немалый по всему краю. Лису пришлось в позапрошлом году уложить одного из двустволки: повадился, спасу нет. Получил разрешение на отстрел, забрался на дерево и выследил все-таки, встретил бурого жаканом в пяти метрах от улья...

Трудно на кочевке, неуютно, но зато какая радость охватывает, когда соты быстро наполняются белым липовым медом, прибывают люди на откачку, весело кричат с машины:

— Эй, робинзоны, живы ли? Комары вас не съели?

После дружной работы, когда мед откачан и погружен, устраивается у костра обед, сообщаются «робинзонам» все совхозные новости: как дела у других кочевников, кто кого в соревновании обогнал, у кого мед лучше. И катится, звенит по тайге смех, льется из транзистора задорная музыка. И спать в этот вечер, проводив гостей, возбужденные пчеловоды ложатся поздно. Нет у них усталости, нет уныния. Радость от хорошей работы, от общения с друзьями сняла всю усталость, сил новых прибавила. Этих сил им до конца кочевки хватит. А там и домой скоро. Дома, в родных местах, к этому времени уже новые медоносы созреют: богатая нектаром серпуха, бархат, малина, кипрей, который всюду называют иван-чаем, клевер, мята луговая. Не только август, но и весь сентябрь еще будут благоухать здешние красивые земли...

* * *

В совхозе «Кировский» тридцать четыре пасеки, разбросанные по многим долинам, предгорьям и сопкам. У Бутурлакина в кабинете висит карта, и на ней

красными флажками, «как у командарма на фронте», обозначены эти пасеки. С ранней весны и до осени флажки меняют свое местоположение. В конторе через секунду ответят, где сейчас находится, к примеру, Востриков, Ивачев, Амосов, Череп, Шишкин или Лисы — все три брата. В этом году кировцам надо продать сто две тонны меда.

— Дадим! — уверенно заявляет Бутурлакин. — План — это вещь серьезная, шутить с ним нельзя. На июльском Пленуме ЦК вон как строго о планах-то сказано. Думаем, что и перекроем, основания имеются...

— А по кролику как выйдете? — спрашивает Дурников и, зная реакцию директора, насмешливо щурит глаза. Местная газета не так давно «крепко навесила» Бутурлакину. Основная мысль статьи сводилась, по словам Дурникова, к тому, что «кролики мед съели», то есть часть рентабельности от пчеловодства пожирают убыточные кролики. После этой статьи Бутурлакин невзлюбил газетчиков: «Легко им писать-то, сами бы сунулись». Вот и сейчас Бутурлакин, стрельнув в Дурникова колючим взглядом, сказал:

— Легко спрашивать? Кролики! Работаем! Близки к плану будем...

— Не любишь ты критику, Бутурлакин, ох, как не любишь, — смеется Дурников. — А ее надо любить, голубушку...

— Да ну тебя! — махнул рукой Бутурлакин. — Пошли на улицу, крольчатники покажу...

Длинными рядами растянулись за парковым двором крольчатники. Белые и серые шустрые кролики прыгали в просторных клетках. Мало поголовье, дорогие корма, низковата культура содержания — вот они слагаемые «прогорания» подсобной отрасли пчеловодческого совхоза...

— Будем налаживать дело, — говорит Бутурлакин.

В тени, под густыми зарослями, мы присели отдохнуть на скамейку. Из гаража мимо нас одна за другой выходили машины. «В тайгу, за медом», — донеслось из передней кабины, и я представил поляны, аккуратные домики ульев на них, лицо Никифора Евтифеевича, Лиса, Крамаренко, Николая Черепа и других пчеловодов, с которыми успел познакомиться на их неповторимой дальневосточной земле...

АРМЯНСКИЙ ЛАВАШ

Подъем к перевалу проходил незаметно. Временами казалось, что и нет никакого подъема, дорога совершенно ровная, и на всем нашем пути все так же, как и там, внизу, за Ереваном, будут радовать глаз цветущие сады и жарко пригревать солнышко. Но вот не прошло и часа, как заметно захолодало, откуда-то вдруг взялись тучи, угрожающе повисли над вершинами, резко запахло снегом, да и сам снег большими островками показался вскоре прямо за кюветом. И каменные глыбы, прикрытые в долине хоть какой-то жалкой растительностью, здесь были совсем голыми и мрачными. Камень и камень, куда ни глянь, всюду огромные, однообразные скалы. И даже в названиях селений, которые встречались на шоссе, как бы слышался сухой каменный стук: Аштарак, Агарак, Маралик.

В поселке Маралик я останавливаюсь. Здесь центр колхоза имени Дзержинского. Того самого известного в Анийском районе да и во всей Армении горного колхоза, который девятую пятилетку выполнил за четыре года, где урожаи пшеницы перевалили за сорок центнеров с гектара, где многое делается научно, талантливо, а в домах пекут такой хлеб и лаваш, что вкус их и запах, по словам моих ереванских друзей, «будят и сытого ночью».

Руководит здешним колхозом Спартион Егоевич Назарян, Герой Социалистического Труда. Героем Назарян стал недавно. Вернулся с двадцать пятого съезда нашей партии, где он был делегатом, и тут вскоре Указ...

В конторе Назаряна не оказалось. Да я и не особо тороплюсь его сразу видеть: время есть, успеется. Хожу по поселку, по чистым его переулочкам, мимо заборов, сложенных из разноцветного плитняка, смотрю на горы, сжавшие Маралик со всех сторон. Откуда-то снизу и слева доносится тракторный гул. Там идет сев. Машин не видать, а шум их долетает в село.

И вдруг потянуло зябким ветром, небо потемнело и закапал крупный дождь. Пришлось укрыться под стеной гаража. Вскоре подошли сюда люди, стали знакомиться: Гамбор Брудян, Алеша Галоян, Жоржик Ко-

черян. При слове «Жоржик» я невольно улыбнулся, и, заметив это, Гамбор пояснил, что у них, у армян, бывает, когда и старика называют Жоржиком и что по-ихнему это нормально, как у русских Иван. Мы говорим о погоде, о весенних работах, о будущем урожае. Здешняя местность зовется «армянской Сибирью», зима в Маралике семь месяцев, морозы, пурга, высота над уровнем моря под две тысячи метров, а овец чабан Шаген Айрапетян гоняет еще выше, поля мелкие, далеко разбросаны, кругом камни...

— Хлеб у нас каменным зовут,— говорит Гамбор Брудян, самый старший из собеседников.— Он нам трудно дается, оттого и сладкий такой...

Гамбор — ветеран колхоза. У него четыре сына и три дочери, у всех высшее образование, в семье пять коммунистов. Семьдесят два года Гамбору, а выглядит он молодым, еще сильный и ловкий, ежедневно работает, хотя его и не посылают, все у него есть, дом — полная чаша. Работает он потому, что без дела не может, что в колхозе порядок и что председатель товарищ Назарян — хороший человек. С таким председателем работать интересно, легко. Все присутствующие, соглашаясь со старым Гамбором, кивают головами, и я вижу по их лицам, что авторитет Назаряна высок, что любят и ценят его честно, по-крестьянски, за ум и дела, а это, пожалуй, не меньше любой награды...

Встретив вскоре Назаряна, я говорю ему о беседе с колхозниками, и он смущается, переводит разговор на другое. Есть люди, у которых запоминается не лицо, не фигура, а выражение глаз, улыбка, идущая как бы из самой души. Вот и Назарян такой. Уж очень теплая, располагающая у него улыбка. А сам он худенький, невысокий, цепкий такой, быстрый...

Назарян только что вернулся с полей, где заканчивается сев ярового ячменя. Триста гектаров уже засеяли. Озимая пшеница вовсю идет в рост, она подкормлена, сдобрена всем необходимым, и урожай должен быть хорошим. Спартион Егоевич — заслуженный агроном и говорит об этом со знанием дела. Он показывает тепличное хозяйство, инкубатор и птицеферму, парк для техники, цехи для приготовления кормов, коровник, склады, овчарник, комнаты отдыха, клуб. Это

все рядом, как бы в одном комплексе, все новейшее, современное. Назарян убежден, что еслн уж строить, то самое лучшее, самое экономнчное, н недаром, проходя мимо чего-то, он поясняет: «За этнм в Москву ездил, это в Пятнгорске позанмствовал, а то нз Венгрни». Куры здесь не белые, а красные, очень мясистые, яйцо у них крупное. Лучшего сорта н огурцы, помидоры. И всюду много молодежн, целые комсомольскне бригады обслужнвают эту новую техннку. Доход у колхоза большой, денег хватает, н Назарян говорнт, что в десятой пятилетке онн строить будут еще масштабнее, сделают в Маралнке настоящнй агрогород.

— Там новый сад заложилн, — показывает Спартион Егоевнч на склон горы, — здесь через год жнвотноводческий комплекс закончим. Камня у нас много, только строй, и строим мы самн, в основном своими руками, от фундамента до крыши свонми руками...

* * *

Спартнон Егоевнч приглаенл меня к себе пообедать, день был воскресный, н к нему прншли родственннки, друзья. В большой комнате рядом со столом стонт во весь угол не ахти как мастерскн сделанный портрет. Но портрет этот очень дорог для семьи. На нем изображен отец Спартнона — Егой Нниколаевнч Назарян, создатель здешнего колхоза, член партни двадцатых годов, почитаемый в Арменни человек. Рисовал его любнтель, колхозный шофер, еще до войны. Егой Николаевнч сидит за столом, над головой у него часы-ходикн, сбоку, на стене, телефон с ручкой, на груди орден, лицо, как и у всех Назарянов, скуластое, а в пытлнвом взгляде угадывается вопрос: «Ну как вы тут? Как у вас дела?»

Этот человек отдал свою жизнь колхозу. Знмой сорок четвертого года во время бурана он несколько суток подряд, без отдыха, голодный, спасал занесенных снегом овец и простудился, слег и уже больше не поднялся. Умирал он в полном сознанин, подозвал детей и сказал: «Имя берегите, имя». Он очень хотел, чтобы дети его были людьми достойными и подхватили его дело. Он и назвал их герончески: Вазген,

Спартак, Спартион, Досфина, Туфина. Спартион слышал последние слова отца. Он передал их своему старшему брату, Спартаку, когда тот вернулся с войны. А Вазгену не успел передать: он геройски погиб под Ленинградом...

Все Назаряны остались на родной земле. Только красавицу Туфину увез из Маралика военный в какой-то дальний гарнизон. Спартак — партийный работник, секретарь райкома, Досфина — бухгалтер, а Спартион вот уже двадцать лет руководит колхозом. У Спартиона три сына и один из них Егой, — в память о дедушке. Десятый класс парень заканчивает, как и старший брат Вартан, думает о сельхозинституте...

До председательства Спартион Егоевич прошел все колхозные должностн: землю пахал, пчеловодом был, агрономом, бригаднром, фермой ведал. Поэтому и с людьми сейчас работать ему легко: все он сам умеет делать. Но это для него уже не главное. Мастеров разных в Маралике появнлось много: получше его и поле вспашут и на ферме управятся. Главное для председателя — это органнзация дела, план, умение по-хозяйски мыслить. И тут Назарян показал себя отлнчно. Он уже не бегает, как раньше, с утра до ночи по бригадам, ни с кем особо не ругается, даже голоса неделямн не повышает, а все идет своим чередом. Людей он на все важные посты подобрал умело, сам постоянно учится и других заставляет, опнрается на коммуннстов, на молодежь, советуется со стариками — ветеранами, такими, как Гамбор Брудян, его жена Агуник — член партни с сорокалетннм стажем, Варак Абнджан... Онн нз этих черных скал землю сделали, в ладонях перетерлн каждый камушек. А с землн, как опытный агроном, и начннал Назарян подъем колхоза. Он расширил площади, отвоевал у камней десяткн гектаров. Он объявил настоящую войну камням, чтобы сделать поля пошнре, дать ход мощной технике... За двадцать лет много воды утекло, всякое бывало. Сидят сейчас у Назаряна гости и вспоминают прошлое. А Спартион Егоевнч больше слушает, чем говорит, и лицо его задумчиво, скулы заострнлись резче. Тяжела председательская ноша. Вон уж и голова седеет, на лбу глубокая складка, и сердце иногда в мннуты волнений словно клещами сжнмает. А ведь

нет и пятидесяти. Разве это возраст для мужчины да еще горца?

Смеются гости, шутят, и мне так хорошо в этом доме. И так вкусен их хлеб и лаваш с мягким домашним сыром и запашистой зеленью. Вот уж верно: сладкий каменный хлеб. И когда все переходят вдруг на армянский язык, мне кажется, что я и родную их речь хорошо понимаю. И чаще всего в разговорах друг от друга летают уже знакомые мне слова: «карь», «хац» и «ждур», что означает камень, хлеб и вода...

И будто бы со вниманием прислушивается к родным и близким со своего портрета Егой Николаевич Назарян, большевистский боец и крестьянин. Он остался бы доволен, взглянув сейчас на свой колхоз. В Маралике, на этих жестких камнях, так хорошо и культурно еще никогда не жили. Не все местные дети могут, пожалуй, толком разъяснить слово «голод». Они его никогда не слышали. А раньше здесь половина детей умирало в малолетстве от нужды и болезней. У Егоя Николаевича Назаряна и его жены было пятнадцать детей, и десять из них унесла нужда во младенчестве.

Мы выходим на улицу. Спартион Егоевич ведет меня по селу в сторону горы Бозоян. Где-то там, на Ширакской равнине, работают механизаторы Норик Сафорян, Галуст Айрапетян и Урумян Володя. Спартион Егоевич собирается к ним поехать. Ему надо посмотреть, как они заделывают землю и вносят удобрения. Он уверен, что все идет нормально, и был у них уже сегодня, но собирается снова. В поле с работящими, хорошими людьми он лучше себя чувствует, у него поднимается настроение.

— Механизаторы у нас — золотые ребята, — говорит Назарян, застегивая плащ. — За прошлый сезон Галуст Айрапетян получил премию — автомашину «Жигули».

— Бесплатно?!

— Ну конечно, раз премия. Его работа стоила сотни машин, — спокойно поясняет Назарян.

Вот как понятия меняются. Лет двадцать назад и отрез на платье был дорогим подарком, сорочка какая-то, а сейчас о «Жигулях» говорят обыденным голосом.

На главной улице мы расстаемся с Назаряном.

— Приезжайте к нам летом,—приглашает Спартион Егоевич.—Персики у нас за облаками не растут, а яблоки замечательные.

Он машет мне рукой и улыбается. Эту его добрую улыбку я увожу с собой.

ЗИМА В КРАСНОМ БОРУ

Возле каждого города есть такое место, о котором мы, оказавшись вдали, вспоминаем с волнением сердца. Смотришь иной раз на заграничные красоты, прекрасные сами по себе, вдыхаешь тропический запах, и вдруг, как наяву, встанут перед глазами мягкие заливные луга с колокольчиками, ивы над тихой водой, и внутри что-то защемит и вот-вот брызнут теплые слезы и потекут по щекам. Чувство это зовется любовью к Родине. А Родина начинается с твоего дома, с твоего города и села, с того самого места, где ты впервые по-взрослому объяснился с природой. В Пскове, например, такое место—Черёха, в Новгороде—озеро Ильмень, а в Смоленске—Красный бор...

Если ехать из Смоленска в сторону Витебска, то километрах в семи от города и начинается он, этот бор, могучими соснами наступающий на дорогу. Сверни на любую тропку, и она уведет тебя в заросли, на уютную полянку, где рядом с осиной стоят сестры березки, растущие из одного корня. Над головой ровно гудит ветер, тени падают на голубые сугробы, лапы елей пружинят под снежным грузом, и не то можжевельник, не то вереск проглядывает сквозь пушистую белизну. Стукнешь по ветке палкой, и вот посыпалось, забухало мягко, полетели синие искры, и где-то в чащобе, за выводком сосенок, как по сигналу, ударил, забарабанил дятел, а прямо перед глазами, по толстому стволу, пискнув, цепко побежала вверх крохотная пичуга. Но вот дятел, дав еще очередь, замолк, белая пыльца улеглась на заячьи следы, и снова торжественно, тихо в лесу, и нарушать эту тишину уже не хочется. Прислоняешься к надломленной ели и, поглаживая золотистую смолу на трещине, глубоко дышишь

и чувствуешь, что воздух густ, ароматен; он, как шампанское, сладко кружит голову...

Идешь, идешь, и иет конца этому царству, и хочется крикнуть что-то дурашливое от иахлынувшей радости, побежать куда-то, сделать доброе. Миновав мелколесье, поднимаешься на холм и замираешь вдруг пораженный: виизу Днепр, закованиый льдом, душистые ветлы на берегах, а за рекой, по всему противоположному склоиу, сбегают молодые березкн. Чудесно! Летом здесь над обрывами режут со свистом воздух стрижи, пасется за ольховником стадо, ребятишки, посннев от купания, иосятся вперегонки по белесой от ромашек равиине, а ночью, в глубоких омутах, с плеском «играет» крупная рыба. Так вот почему по субботам и воскресеньям идут и едут сюда смоляне, варят уху, раскинув руки, лежат на спине и смотрят, как плывут в вышине облака, а зимой катаются на лыжах, в февральскую оттепель играют в снежки.

От реки к большаку есть н другая тропинка. Она петляет по низкому ельннку, огнбает змеевидные рвы, глубокие ямы, заросшие чертополохом. Это окопы и воронки от бомб. Даже под снегом различимы они, этн зловещие меты боев. Войиа нанесла Красному бору серьезные раны. Фашисты спилили много деревьев, оставилн блиндажн, груды кирпичного хлама. Вместе со свитой приезжал сюда Гнтлер, и бор кишел эсэсовцами, всюду торчали стволы пулеметов, башии танков поворачнвались на малейшнй шорох, злобиые овчарки рвалнсь с поводков. Гнтлер, приготовившийся иа белой лошади принимать парад в Москве, боялся Красного бора, боялся каждой сосны н, согнувшись, озираясь по сторонам, торопливо проходил мнмо охранников с остекленевшими от подобострастия глазами, скрывался в мощном железобетонном доте, который и до сего времени торчит недалеко от тупнка. Русский лес исстари насмерть пугает врагов своих и укрывает друзей...

* * *

Цеитр Красиого бора — это дом отдыха, носящий такое же, как и бор, назваиие. Большие корпуса его, удобные и новые, проглядывают сквозь зеленые кроны, манят огнями и музыкой по вечерам. Из многих угол-

ков страны приезжают сюда люди, чтобы покататься на лыжах, подышать целебным воздухом, насладиться тишиной и покоем. Привлекает отдыхающих и гостеприимство персонала, культура: дом отдыха «Красный бор» занимает среди курортов подобного типа ведущее место.

Иван Венедиктович Герасимов, директор «Красного бора», всегда веселый и бодрый, как и подобает быть директору подобного учреждения, показывает мне схему и говорит:

— Вот оно, наше ближайшее будущее, на которое уже отпущено два миллиона рублей. Сейчас у нас отдыхает двести человек, а будет семьсот. Построим многоэтажные светлые здания, спортзал, лодочную станцию, лыжную базу...

Иван Венедиктович хорошо разбирается в схеме, говорит горячо, увлеченно, с некоторым гортанным акцентом, на который я невольно обращаю внимание.

— А я цыган, самый настоящий цыган из табора, — поворачивается ко мне Герасимов, и черные глаза его приветливо смеются. — Мальчонкой, бывало, такие пляски откалывал, артист позавидует. А мать у меня гадала. Анна Тарасовна ее звали...

Он глубоко вздыхает и медленно, как бы подбирая слова, рассказывает о своем детстве, о том, как в войну за связь с партизанами фашисты повесили его мать и старшего брата Василия, известных теперь на Смоленщине патриотов. А сам он воевал, был офицером, комсоргом полка, на фронте его приняли в партию. Сейчас у Ивана Венедиктовича высшее образование, он руководил в «Красном бору» стройкой, начинал, можно сказать, с первого кирпича и поведет строительство дальше. Мы говорим о цыганах, о их протяжных, задушевных песнях, о быстрых танцах, и, забывшись, Иван Венедиктович начинает потихонечку напевать что-то грустное: видно, мать, старая цыганка, еще стояла пред его взором. Потом он отложил чертежи и стал просить, чтобы я обязательно отметил в газете официантку Зину Якимчук, шеф-повара Риссамакина, сестру-хозяйку первого корпуса Викторию Петровну и всех сорока ударников коммунистического труда.

— Ну что тебе стоит, голубчик, — веселея и подражая самым залихватским цыганкам, начал уговари-

вать Иван Венедиктович. — Я тебе всю правду за это открою, красавец писаный, отгадаю, какая тебя крестовая дама ждет, казенный дом и дальняя дорога...

Насмеявшись досыта, мы выходим наконец на улицу смотреть, как заливают каток.

В этот день мне вообще везло на встречи с интересными людьми. Прогуливаясь вдоль забора, я увидел высокого седого человека, прибивающего какую-то рейку гвоздями. Он был в легкой курточке с расстегнутым воротом, без шапки и в двадцатиградусный мороз железо держал голыми руками. Я сделал два круга, а он все работал, причем солидно и неторопливо.

Перед обедом мы встретились с ним в конторе, и, как бы отвечая на мое удивление, седой человек положил на стол фотографию: сильный атлет с крутыми бицепсами мертвой хваткой сжал противника на арене.

— Это я, Пауль Банак, в свое время известный в Германии борец и боксер, а с 1936 года гражданин СССР. Возьмите фотографию на память...

— Спасибо. Но что вас привело в Россию?

— Любовь и вот это. — Пауль Банак поднял сжатый кулак, что означает «Рот-фронт», и сел со мной рядом.

Его теперь зовут Павел Вильгельмович. В тридцатые годы он приехал к нам с цирком, полюбил русскую женщину и, будучи антифашистом, принял советское подданство. Во многих городах он показывал свою ловкость, но чаще всего в Смоленске. А сейчас он персональный пенсионер, художник-оформитель, незаменимый в доме отдыха человек. Все эти игры, аттракционы, оформление, стенды и транспаранты — все это сделано его золотыми руками. Он ездит в другие здравницы, подмечает там интересное оформление и немедленно внедряет у себя.

— Скоро получаю новую квартиру, приглашаю на новоселье, — говорит Павел Вильгельмович и в свои шестьдесят два года, прощаясь, так жмет руку, что хрустят пальцы.

Жизнь в доме отдыха идет своим чередом. После ужина одни гоняют бильярдные шары, другие сидят за шахматами, читают в библиотеке журналы, слушают лекции, смотрят кино...

А утром меня разбудил чей-то голос и скрип лопаты под окном. Это дворник Захарыч прочищает дорожки и разговаривает с ласковой собакой по прозвищу Старик, живущей иа куче опилок у прикрытой стеиы. В восемь часов иду в столовую. За столиком, где мне указали место, сидят техник из Вязьмы, пианистка и инженер. Спрашиваю их, как кормят. Отвечают, что хорошо, мол, вообще-то кормят, но после первой недели приходится просить добавку, в чем здесь, слава богу, не отказывают. А виною всему лыжи, коньки и санки. Ребята с юмором, уже успели здесь обтесаться, перезиакомиться и чувствуют себя как дома.

У выхода отдыхающих встречает Старик. Ои стоит в сторонке, виляет хвостом, и глаза его просят: дай корочку, если ие жалко. Старик ие навязчив, вежлив и мил. Ои добровольно охраияет дом отдыха, каждому разрешает себя гладить, и все привыкли к иему. Какая-то жеищииа сошла со ступеиек и, увидя собаку, брезгливо поморщилась:

— Развели тут звериисц...

Оиа быстро засемеиила к дому, зажав в кулаке что-то съестиое.

— Не люблю вот таких,—кивая в ее сторону, говорит техник из Вязьмы.—Для кого живут только...

Из фойе с шумом вывалилась молодая ватага. Впереди Витька, токарь из Подмосковья.

— Старик! Старикаша!—закричал ои, протягивая сверток.—Продрог небось, иа такой стуже ночуя? Продрог? Ах, друг ты мой ситный!

Подошли девушки и тоже развериули перед собакой бумажки. А через час оии со смехом шли по лыжие, а Старик бежал впереди и звоико лаял.

* * *

Сегодия как-то особеино живописен Красный бор. Ночью шел тихий снег, и все следы замело, покрыло всю «грамоту леса», хворостиики, упавшие с сухих сосен, шелуху, насоренную дятлами. Пушистая белизна, подсвечениая солнцем, режет глаза, слепит, заставляет щуриться, прикрываться перчаткой. И длииые шишки на матерых елях горят восковой желтизиой, свисают до самого сиега.

Мне надо побывать на Гнездовских курганах, где девять веков назад было поселение кривичей, на реке Каспле, на Козьих горах, на Дубровенке. Все это рядом, и я, отталкиваясь палками, мягко скольжу на лыжах, забираюсь в заросли дикого малинника, каких-то кустов, еще высоко стоящих над снегом. За малинником и кустами таится осинник, потом редкие сосны. И в этом сосняке всюду какие-то заборы, сараи, цементные столбики, тупик с вагонами, груды щебня. Зачем это здесь в таком чудесном бору, где отдыхают люди?

Задаю этот вопрос пожилому лыжнику, встретившемуся мне на пути. Лыжник недовольно машет рукой, ругает руководителей, которые разрешают строить в лесу все эти склады, холодильники и гаражи. В бору должны быть дачи, дома отдыха, пионерские лагеря и ничего больше. Все остальное надо выбросить, иначе бор перестанет быть бором, превратится в грязные задворки.

Да, весь Красный бор должен быть просторным и нетронутым, как и многие его уголки. Ведь в таких местах люди очищаются душой, думают о прекрасном, отдыхают. В таких местах, которые есть возле каждого города, рождаются красота, музыка и стихи, любовь к Родине. Берегите их, эти заветные уголки! Без них неполной будет жизнь ваша.

ПАЛЯНИЦА ДЛЯ МАРШАЛА

В тот год я гостил у своего украинского фронтового друга. Мы гуляли по Киеву, подолгу сидели на скамейке у днепровской кручи, откуда открывались такие красивые неоглядные дали, что при виде их сами собой вставали в памяти хорошие стихи и, конечно, шевченковские, его глубокая народная поэзия. Мы по очереди, то по-русски, то по-украински, читали «Нащо мене чорни брови», «Як умру, то поховайте», «Вишневый садик возле хаты», а потом мой друг предложил:

— А хочешь на родине нашего Кобзаря побывать? Есть такая возможность...

И на второй же день мы покатили в сторону Черкасс и Канева. Март еще только начинался, но было уже тепло, солнечно, над подтаявшими полями летали грачи. Мы часто останавливались в селах, а в некоторых ночевали, и везде, как о живом и родном человеке, люди говорили о Тарасе Григорьевиче Шевченко. В каждой хате на самом видном месте висели его портреты, лежали стопки книг. Казалось, что великий батько вот-вот откроет двери, сбросит с широких плеч овчинный кожух, повесит на гвоздь барашковую папаху и, посадив на колени хлопчика, начнет щекотать его своими сивыми густыми «вусами»...

— Здесь что, к юбилею готовятся? — спросил я друга. — Или литературные чтения проходят?

— Нет никаких чтений. Это сам народ почитает батьку Тараса. Во всей Украине так...

А когда мы углубились в самую «сердцевину» шевченковской земли, проехали бывшую Кириловку, Моринцы, где поэт родился, Будищи, Вербовку, зазвучало еще одно популярное имя: маршал Конев. Кто-нибудь из жителей, угощая нас салом, наливками и яблоками, показывая расшитый рушничок со стихами Кобзаря, обязательно добавлял, вспоминая войну:

— А у нас тут, дорогие друзи, маршал Конев со своим штабом стояв... Ось туточки и любил вин посидеть, вон у этого оконьца. Скажет своим генералам: геть служивые, мне треба трошки одному с мыслями собраться! И сидит, думает, как этого фашиста половчее в клещи взять да разбить поскорее...

— А то що сниг разгрибав лопатой. Солдатики спят, а вин в одном кителе нараспашку у крылечка хаты сугроб разрывает...

— В крестьянском деле толк понимал, стариков наших все о жизни расспрашивал...

Не было, кажется, ни одного селения во всей шевченковской округе, где бы не говорили о маршале Коневе теплых, благодарственных слов. Получалось так, что почти в каждой деревне стоял он со своим штабом, чуть ли не каждая хата с радостью отводила ему тогда лучшую, самую чистую и просторную половину. И все поголовно, от мала до велика, видели якобы маршала Конева, здоровались с ним, оказывали ему хоть какую-то небольшую услугу. Мы понимали,

конечно, что было-то все тогда далеко не так, но никого не разубеждали, ни с кем ие спорили. Это же святое дело, глас народа, любовь его к такой крупной известной личности. Всегда ведь людская молва славит свонх героев...

За Моринцами, в небольшом хуторе, окруженном садами, мы узнали, что в селе Шевченково живет «бабця Тарануха», которая пекла для маршала Конева украинские паляннцы. Якобы тогда, зимой сорок четвертого года, маршал «трохн занедужив» и попросил деревенского теплого хлеба...

— Наверно, и бабця Тарануха все из той же молвы,—сделал заключение мой друг, когда мы выехали на большак.—Пора нам на Канев поворачивать, а то стемнеет уж скоро...

Но я уговорил его все-таки завернуть в Шевченково: вдруг н в самом деле есть такая бабка Тарануха. И ие пожалели, что завернули. У первых же домов мальчишки сказали нам, что «бабця зараз у клубе балакае о маршале», что на ее хате прнбнта мемориальная доска.

— Значит, точно, что маршал в ее доме останавливался?—нетерпелнво спросил я.

— А як же?—подтвердили хлопцы.—Бабця для маршала паляннцы пекла!

Прежде чем ехать в клуб, мы осмотрели бабкино жилье: обыкновенная украинская хата, с побеленными стенами, с садочком вишневым и даже с глиняными глечиками на кольях забора. И доска подтверждает, что именно здесь останавлнвался зимой сорок четвертого года командующий Вторым Украннскнм фронтом Иван Степанович Конев...

«Вин тогда трохи заиедужив»,—вспомннлись мне слова хуторянина, рассказывавшего нам о маршале и паляннце. Вполне возможно, что и занедужил. Время тогда было напряженным. Готовился Корсунь-Шевченковский котел, и Конев, на плечн которого легла немалая часть этой огромной, ответственнейшей операцни, суткамн сидел над картамн н сводками, координировал действия со свонм соседом генералом армни Ватутиным, командующим Первым Украннским фронтом, поджнмавшим врага с другой стороны, часто выезжал к переднему краю, чтобы все видеть и знать самому,

нз первых уст, от солдат, от ротных и взводных офицеров, артнллеристов, полковых разведчиков. Февраль тогда выдался ужасным: без конца шли дожди со снегом, н без того разбнтые сельскне дороги так раскислн, что на ннх садnлнсь даже тягачи и танки. А надо было маневрировать крупнымн соединениями, передвигать технику. Без быстрого, четкого и виезапиого маневра «сделать котел» было нельзя. А котел для врага созревал немалый, второй по величине после Сталинградского: части десятн вражеских дивизий, отбориая бригада «Валония», танковая днвизия СС «Викннг», артиллерийские, зеинтные, строительные, саперные н тыловые войска попадалн в иаши иадежиые клещн. Враг предпрнннмал отчаяиные усилня, чтобы вырваться, лез напролом. Гнтлер обещал окруженным войскам поддержку, дал радиограмму геиералу Штеммерману: «Можете положиться иа меня, как иа камеииую стену. Вы будете освобождеиы нз котла, а пока держнтесь до последнего патрона». Передал радиограмму Штеммермаиу н Маиштейи, что иа выручку окруженным идет третий танковый корпус...

Бои на шевченковской земле шли тогда очеиь сильиые, изнурнтельные. Об этом много напнсаио, в том числе н самнм маршалом Коневым. Даже не фронтовики могут представнть, как трудио было на войие ие только солдату, но н генералу, командующему, особенно при таких вот сложиых операцнях, в холод, в распутицу.

Лнквидацня котла завершилась блестяще. В те дни Конев стал маршалом. А для местных жителей, по нх воспоминаииям, он и до котла как бы был уже маршалом. Это ничего, события в умах людей ниогда совмещаются во времени. Вот как пншет о тех днях в своей кнnге сам Иваи Степаиовнч Конев:

«Указ о прнсвоении мне звання Маршала Советского Союза я услышал, будучи на комаидном пункте у Ротмистрова, размещенном в селе Моринцы. Перед этнм мое самочувствие после такой иапряжеииой операцин было ие блестящим. Усталость брала свое. Я прилег отдохнуть. Павел Алексеевич последовал моему примеру. В это время раздался голос Левнтана...

Деревня Моринцы—родина Тараса Шевчеико, ве-

ликого украинского Кобзаря — стала для нас с Павлом Алексеевичем вдвойне родным и близким местом»...

Значит, «самочувствие было не блестящим». Вот и бабка Тарануха начала рассказ о своем «постояльце» с его самочувствия.

— Хочь вин и маршал був, великий начальник, а не поостерегся, хороба его настигла...

Бабка небольшого росточка, сухонькая, из-под платка смотрят живые любопытные глаза, а кисти рук недвижно лежат на коленях.

— Бачу я, что не исты вин ничого. И повар смурной ходит, не знает шо и варить. Когда занеможешь да устанешь, всегда так. А вин не знаю, когда и спал. Утром, бываючи, встречу его и головой качаю, а вин только улыбается. Улыбка у Ивана Степановича добрая была и глаз веселый. И вот попросил он хлиба, паляницы свежей, видно, военный харч уже надоел ему. Я говорю: муки надо, испеку паляницы. Он знал нашу украинскую паляницу, вот и попросил. Адъютанты тут забегали, повара, волокут мне мешок муки. Я на ладошку ту муку взяла и гутарю им: из такой муки, хлопцы, тильки ваш военный хлеб будет, а паляницы из нее не испечешь. Один офицер на меня рассерчал, ты, говорит, бабка, гляди у меня, командующему доложу. Иди, иди, голубь, докладай, я сама вперед тебя доложу. И муку свою забирай. А сама думаю: а как же мне маршала-то уважить, настоящей украинской паляницы просит Иван Степанович. Побегла я к знакомой своей Марфе на соседнюю улицу и все ей рассказала. Достали мы муки немного да сами пшеничку, что была от ворога лютого припрятана, размололи на ручной мельнице. Раз пропустим помол да еще разок пропустим, и мука получилась мабуть как крупчатка. Всю ночь крутили тую мельницу. Закваски нема, дрожжей тоже нема. На кислом молоке поставила я опару. Пока тесто подходило, мы давай скорее печь топить, кирпичи калить. И дровец подбросим и кизяку...

Переживала я, хлопцы, дюже. Но, слава богу, гарная вышла паляница. И сверху подрумянено и подовая корочка в самый раз. На три паляницы муки у нас хватило. Завернула я их в рушник, укутала одеяльцем ватным: нехай подышат, соков наберутся. А потом

на саночках повезла маршалу. Часовые меня уже знали, пропускают як генерала какого. Подаю Ивану Степановичу паляницу на рушнике, а он так склонился, нюхает, и, гляжу, лицо его просияло. Отломил корочку, стал есть. Ломает рукой и ест, паляницу горячую к груди прикладывает, как ребеночка, а у самого вроде слеза навернулась...

Бабка Таранука всхлипнула, пообтерлась концом своего платка, узкие плечи ее вздрагивали.

— Полегче ему стало... Вот ей-богу полегче. Ведь в хлебе вся сила, а в нашей украинской палянице две силы. Благодарил маршал меня, усадил с собой чайку выпить. А я потом еще ему паляниц напекла. И пошел он со своим войском дальше, к Берлину, ворога проклятого добивать, от которого мы нужды и страху ой как натерпелись...

В этот же день мы с другом успели засветло добраться до Канева. Я стоял на могиле Тараса Шевченко и слышал то стихи Кобзаря, то голос бабки Таранухи. Тарас Шевченко и маршал Конев. Великий батько всю свою жизнь мечтал и боролся за счастье любимой Украины. А маршал Конев, русский крестьянский сын из вятской деревни, защитил и отбил у врага родную его землю. И народ чтит их память, великого певца и великого воина.

ЕФРЕЙТОР СИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ

В любое время года, а особенно ранней осенью, когда земля так нарядна от красок, хорошо ездить в дальних поездах. Духоты уже нет, проводник принесет тебе чая, и, помешивая ложечкой, неторопливо беседуешь с попутчиками или просто смотришь в окно. Блеснет на излучине река, тревожно прогудит под колесами мост, покажутся и быстро уплывут назад полуголая рощица с грачиными гнездами, одинокий домик железнодорожника со стожком сена, с козой, привязанной у забора, с грядками и сараем у самого леса, со словами «Миру—мир», выложенными красным битым кирпичом по крутому брустверу бугорка...

Мне часто прнходится езднть, и каждый раз, когда я внжу вот такой домнк со стожком сена и самого хозяина, задубелого на ветрах, в неизменном брезентовом плаще, с желтым свернутым флажком, которым он указывает, что путь свободен, невольно думаю: а что это за человек, как он жнвет здесь, в этой глуши, где нет ни кино, нн клуба, нн даже деревни блнзко? Мне всегда хочется познакомнться с ннм, поговорить, но нн однн поезд не останавлнвается в таком месте, потому что это не полустанок н не разъезд даже, а просто боевой пост, просто такой-то и такой-то кнлометр.

Но вот недавно случай прнвел меня в Западную Снбнрь, в город Ишнм, и я решил побывать на одном таком боевом посту, который видел нз окна поезда. Ишнмские железнодорожннки, послушав мон объяснення о месте нахождения домнка, разом восклнкнулн:

— Так это ж Сндоркин с 2433-го километра!

И по тому, как онн пронзносилн эту фамилию, какую ннтонацию вложнли в свои голоса, я понял, что Сидоркин здесь уважаем н, более того, любим ими.

Пробнрались мы к 2433-му кнлометру на «газике». И застали Сидоркнна в несколько странном положеннн: он лежал на рельсе и, вытянув шею, всматривался в даль. Но странного в его позе, как прояснилось потом, ннчего не было. Он заннмался обычной работой — вывешнванием пути, искал, нет лн где просадки, изгиба.

— Забнвай знак напротнв столба! — крнкнул он своему помощннку н встал, отряхнул плащ от снега, полез в карман за кисетом.

Сндоркин высок, по-борцовски плотен, и вообще все у него крупное, как бы сработано на совесть, с размахом: лнцо так лнцо, рукн так руки — пятерых враз обнять может. И густо пахнет от него табаком, креозотом — тем черным составом, которым пропнтывают шпалы, а под плащом на шнроком солдатском ремне, как наган у милнцнонера, виснт в дерматнновой кобуре «комплекс снгналов» — духовой рожок н два флажка. Раньше Алексей Семеновнч Сидоркин был путевым обходчнком, а теперь его должность, еслн нменовать ее полностью, одним махом и не выговорншь: брнгаднр путн второго рабочего отделення восьмого

околотка Ишимской дистанции пути Свердловской железной дороги.

— Его величество ефрейтор сибирской магистрали, — шутит Сидоркин и объясняет, что сегодня они сверлили дыры в рельсах, а завтра кое-где шпалы будут менять. За его бригадой закреплено шесть километров двухпутки и два моста. Участок вообще-то немалый, но сейчас многие работы механизированы и управляться с делами не так уж трудно.

Сидоркин докуривает козью ножку, кладет на плечо лопату и шагает с ней, как с винтовкой, размахивая правой рукой. Вечереет. Солнце уже скрылось за Лысой горой, и мягкая сумеречная тишина опустилась на землю. В кирпичном зданьице, или, как его называют по-старому, в полуказарме, где живут рабочие, зажглись огоньки. А за лесом, в дальней деревне, стучат чем-то железным и звонким. И еще доносится рокот, нарастающий шум. Это идет скорый поезд.

* * *

Около тридцати лет уже живет Сидоркин у Лысой горы. Сам он местный, из деревни Стрункино, коренной сибиряк. Сначала дали им с Марьей комнату в полуказарме, а потом пришлось в отдельный дом переселяться: дети подрастали — Колька, Вася, Галя.

К Лысой горе Сидоркин привык. Здесь хорошо и спокойно. Из окон видна река Чалгай, полная карасей и щук. Сразу же за путями тянутся заливные луга с озерами, а по гористым березнякам и осинникам полно ягод и гриба разного.

В пору летних отпусков Марья начинает пилить своего Сидоркина:

— Литер тебе бесплатный полагается, хоть бы съездил куда. Черное море есть на Кавказе, вода там, говорят, всегда теплая, и эти самые, как их... растения, апельсины...

— Море, оно, конечно, — набивая бекасинником патроны и собирая блесны, тянет уклончиво Сидоркин, — можно бы искупаться, конечно, и в море. Только ведь и у нас в Ишиме, да и в Чалгае том же водица не хуже будет. Травкой пахнет, кустики по берегам, сомы в омутах...

— Да ну тебя! — обижается Марья. — О тебе же забочусь. Ногу бы полечил, поясницу...

Мария Пахомовна знает, что не только чистые сибирские просторы намертво приковали к Лысой горе ее Семеныча. Приковала его работа, эти шесть километров двухпутки, которые он содержит в отличном состоянии. И в праздники и в выходные дни встает Сидоркин с петухами, туго подпоясывается ремнем и, медленно шагая по хрустящей насыпи, всматривается в матовые полоски рельсов, постукивает молоточком по стыкам, следит за колесными парами мчащихся поездов: не горят ли буксы, не свисает ли с платформы какой предмет. Дорога важная, бойкая, и мало ли что может на ней случиться за самое короткое время? То ручеек, невесть откуда выросший, начнет грунт подмывать. То бревно откуда-то возьмется. А то раненый лось, запнувшись о рельсы, заснул посреди пути...

Идет Сидоркин, слушает, смотрит. А мимо, обдавая его ветром и запахом больших городов, несутся составы, спят на полках люди, полыхают окна вагона-ресторана, подбрасывают уголек проводники, поют песню тихоокеанские матросы. И радостно Сидоркину, нравится ему провожать эти вечно спешащие поезда, давать им зеленую улицу.

В полуказарме только начинают топить печи, а он уже все знает, все посмотрел. Хозяйки, выходя за водой, приветствуют Сидоркина, лохматый Рекс трется о его кирзачи, а Татьяна Ракитина кричит от сарая.

— Эй, Семеныч, дрова у меня кончаются!

— Будут завтра тебе дрова, — говорит Сидоркин, присаживаясь на крыльцо, — не беспокойся, будут...

Муж у Татьяны Ракитиной утонул в Ишиме, оставив ее с тремя сыновьями. Татьяна дежурит на переезде, и Сидоркин помогает вдове чем может. А всего у Лысой горы живут, помимо Семеныча, три семьи: Кабановы, Плотниковы и Татьяна. И Сидоркин над всей этой «республикой» не только бригадир, а прокурор и защитник. Как чуть что, бегут к нему:

— Семеныч, утихомирь моего-то, с поллитрой, дьявол, пришел...

А куда еще пойдешь? До милиции далеко, до начальства не ближе, а Сидоркин — человек трезвый, двадцать лет в партии состоит и порядок любит. Нет

у Лысой горы главнее Сидоркина, нет честнее его человека в округе. Он не ругается, не шумит, а только набычит шею и пробасит спокойно:

— На сибирской магистрали... это самое... беспорядков не допущу...

И тут же замолкает, например, тот же Прокопий Максимович, спешит извиниться. А Сидоркин как ни в чем не бывало берется за дела, и горит у него все в руках, играет. На честности, на умении работать и авторитет Сидоркина держится. Ради дела, ради своего участка он, как говорят, в огонь и в воду. Однажды январской ночью, поднятый тревожным стуком, выскочил Сидоркин в одном полушубке поверх нательного белья и не ушел домой до тех пор, пока важный эшелон не тронулся. Вернулся на рассвете к печке, а ступни ног гремят, как палки, пальцы на руках побелели. Вот с тех пор и прихварывает Сидоркин к непогоде. С тех пор и гонит его Марья к Черному морю...

* * *

— Ну, что ж, мужики, пора начинать, — говорит Сидоркин и подносит к глазам часы. Время он и так знает, но лишний раз взглянуть на часы ему приятно: именные, от самого министра. Может, и не помнит уже министр, что на 2433-м километре от Москвы по сибирской магистрали есть такой Сидоркин, но его подарок после ордена Семеныч особенно ценит и бережет.

— Сейчас без пяти восемь, — продолжает Сидоркин, застегивая плащ. — До двенадцати нам надо шпалы у мостика сменить, а после обеда мастер приедет, покажем ему вчерашний участок. Вы пока приступайте, а я на поворот наведаюсь, место там обозначу...

Сидоркин берет инструмент и шагает в сторону Чалгая. Впереди него бежит Рекс и лает на сорок, прыгающих по откосу. А по тропке, загораживаясь воротниками от колючего морозного ветра, бегут в школу Танюшка и Люба — второклассницы. Они что-то кричат Сидоркину, но тот ничего не слышит и только машет девочкам рукой. «Скоро и не так еще завьюжит, — думает он, вздыхая, — заносы могут быть. Надо будет за Чалгаем защиту подновлять. Гальке валенки

подшить надо. Лыжи не забыть бы снять с чердака, на зайца в воскресенье, может, выберусь...»

От Ишима, стремительно перемахивая мост и выбрасывая еле видные кольца дыма, катит состав.

— Товарняк,— говорит Сидоркин Рексу,— ишь махина, конца не видать. Сойди-ка, старик, в сторонку, не мельтеши. Грузы на восток везут... магистраль у нас с тобой — каждые двадцать минут поезд. Да, магистраль... Самая ответственная... Понял?

Виляя хвостом, Рекс ложится на кромку откоса и вытягивает лапы. А Сидоркин достает из дерматиновой кобуры желтый флажок и стоит, как солдат.

ВЕТКА ИВЫ

Веселый солнечный свет, пробив облако, внезапно залил всю комнату, и Семен Сергеевич Загребин, давно уже лежавший с открытыми глазами, стал быстро одеваться, словно куда-то опаздывал. Клавдия Андреевна, жена его, ничего на этот раз не сказала, наперед зная, что он все равно ее не послушает, пропадет куда-то до вечера и вернется домой возбужденный с разрешением работать в своем судомеханическом цехе. Это отпечатанное на машинке разрешение он, надев очки, прочитает несколько раз вслух и заверит потом, что, как только спустят на воду сверхплановый сухогруз или еще какое-то судно, снова заживет беззаботной пенсионерской жизнью.

— Да полно-ко, сивой, обманывать,— по-горьковски окая, скажет Андреевна.— Умрешь вот на железе-то в одночасье, так будешь знать.

Каждую весну, считай, начиная с шестидесятого года, ведут старики Загребины подобные разговоры. Как только от Бора, с разлившейся Волги, с луговой ее стороны, подуют ласковые апрельские ветры, как только тревожно заревут на фарватере пароходы, так и заболевает Семен Сергеевич, подобно перелетной птице, неизлечимой тоской по фрезерному делу и вообще по работе, по родному своему заводу «Красное Сормово», которому отдана, собственно, вся его жизнь. И если в эти дни ему, как коммунисту почти с полувековым стажем, приходится где-то проводить беседу

о том революционном времени, когда по сормовским выбитым улицам шагал с красным знаменем рабочий Петр Заломов, явившийся прототипом Павла Власова в романе Горького «Мать», он непременно расскажет о сегодняшнем заводе, о его людях, о сделанных здесь красавцах судах на подводных крыльях, о дизель-электрических паромах, способных уместить в своем чреве состав из сорока вагонов.

В эти дни он приходит к заводу, будто на работу, толкается у проходной, заговаривает со знакомыми, подолгу смотрит на дрожащие отблески электросварки, слушает, как на стапелях стучат дрели. И никто не удивляется его добровольному бдению. А чего удивляться-то? Это же Загребин — представитель старинной рабочей династии. Их, Загребиных, в Сормове, если по всем родственным линиям брать, не одна бригада наберется. И все они: Сергей, Владислав, Александр, Геннадий, Юрий, Тамара, Владимир, Нина, еще один Сергей, Вера — токаря или слесаря, мастера настоящие, многие коммунисты, сормовская, рабочая гвардия...

Старшего своего сына Семен Сергеевич назвал в честь отца своего — Сергеем. Сергей в мать темноглаз, неторопли́в, плотен, был токарем в арматурном, а когда началась война, совсем еще мальчишкой, пробившись к военкому, добровольно записался в отряд, который должны были забросить в тыл врага. Он ничего тогда не сказал, да и не велено было говорить, но Семен Сергеевич и без слов понял, что не простой у него Сережка солдат, и, провожая его, отнимая из объятий плачущей матери, сказал на прощание:

— Трудно будет, Серега, Волгу почаще вспоминай, Сормово наше. Родная-то сторона, она ведь сил прибавляет.

Воевал Сергей в псковских лесах, в партизанском отряде, был командиром подрывной группы, вернулся домой с орденом Ленина. Сейчас он заместитель секретаря заводского парткома, ведает идеологией. Такой ответственный пост коммунисты доверяют не каждому.

Здесь же, на заводе, работал после восьмилетки слесарем-сборщиком сын Сергея, Саша, славный боевой парень. Саша служит на флоте, пишет, что скучает по дому, по Сормову, по своему цеху, куда скоро вернется. Когда Саша прислал фотокарточку в мат-

росской форме, Семен Сергеевич с неделю иосил ее в кармане, показывал всем своим дружкам и приятелям, говорил, что прадед Сашкин тоже был моряком и что Сашка-то уж, внук его любимый, Загребиискую фамилию продолжит, как надо. Это уж точно...

А младший сын Семена Сергеевича, Владислав, работает на заводе с тринадцати лет. Сергей воевать тогда ушел, а этот, дотянув пятый класс, встал к слесарному верстаку судокорпусного цеха. И до всего дошел потом заочно, ни на один день не бросая работы: школу окончил, техникум речного транспорта. Теперь он мастер в своем же судокорпусном цехе, коммунист, агитатор...

Как и Сергей, Владислав спокоеи, улыбчив, только глаза у него отцовы — с голубизной. У Владислава тоже наследники есть — Женька, самый младший внук Семена Сергеевича. Дед часто берет Женьку с собой иа прогулки, показывает ему пароходы, памятные места, куда раньше сормовичи ходили на маевки. Шагают они по бульвару, беседуют, и обязательно кто-то остановит их, спросит Семена Сергеевича, кем ему этот мальчик доводится. В Сормове гордятся рабочими фамилиями, как раньше князья своим родом, и Семен Сергеевич, разговорившись, иапомнит как бы между прочим, что родни у него много и не только по Загребинской ветви, а и по Плесковской и по другим. Плесковы — это по жене. Тоже речная фамилия, волжская. Загребин — это понятно, дед был загребным на баркасе, то есть на первой паре весел сидел. Вот и стал Загребииым. А Плесковы — тоже дело ясиое. На берегу жили, у самой волны.

— Ты, Семен, чай, на свадьбах гулять устаешь? — спрашивает собеседник, чиркая спичкой.

— И не говори, паря, — улыбаясь, отзывается Загребин. — Недавно вот справляли. Ведь две сестры у меня: Авдотья да Марья. У обеих детей-то по куче. Скоро по второму заходу начнем: внуки да внучки на подходе.

— Дело хорошее. Так и должно. Я вот тоже, поимаешь, жду приглашения.

Старики пододвигаются поближе и говорят до тех пор, пока Жеиька, устав слушать, не дергает своего деда за рукав.

* * *

Сегодня у памятника Ленину по заведенной в Сормове традиции молодым рабочим будут вручать комсомольские билеты, и Семен Сергеевич, не пропускающий вообще ни одного заводского мероприятия, решил выйти из дома пораньше, чтобы успеть встретиться с товарищами, зайти во Дворец культуры, в партком.

— Ждать ли к обеду-то?—спросила Клавдия Андреевна.—Супу с грибами наварю.

— Супу? Нет, пожалуй, не жди, дела у меня будут,—ответил Семен Сергеевич и натянул свою белую кепочку.

На улице было свежо. По чистой синеве неба плыли из-за Волги плотные лебединые облака. Навестив друзей и договорившись с ними о первомайской демонстрации, Семен Сергеевич пошел нижними кварталами, где еще стояли сельского типа домики с палисадниками у окон. «Ничего уж не осталось от старого Сормова,—подумал он.—Давно ли тут картошка росла...»

Здесь, в тихих переулках, ему хотелось нарвать какой-нибудь зелени. Но запоздала с теплом в этом году весна, и все кругом стояло еще голым, набухшие почки берез и тополей как бы боялись раскрываться. И только на сугреве у заборов проклюнулась редкая травка да молодая ива успела одеться в желтые сережки. Семен Сергеевич сломал небольшую мягкую веточку этой ивы и направился к центру.

Над многими зданиями уже шуршали на ветерке флаги, издалека были видны яркие транспаранты, электрики тянули через дорогу гирлянду с гроздьями разноцветных лампочек.

На пересечении улиц, возле памятника Владимиру Ильичу, Загребин остановился. Здесь уже было много народу. И на постаменте, на серых гранитных плитах, стояли в плошках цикламены, розовели шапки гортензий. Семен Сергеевич посмотрел на свою веточку и, сравнивая ее с принесенными уже цветами, хотел было убрать свой подарок. Но потом, взглянув на застывшего Ильича, которого помнил еще живого, сказал сам себе мысленно: «Ничего, он любил скромное» — и, протиснувшись сквозь толпу, положил свою веточку на самую середину плиты.

— А, Семен, ты уже здесь!—окликнули вскоре Загребина.

Это были ветераны завода, его боевые друзья по партии и труду. Он увидел усатого Чугунова, Курицына, Рыбакова, Гальянова...

— Помолодел ты, Семен, загорел, понимаешь. Сколько тебе?

— Седьмой-то десяток завершу скоро. Али не знаешь?

— Как не знать. Да свеж больно, как огурчик. Опять, что ли, работать пойдешь? Поди, уж подрядился...

— Хватит подначивать-то. Сам, вижу, тоже пенсионером только на бумаге числишься. А подсобить заводу надо, отпуска начинаются...

— Тихо, вьюноши! Кажется, идут! Тихо!

На улице Баррикад, где раньше рабочие давали бой самодержавию, показалась колонна. Оркестр играл марш. Впереди, возглавляя колонну, шел Сергей Загребин, заместитель секретаря парткома. Увидел Семен Сергеевич и второго своего сына, Владислава, родственников и знакомых. Старший сын улыбнулся ему, махнул рукой, и сердце у старика сладко заныло.

Колонна, сбив шаг, полукольцом обогнула памятник, оркестр смолк, началось вручение комсомольских билетов.

— Татьяна Чугунова! Виктор Носков! Александр Колчин! Абрамова Ирина!—неслось из толпы, и ребята, волнуясь, повторяя слова заверений верно служить делу Ленина, принимали из рук ветеранов красные книжечки. А у памятника колыхались знамена. Ветер шевелил седые волосы стариков. Какая-то женщина утирала слезы.

— Идите верной дорогой! Будьте достойны отцов своих! Гордитесь святым именем рабочего класса!

«Эти в любую атаку, эти не подведут»,—чувствуя горячий ком в горле, думал Семен Сергеевич. Он вспомнил, как его Андреевна говорила ему утром, что вот, мол, умрешь от своего беспокойства прямо на железе в одночасье. «Ну и что?—как бы споря со своей женой, продолжал думать Загребин.—Ну и умру. А чего тут страшного? В бою умереть не страшно. Вот она, смена, подросла, она понесет наши имена

дальше. Теперь и умереть не страшно. Дело-то сделано. Но мы повремени, понимаешь, мы еще поработаем...»

БАГУЛЬНИК

Ардин уже не спал, когда прикрытый газетой будильник мягко звякнул на тумбочке. Он полежал еще с минуту, быстро вскочил и стал собираться. Шел двенадцатый час. Сегодня понедельник, первый день ночной смены...

На кухонном столике, завязанные в белую салфетку, как и всегда, лежали еда и термос с горячим чаем. Это Аня приготовила ночной завтрак. В шахте есть столовая, но Ардин обедает там редко: жена приучила к домашней снеди. Положив узелок в сумку, он потихоньку отодвинул штору. Аня лежала, чуть прикрыв глаза. Слабый самодельный ночничок горел у ее изголовья.

— Спи, спи, милая,— тихо сказал Ардин и почувствовал, как в горле у него, в самом верху, заскреблось что-то горячее и сухое, выжимая слезу. Несколько лет уже у Ани болит сердце, она инвалид первой группы, и Ардин ухаживает за ней, как за малым ребенком. Когда-то вместе с мужем работала Аня в шахте, возила на электровозе уголь и простудилась, заболела. Из-за нее Ардин и не переезжает из этого казенного деревянного дома, хотя ему давно уже, как лучшему бригадиру-угольщику, депутату и Герою, предлагали хорошие квартиры. Тут у него дровяная печка, палисадник перед окном, где Аня любит копаться, сколоченный из горбыля сарай и там старенький «Москвичок», на котором он возит ее к Арахлею, на Иван-Озеро, в сопки, к источнику Кукай. Там она оживает, начинает глубже дышать, благодарно зажигаются ее черные, «азиатские» глаза...

— Спи давай, спи,— говорит Ардин и закрывает двери, выходит на крыльцо, торопится к автобусу.

Автобус, собирающий шахтеров по всему поселку, уже стоит у киоска, вспыхивают там огоньки папирос, доносятся знакомые голоса.

— Владимир Иванович, сюда! Плацкарта забронирована!

Это зовет Ардина Роман Латыпов, машинист комплекса. Даже здесь, в автобусе, его ребята держатся вместе, своей сменой: рядом с Романом сидит Иван Леонтьевич Щелканов, впереди — Толя Саранин, самый молодой, недавно из армии, а Иванов Иннокентий, примостившийся с краешку, караулит место у окна для своего «шефа». Ардин руководит комплексно-механизированной очистной бригадой, которая работает в три смены, по восемь человек. В своей смене Владимир Иванович — машинист комбайна, а бригадирство его — это, собственно, функция скорее всего педагогическая, воспитательная. Смены Ардин иногда меняет, чтобы всех своих «орлов» видеть в деле, воздействовать на людей личным примером и опытом.

— Двигай, Андрей! — кричит кто-то шоферу, и автобус плавно трогается. За окном морозная тишина, темень, и в этой черноте белой дугой во все небо искрится и пульсирует Млечный Путь. Ехать надо направо, на шахту «Восточная». Это недалеко, считай, на окраине Читы. Там Западно-Черновский разрез. Угли бурые, идущие в основном на топливо да химикам. Сейчас в шахте звено Николая Вотенева, у него Ардин и примет вахту. «Как они там сегодня, — думает Владимир Иванович, — сколько взяли?»

* * *

Вести «снизу» были не совсем радостными. Это Ардин видел по лицу сменного помощника начальника участка Георгия Остякова. Облаченный уже во все шахтерское, Владимир Иванович нетерпеливо ждал, когда помощник положит трубку.

— Ну сколько? Да не тяни ты, Остяков!

— Двести четыре. Поломка у Вотенева. Полтонны не добрал он всего-то. Вам надо бы тонн на десять перекрыть норму, а? Тогда и этот их мышиный хвост ликвидируете. Так как?

— Попробуем! Пошли, братцы!

Шахтеры быстро спустились к своему горизонту, гуськом зашагали по затемненному штреку. Чумазый и мокрый Вотенев, вздохнув, доложил:

— Закумпалило малось, Владимир Иванович. На пятиадцатой секции кольцо полетело с бортовой стороиы. Цепь лопиула. Пробуксовка, поимаешь, была. И шлаиг подачи эмульсии для гидростойки...

— Ну, посыпалось!

— Да одно уж, поиимаешь, к одиому. А тут еще Витька Холмогоров заболел. И вообще плохое сопряжение лавы со сборным сегодня...

Вотеиевская смена свои поломки уже устраиила, и Ардии, убедившись в этом, тем ие меиее не отпу скал шахтеров, задержал их миииуты иа три и бегло пока, коротко, не ожидая традициониого бригадного собрания, все разобрал и «обговорил». Он любил это время между сменами, когда одии уже «выдали на-горà», а другие только собираются выдать, и вот, перемешавшись, хохмят, подтрунивают друг иад другом, и каждый тут видеи, все граии характеров выпуклы, ярки, обиажеиы.

— Запиши, Вотеиев, все сегодняшиие поломки,— говорит Ардин и идет к комбайиу, давая поиять, что пора иачииать смеиу.

И вот шахтеры заияли свои места. Еще раз осмотрев машииу, Ардии иажал киопку. И все сразу загудело, зашевелилось в забое, задрожала тридцатитоииая туша комбайиа, победитовые зубья фрезы вгрызлись в пласт, стали крошить его, отбрасывая уголь иа коивейер. Владимир Иваиович стоял за пультом, регулировал ход комбайиа, режущую часть, по звуку определял иагрузку на мотор, задавая агрегату нужиый режим. От точиого режима зависит миогое: быть ли поломкам, скорость проходки, захват. Такое умеиие и «чутье» появляются с годами. Ардии иа «Восточную» пришел пацаиом после ремеслеииого. И вот уже двадцать четыре года в одной шахте. Был и завальщиком, и посадчиком, и проходчиком. Привел его сюда отец. И когда Владимир прииес первую шахтерскую зарплату, Иваи Степанович как-то иеобычио посерьезиел и сказал, дрогиув голосом:

— Эти деньги тебе, сынок, иа всю жизнь запомнятся. Рабочий хлеб—самый трудиый хлеб, ио самый и сладкий. Хочу, чтобы ты рабочую гордость почувствовал, не могу поясиить складно, что это такое, ио без этого мастером ие будешь...

В Чите сейчас много Ардиных. Восемь сыновей н дочерей у Ивана Степановича, и все они, за исключением Николая, офицера,— рабочий класс, все коммунисты. А Владимир Иванович — Герой Социалистического Труда, депутат. Все в отца пошли — коренного рабочего человека. Старик сейчас на пенсии, и гордость его за детей своих вызывает глубокое уважение. «Эх, батя, — думает Ардин, всматриваясь в приборную доску, — в Москву поеду, «Тулку» тебе куплю... Новую «Тулку», каких нет у нас в Чите»...

Гудит, грохочет комбайн, подчиняясь машинисту, передвигает свои лапы-лыжи. Ардин, оставив пульт, то к Латыпову подойдет, то к Толе Саранину, к Иванову. Ребята дело знают, но лишний контроль не мешает да и помощь тоже, особенно молодым. Ардин вообще-то невелик мастер говорить. Он воспитывает больше делом, примером личным, золотым своим сердцем, щедростью души. Нарушения в бригаде — редкость. Потому и помнится до сих пор случай с Казанцевым. Пришел один раз Дима Казанцев на смену «под градусом». И невелик был «градус-то», а Блинов, начальник участка, заметил, отстранил Казанцева. Он тогда в звене у Соломина был. Пришло время получать премию. Ардин мог попросить, и премию, конечно, дали бы, руководство шахты уже колебалось, жалело лучшую бригаду. Но Ардин не стал просить. Бригада коммунистическая, все — за одного, один — за всех. Есть нарушение, надо за него отвечать. Совесть дороже денег. Здорово это на всех подействовало. А Казанцев, тот вообще не находил себе места. Заплакал даже, когда ребята в шоры его взяли. Через неделю после этого случая бригада рекорд поставила: тысячу семьсот тонн в сутки угля дала. Это огромная цифра! Тысяча тонн — и то большая победа. Около сорока бригад по всей стране тогда «тысячных» было. И сейчас-то их немного. А шахтеры Ардина давно уже держали н держат тысячный рубеж, перешагнули его...

Объявили перерыв на обед. Но Ардин в столовую не пошел. Он пристроился у секции, развязал свой узелок, термос открыл. Потом, пока ребята чаевничали, занялся комбайном. Смену надо закончить с плюсом. И когда заявились повеселевшие шахтеры, сказал:

— Ну что ж, хлопцы, еще разок врубимся, и шабаш! Латыпов, смотри за комплексом!

И началось все сначала. Арднн не заметнл пролетевшего времени. Заскочил к нему Щелканов, снял каску, вытнрает лоб, стряхивает брызги с рукава, говорнт, что четыре минуты осталось, что смена уже пришла, Соломин со своим звеном...

Соломнн здоровается, лицо его сияет, и сквозь гул, еще стоящнй в голове, Арднн разбирает произнесенную нм цнфру: триста пятьдесят четыре тонны. Да, триста пятьдесят четыре... Остяков передал.

Горячнй душ хлещет спнну. У Ардина ни малейшей усталостн. Ночь не спал, а усталостн нет. Радость на сердце. Обычная ночная смена, а радость от нее, как от праздннка...

И утро сегодня чудесное. Внсит над Чнтой шелковое голубое небо. Чернеют вдалн сопки. Весной уже пахнет, все как бы замерло в ожнданнн пробужденtransl...

Он подходнт к телефону, набирает свой домашннй номер.

— Анюта, ты? Уже встала? Ты знаешь, какое утро? Утро-то сегодня, говорю, какое! Собирайся, за багульнником поедем. Ну да, за багульнником. Тот уже завял у меня. Съезднм прямо сейчас. Потом я депутатскнми деламн займусь. Да нет, недолго, две встречн всего. Ннкандровых взять? Колю с Нниой? Возьмем, конечно! Звонн им! Воды нагрей для «Москвнчонка». А спала-то как? Лекарства пила?

Он плотнее прнжал к уху трубку, н голос ее стал слышен яснее и громче. Он вндел, отчетлнво видел, как она улыбалась там, на другом конце провода...

ЛИСТОПАД

На всем белом свете нет, пожалуй, такой ясной осенн, как в центре Россни, где земля скромна н в меру холмнста, а леса так разнообразны н так перемешаны, что в пору бабьего лета зажнгаются разнымн красками н долго стоят, прекрасные в своем увядании. Смотрншь на прнтнхшие рощн за рекой, и сами собой рождаются в душе есенинскне строкн:

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога,
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

В такие дни воздух прозрачен, далеко кругом видно и дышится сладко, легко, с души что-то спадает, и мысли текут плавно. И час и два шагаешь полями, а усталости нет, идти хочется бесконечно, не разбирая дороги. Вот уже и жнивье кончилось, озеро показалось за ольховником, темные стога сена, льняные суслоны на взгорье. Наконец садишься под багровой осиной и, чувствуя винный запах прелой листвы, смотришь, как по клеверищу, словно дикие, бродят сытые кони, тянутся к белой колокольне грачи. Солнце уже село, но небо еще голубое, с еле заметным закатом, с рыхлой розовой полосой, оставленной самолетом. С бугра видно, как по тропке, устланной мягким кленовым ковром, идет девушка с портфелем в руках. Вот она остановилась и стала декламировать с выражением, словно на сцене:

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...

Кто она, эта девушка? Сельская учительница? А может быть, школьница? И что ее заставило вслух читать стихи, какая сила разбудила в ее душе пушкинскую поэзию? Наверное, осень, шорох листвы, курлыканье журавлей, улетающих в жаркие страны...

Как-то шел я из Смирнова в Малые Соли. Был октябрь, леса уже сквозили, за Солоницей, на лугах, гуляло стадо, и доносило дымом с картофельных полей. Я шел медленно, посматривая на перелески, на деревеньку за лощиной, и вдруг ясно представил живого Некрасова. Ведь он в этих местах охотился, бродил с ружьем, ночевал в сараях на копнах свежего сена. Может, вот как раз здесь, у этих старых дуплистых березок, он и останавливался, отдыхал на пригорке, беседовал с деревенскими ребятишками, думал, наблю-

дая, как крестьяие молотили цепами рожь, слагал строки своих стихов. Может, потому как живой и видится иа этих дорогах Некрасов, что ои создал, бывая здесь, миого поэтических произведеиий, воспел красоту верхиеволжской природы, которую ои так иежио любил:

Опять она, родная сторона,
С ее зеленым, благодатным летом,
И вновь душа поэзией полна...
Да, только здесь могу я быть поэтом!

Сама по себе природа вечиа и почти неизменна. Пройдет сто лет, люди придумают иовые машииы, побывают иа Марсе, а леса будут такими же, и так же будет пригоршиями разбрасывать ветер золотой березовый лист. И так же, как сейчас, природа будет будить в человеке порывы творчества. И так же будет страдать, иеиавидеть и любить человек...

Плыли мы как-то вниз по Ветлуге иа старой деревяииой барже. Рабочие леспромхоза, их было человек десять, играли в карты, леииво переговаривались и курили. А две поварихи и жеищииа из райоиа сидели иа корме и ели яблоки. Река сначала была узкой, берега уиылы, с лозияком и ольхой, с корягами иа белом песке. Но вот баржа, влекомая катерком, обогиула отмель и вышла на широкий простор. Глубокая и тихая вода лакироваиио блестела, словио в реку вылили масло, и в это чериое зеркало смотрелись с обрыва матерые задумчивые ели, тоикие березки, троиутые желтизиой. Рабочие отложили карты, а женщиины перестали есть. Несколько мииут стояла тишииа. Только катер постреливал глушителем да за кормой вскипала пеиа.

Вскоре мы вышли иа самую серединиу реки, и, когда за изгибом показался хуторок с убегающей в поле дорогой, жеищииа из райоиа склоиила голову иабок и запела тихо:

Куда бежишь, тро-пи-инкаа-а ми-ла-а-я,
Ку-уда зове-ешь, ку-уда-а ве-еде-ешь...

Поварихи тоже стали глядеть иа дорогу и, пока жеищииа делала паузу, как бы забыв что-то, повтори-

ли первые слова песни, а потом уж все вместе ладно и согласно закончили:

Кого-о-о жда-а-а-ла-а-а, кого люби-ила-а я,
Уж не воро-о-тишь, не-е-е верне-ешь...

Они некоторое время молчали, не отрывая серьезных лиц от берега, и, вздохнув, поправив платочки, продолжали, смотря друг на друга и как бы чувствуя родство душ:

А там вдали-и-и, за тихо-о-ой рощице-ей,
Где мы гуля-я-ли-и-и с ним вдвоем,
Плывет луна-а-а, любви-и-и помо-ощница,
Напомина-а-ет мне-е-е о не-ем...

А мужчины, сдвинув брови и поджав губы, тоже уставились на хуторок, и кое-кто из них невольно подтягивал, не зная слов или стесняясь петь в голос. И целый час все вместе пели они эту песню, по нескольку раз повторяя одни и те же строчки, а баржа катила себе вниз по Ветлуге, по лесной дикой реке, мимо дровяных штабелей, осокорей и лесных кордонов. Я смотрел на них, вдохновленных, и думал о том, что вот все они разные, а сейчас вдруг как бы одинаковыми стали, что-то заставило их сблизиться, забыться, почувствовать вечную красоту. Еще подумал я и о том, что красота, видно, живет в сердце каждого человека и очень важно суметь разбудить ее, не дать ей умереть, не проснувшись...

* * *

Осень не только здоровая печаль, но и радость. Осень — это закрома хлеба, свадьбы в деревне, богатые рынки.

Недавно я снова побывал на верхневолжской земле, у своего старого товарища комбайнера Виктора Костина. Витька — парень еще молодой, холост, фасонит перед девчатами в клубе военной, недоношенной после службы фуражкой. Он рано закончил уборку и, встретив меня, похвалился, что урожаи нынче хорошие и хлеба и льна будет много. Он позвал меня в дом и шепнул при этом, что мать разбирает поросенка

и что-то варит. Такое выражение — разбирать поросенка — бытует в этих местах, и я знаю, что это значит.

Мы входим в сени, и я начинаю удивляться обилию разной снеди, овощей, новой обстановке в доме у Костиных.

— Вы отстаете, сударь, от жизни, — небрежно и шутливо говорит мне Витька. — Эта осень у нас самая богатая. И вообще, в деревне жить теперь можно. Очень даже можно. Видал, какое у меня ружье? Не «голанд-голанд», конечно, но... Заграничная штучка! На Джека выменял. Теперь у меня другая собака — Альбатросом назвал. Сила! Идем покажу...

Витька, страстный охотник, показывает мне своего Альбатроса, фантазирует, и я уже вижу его на хрустящей, подмороженной озими, у овсяных ометов, где любят ночевать зайцы. Как только падет первая пороша, Витька, лучший механизатор, плясун и балагур, спустит с цепи своего Альбатроса, повесит на плечо заграничное ружье и пойдет бродить по холмам и низинам. Он, как и всегда, вернется пустой, даже не стрельнет ни разу, но зато весь вечер будет рассказывать о том, как увидел в долине, среди сосен и елей, золотую, не обнажившуюся еще почему-то, несмотря на снег, березку. Он будет улыбаться при этом и крутить головой, и каждый поймет, что Витька — поэт, сочинитель, хотя и стихов не пишет. И, может, кто-то позавидует ему, о чем-то пожалеет...

Позавидует и подумает о том, что стихи писать необязательно, а поэзию носить в душе, как ее носит Витька, желательно бы каждому...

СОДЕРЖАНИЕ

Геннадий Бочаров. **Что человек может.** Тринадцать историй о мужестве

Юрий Грибов. **Яркий огонек в окне.** Очерки.

Геннадий Николаевич БОЧАРОВ

ЧТО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ

Тринадцать историй о мужестве

•

Юрий Тарасович ГРИБОВ

ЯРКИЙ ОГОНЕК В ОКНЕ

Очерки

Редактор
Ю. О. Бем.

Художественный редактор
В. В. Масленников.

Оформление художника
Б. А. Школьника.

Технический редактор
Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 30.06.83. Подписано к печати 10.08.83.
А 00703. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Новогазетная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 19,83. Тираж 250 000 экз.
Цена 1 р. 30 к.

Набрано в ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии ордена Ленина комбината
печати издательства «Радянська Україна».
г. Киев, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 02062.

1 р. 30 к.